



# НЕВА

9  
2018

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Александр ГАБРИЭЛЬ**

Стихи • 3

**Мария СКРЯГИНА**

Бутырка. *Повесть* • 7

**Алексей КОМАРОВ**

Девушка, которая не любила красное полусладкое.  
Одиночество старика в ковбойских сапогах. *Рассказы* • 62

**Дмитрий БЛИЗНЮК**

Стихи • 73

**Дмитрий ЛАГУТИН**

Спица. Дядя Север. Дураки. *Рассказы* • 77

**Надя ДЕЛАЛАНД**

Кое-что. Зеркало. Зрение.  
Стеклянный дом. *Рассказы* • 96

**Евгений ВИТЧЕНКО**

Из цикла «Знак многоточия». *Стихи* • 119

**Елена ЛЕВАНОВА**

Чужой мужчина в моем доме. *Рассказ* • 123

### ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

**Анастасия МИРОНОВА**

Мама!!! *Рассказ* • 130

### КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Марк АМУСИН**

Двойное зрение Андрея Платонова • 151

## ИЗ АРХИВА

**Семен ЛАСКИН**

«...Показалось интересно, даже очень...»  
*Писатели, музыканты, люди кино и театра*  
*в дневниках 1961–1998 годов* • 162

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Искусство чтения.** *Вера Харченко.* К философии повседневного. **Территория памяти.** *Олег Глушкин.* «Нева» в моей литературной судьбе. **Книжный остров.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 215

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

Кана Галилейская • 237

---

*Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).  
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

---

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Компьютерный набор **Л. Жуковой**  
Верстка **Д. Зенченко**

Александр ГАБРИЭЛЬ

### ЦЕНА СЛОВ

Время нас оплетет, как сентябрьскую муху паук,  
изъязвит, как проказа уставшее тело Иова...  
Что от нас остается? Один только свет или звук.  
Но, увы, не всегда. Иногда ни того, ни другого.  
Слово слову не ровня. Различны их вес и цена.  
Глянь: вот это бесплотно, как пух, а другое — железно...  
Иногда от записанных слов остается одна  
пустота, равнодушный мираж, безвоздушная бездна.  
Только хочется верить, что в будущем мареве лет  
через толщи случайных словес и забвенья цунами  
чей-то чуткий радар, что настроен на звук и на свет,  
отличит от нуля то, что было придумано нами.

### БЕЛКА

В который раз стена идет на стену,  
в который раз страна встает к мартену,  
а на ТВ — насупленный мессир.  
Победный рок-н-ролл гремит басами;  
почти соприкасаются усами  
улан, гусар, рейтар и кирасир.

Фельдмаршал гипнотические пассы  
толкает в обезумевшие массы,  
которые у Родины в долгу.  
И верят все: рассвет вот-вот забрезжит.  
Строка «Швед, русский колет, рубит, режет»  
кипит в адреналиновом мозгу.

Сердца пылают праведным пожаром,  
и над землей висит воздушным шаром  
страстей мильоноваттовый накал.  
Не пожелав нейтрально отсидеться,  
вновь пятая колонна в диссидентство  
впадает, словно Селенга — в Байкал.

---

Александр Михайлович Габриэль — трижды лауреат конкурсов им. Николая Гумилева (2007, 2009, 2018), обладатель премии «Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор пяти книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).

А прочим — тишины одной лишь хотца  
и думается: может, обойдется,  
да сгинут к бесу боль да ратный труд,  
и станет небо — близко, море — мелко,  
и будет мир, где пушкинская белка  
из ядер выгрызает изумруд.

### **ВЫШЕ**

Уж коль мы — Творца поспешный небрежный росчерк,  
сгодятся нам хлеб да водка в простой посуде.  
Для нас руководства пишут: мол, будьте проще,  
и к вам непременно будут тянуться люди.  
Но в целом мы все бесплотней, чем ветер в роще.

Быть серым, как пыль дороги — обычай. Норма.  
Неужто законы Дарвина так жестоки,  
что наше предназначение — поиск корма?  
Не каждый же день рождается Стивен Хокинг.  
Не каждый же день рождается Милош Форман.

А новый закат опять под копирку начат,  
безликий, как будто плац под пятой солдата.  
Но кто-то зажег те звезды, а это значит...  
А впрочем, об этом кто-то сказал когда-то:  
может, Боб Дилан, а может быть, Терри Пратчетт.

И будь ты адепт Христа, Магомета, Шивы,  
покуда Создатель нас из гнезда не вышиб —  
из душ не исчез покуда простой нелживый  
тот рудиментарный навик — тянуться выше.  
Возможно, за счет него мы пока и живы.

### **ПОЛКОВНИК**

Не бессонница, нет. Но зачем-то судьба наградила  
снами жизней чужих, приходящими глупо и вдруг.  
Я военная косточка. Имя мое — Буэндиа.  
И никто не проникнет в песочный начертанный круг.  
Шринк мне пишет в диагнозе, дескать, я passive-aggressive;  
сыновья полагают, что я не от мира сего...  
Мне героем не стать. Я по крови не летчик Маресьев.  
Я вещичка в себе — но в Макондо таких большинство.  
Так бывает порой: все пути состоят из обочин —  
там и будет пикник, чтоб с другими не вместе, а врозь...  
Был однажды живым — но увы, получалось не очень.  
Попытался стреляться — и с этим, увы, не срослось.

Ни о чем не прошу, лишь о крохотной собственной нише.  
Обхожусь без друзей, познаваемых только в беде.  
На земле — ничего. Нелюбовь да текущие крыши  
по причине дождей, от которых не скрыться нигде.  
В этих тягостных снах я пустой, как ночная аллея,  
и просеяно время сквозь мыслей моих решето...  
Я, наверное, вечен и, значит, дождусь юбилея:  
моему одиночеству скоро исполнится сто.

### **ВЕЧЕР. УЛИЦА. 90-е**

Там, где идут «быки», понтуются, швыряя мимо урн «бычки»,  
башку втянула в плечи улица, в карманах сжавши кулачки.  
И вдоль нее, активной трития, плывут, прогнав печаль взащей,  
плоды нетрезвого соития со сквозняком промеж ушей.

Их речь, как шелуха арахиса, слух отравляет, как зарин;  
и остается лишь шарахаться, спиной влипая в плоть витрин  
пугливым пациентом Кащенко, с катушек съехавшим малек,  
нащупывать рукой дрожащую в кармане тощий кошелек.

Расчертыхается уборщица, в их временной попал разлом.  
Их куртки дутые топорчатся «пером», кастетом и стволом.  
Спортивной поступью Газзаева по глянцу городских огней  
они проходят как хозяева объятной Родины своей.

В который раз разряд неоновый вольется в пластик и гранит...  
Утихнет гомон гегемоновый и гогот пьяных гоминид,  
свершится ведьминское таинство, обряд, который всем знаком.  
Они уйдут, а мы останемся, как валидол под языком.

Бывали беды и бедовее. Как прежде, шхуна на плаву.  
Интеллигентское сословие, щипай привычную траву,  
ведь выжило — как это здорово! — чтоб выдохнуть по счету «три»  
в седое небо, до которого не дотянуться, хоть умри.

### **ТОЛЬКО ТЫ**

Только ты, только ты. Ибо если не ты, то кто?  
Поэтесса с горящим взором из врат ЛИТО?  
Дрессировщица из приبلудного шапито,  
вылезаящая порой из тигриной пасти?  
Мне б сказали одни, попивая шампань: «God bless!»,  
и сказали б другие: «Куда же ты, паря, влез?!»  
Наше счастье, по правде сказать, это темный лес,  
и гадать на него успешно — не в нашей власти.

Только ты, только ты. Если я не с тобой, то где?  
Менестрелем, шестым лесничим в Улан-Удэ  
с хлебной крошкой в спутанной бороде,  
налегающим на алкоголь грошовый?  
Или вдруг, авантюрный сорвавший куш,  
я б петлял, как напуганный кем-то уж,  
уходя от вечного гнета фискальных служб  
в оффшоры?

Все могло быть иначе. Грядущее — не мастиф,  
уносящий в зубах ошметки альтернатив.  
И куда-то б, наверное, несся локомотив,  
и какие-то б, видимо, длились речи...  
Только ты, только ты. Ибо если не ты, то кот,  
никогда не пустующий невод земных невзгод,  
ну, и ангел. Гладкий ликом, как Карел Готт,  
и всегда отворачивающийся  
при встрече.

### **БЫВШИЙ**

А он говорит, что, мол, надо с народом строже.  
Строгость нынешних — просто дурная шутка,  
и расстрелов, и пыток — ведь ты согласишься — нема ж!  
Ну, замажут дерьмом или плюхнут зеленкой в рожу...  
Ну, подумаешь, цацы, это ж не рак желудка.  
Какие все стали капризные, ты ж панимаш...

А он говорит, что верхушка на злато падка;  
разложила народ, никакого тебе порядка,  
и презрела зазря победительных лет канон.  
И на лоб его многомудрый ложится складка,  
озабоченности невыносимой складка —  
глубже, чем аризонский Большой Каньон.

Что ему девяносто, когда он стареть не хочет?  
Он заправский эстет, и на полке его — Набоков.  
Жизнь, твердит он, ничто, коль ее не отдать борьбе.  
Входит он в Интернет, словно входит в курятник жочет,  
только мало ему, стоявшему у истоков,  
у святейших истоков грозного МГБ.

Хоть удел офицера нередко бывает горек,  
никогда, никогда сам себя не зовет он «бывший»  
и глядит за окно, где прохлада и даль ясна.  
И всего в двух шагах — аккуратный тенистый дворик,  
где взволнованной гроздьёю сирени дышит  
массачусетская весна.

---

---

Мария СКРЯГИНА

# БУТЫРКА

## Повесть

*Посвящается Саше (1976–2013) и Тане  
Все совпадения случайны*

Чай был горячим. Аглая отодвинула пластиковый стаканчик, ждала, пока остынет. Вероника цедила коктейль через трубочку. Не виделись давно, а разговор не клеился. Вдруг приятельница оживилась, вспомнила что-то.

— А ты слышала, Егора посадили?

— Какого Егора? Нашего?

— Ну да, вашего.

— Подожди, за что?

— Что-то политическое. Митинг с плакатами, против власти. Вышли на площадь, их там и сцапали. Вломили, дело шьют.

— Ты ничего не путаешь? Егор? Митинг? Он же работал дизайнером в какой-то модной конторе, преуспевал, купил квартиру.

— Мать, такое ни с чем не спутаешь. Сидит. В этой, как ее, Бутырке.

Еще сегодня днем все было, как обычно: выступила на конференции с докладом, кофе-брейк — кофе как будто из желудей, суховатые булочки, тонкое, ломкое печенье. Поминают то Шеллинга, то Шопенгауэра, а кто-то — Ханну Арендт. Снова в зал заседаний. Зябко — толком не топят, и она так рада, когда последний выступающий соблюдает регламент. Потом дорога до метро сквозь большой, нескончаемый парк — с философами из Питера и Нижнего, и все разговоры снова упираются в тему конференции: свобода, свобода, свобода.

Уже в вагоне, сквозь громыхание состава, ее застал звонок Вероники, бывшей соседки, давным-давно уехавшей за счастьем в Москву и неплохо устроившейся. Нужно было передать ей документы от матери. «Кофе попьем?» На самом деле уже не хочется никакого кофе, бесед, вопросов. Остаться бы одной. Отдохнуть от свистопляски последних дней, судорожных сборов, дороги. Нервного напряжения перед выступлением. Неожиданно свалившейся за долгие годы отсутствия Москвы. Но — документы, она же обещала. Соглашается. Едет. И слышит эту странную новость, будто из дурного сна. И не может сообразить, а как теперь быть?

---

Мария Александровна Скрягина родилась в городе Омске. Писатель, литературный критик, журналист. Окончила факультет теологии и мировых культур ОмГУ. Лауреат литературного конкурса имени Ф. М. Достоевского (2005), дипломант Шестого литературного Волошинского конкурса (2008), победитель литературного конкурса короткого рассказа имени В. М. Шукшина «Светлые души» (2012). Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Подъем», литературных сборниках. Живет в Красногорске.

- Вера Александровна! Это Аглая.
- Здравствуй, милая! Рада тебя слышать. Ты где сейчас?
- В Москве. Я узнала только что, про Егора. Ничего не понимаю, как так? Это ошибка какая-то?
- Нет. Не ошибка. Это двести восемьдесят вторая статья. Все очень серьезно. Но я не могу так, по телефону... А ты еще долго в Москве?
- Билет на послезавтра. Со следующей недели у меня лекции.
- Лекции... Молодчина, не бросила это гиблое дело. Только не увидимся.
- Вера Александровна, чем Егору помочь?
- Я наняла адвоката. Будет вытаскивать. Пока идет следствие, потом будет суд. Если суд не оправдает, сядет в колонию, — она помолчала. — Мой сын — в колонию, представляешь?

Не представляю, дорогая Вера Александровна.

И, главное, времени в обрез. Аглая попыталась дозвониться до Миши. Но все его телефоны из старой записной книжки — аккуратно записанные в ряд и зачеркнутые — молчали. В квартире родителей тоже никто не отвечал. Кто-то скидывал ей телефон Кирилла, но она никогда прежде ему не звонила. С тех самых пор. За целых десять лет.

Договорились на встречу в каком-то японском ресторане, где Кирилл был завсегдатаем. Причудливые иероглифы на вывеске, бамбук, картины тонкой кистью. Почти все места заняты. «Я буду под пальмой у окна». Точно, ждет. Темно-синий костюм, небесного цвета галстук, модная стрижка — весь как с картинки. И, глядя на него, она внезапно ощущает свою провинциальность, как толстую неказистую шкуру. И, наверное, заливается румянцем от этой мысли.

- Почему мне никто ничего не рассказал?
- Аглай, ну каждый понадеялся на другого. Да и что ты можешь сделать?
- А ты? У тебя же есть выходы? Если передачу снять?
- Ну, какие там выходы... Да и представь, сколько людей сидит в стране. И о каком программу делать? Абсурд? Абсурд! Ты успокойся. Главное — успокоиться. Адвоката наняли, дело движется. А что ты так переживаешь за Егора? У вас же с ним вроде ничего не было, или я что-то упустил?
- Кирилл, ну что ты такое несешь? И так тошно.
- Просто непонятно. Приехала, суетишься, панику нагоняешь.
- Он же твой товарищ. Вспомни, как тебе помогал тогда? Мог бы тоже — забить. Мы что теперь — чужие друг другу? Не нужен больше человек, и можно забыть о нем, притвориться, что ты его не знаешь?
- Блин, ну я что, этот долг теперь до пенсии отдавать буду? Он помог, потому что он такой. Он умеет. Я не умею. Вот такая прагматичная свинья. И вообще, тут другая ситуация. Политика, экстремизм. Он понимал, во что ввязывается. Это не значит, что автоматом надо втягивать всех нас. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. У меня семья, дети, работа, своя жизнь, в конце концов. Он хочет этим заниматься — пусть. Но если призывает к бунту, подрывает государственные устои — будь добр ответить. Порядок надо поддерживать. И так посмотри, что кругом творится.
- Он прежде всего твой друг, ведь так? Старый, уже не нужный, но друг. А уже потом преступник.
- Ну, какой он мне друг, заладила свое. Да, вместе квартиру снимали. Но мы ее десять лет назад снимали. Десять! И что, я сейчас должен все бросить и заниматься

Егором? То есть вот все дела на хрен, побоку? Как была ты не от мира сего, так и осталась. Как ребенок, ей-богу. Что не ешь-то ничего? Завелась! Успокойся, покушай. Выкрутится твой Егор. Вера Александровна там хлопочет. Матери, они знаешь какие — горы свернут. А у тебя, между прочим, какой-то детский подход, белое-черное, черное-белое. Да, это не так замечательно — в тюрьме сидеть. Но и тут есть свои плюсы. Подумай сама, кто он был? Один из миллиона художников. А выйдет — уже человек с биографией. Вот в ЖЖ о нем написали, в оппозиционной газете. Чем плохо? Засветится в медиа, потом это монетизирует. Для карьеры полезно.

Аглая смотрела, как он ест этот странно пахнущий суп, подцепляет ловко палочками склизкие роллы. Как бы японская еда. Все в этом городе как бы — ненастоящее, клон, симулякр, пародия. И люди — вроде бы снаружи все как надо, две руки, две ноги. А заглянешь внутрь — не человеческие, а поистине дьявольские бездны.

Захотелось плеснуть ему в лицо стакан воды. Окатить, очистить, смыть наваждение. Он жевал креветку и улыбался.

— Да, ты именно свинья, Лавилов!

— Детка, пройдет время, и ты поймешь, как я был прав!

Хотелось на свежий воздух. Пахло иноземными специями, и запах был не из неприятных.

— Алло! — женский настороженный голос. Мишина мама.

— Нина Андреевна, здравствуйте, это Аглая. — Молчание.

— Помните, Миша жил у нас на Первомайке?

— А, Глаша? Помню. Вы из Сибири звоните?

— Нет, я в Москве сейчас. Мишу ищу.

— А Миша уехал. На вокзал. У него поезд без пяти десять.

— Без пяти десять? Так я еще успею проводить. Вы мне номер поезда и вагон не подскажите?

Аглая понеслась на Ленинградский вокзал. Там царил привычная суматоха: люди катили свои чемоданы и тележки, тащили баулы, бежали встречать и провожать, в то время как женский голос размеренно объявлял сообщения про прибытие, отправление и пути.

Посмотрела номера вагонов, Мишин где-то в конце перрона. Любимый и родной запах железной дороги, такой приземленный — масло, креозот — и в то же время — запах странствий, далеких земель, запах мечты.

Миша стоял около вагона и курил. Рыжая борода, светлые, коротко подстриженные волосы, очки в золотистой оправе. Одет, как всегда, стильно: темно-оливковое пальто, шоколадно-кремовое кашне, бежевые вельветовые брюки, коричневые ботинки крокодиловой кожи. Не хватает только шляпы и саквояжа, и был бы земским доктором из позапрошлого века.

— Привет! Какие люди! Не ожидал! Ты как здесь? — бросил сигарету, обнял.

— Привет! Мама выдала твое месторасположение.

— Хорошо выглядишь, — отступил театрально, — молодеешь!

— А ты куда собрался?

— Я-то? В гости еду.

— Ты знаешь, что Егор в тюрьме?

— Знаю. — Он достал новую сигарету.

— И что?

— Ну, что? Грустная история.

— Миш, но ведь можно как-то помочь?

— Насколько мне известно, там адвокат хороший. Все сделает.

— А если не сделает?  
— Слушай, чего ты от меня-то хочешь? Чтоб я побег организовал или подкоп?  
— Говорят, от тридцати тысяч берут... долларов... чтобы... ну ты понял...  
— Милая моя, я рад бы, но, во-первых, это противозаконно, а во-вторых, нет у меня таких денег! Если по чесноку, у меня у самого сейчас проблемы. Долги большие, ищут меня. Поэтому и еду. Батюшка знакомый под Псковом обещал приютить. «Надо спастись», — говорит.

— Ну-ну, спасайся. — Она развернулась и пошла прочь.  
— Эй, Аглая, подожди!  
— Молодой человек, в вагон проходите.  
— Глаш, я как вернусь, тебе позвоню! Что-нибудь придумаем!

Поезд нервно дернулся, потом начал плавное движение и повез Мишу — под сень крестов, в богоспасаемую деревеньку, туда, где можно отмолить грехи и спастись.

Перрон опустел — все уехали, и только лениво толкает тележку грузчик, и Аглая бредет одна за несколькими провожающими. Перрон кончится, и дальше — куда? В метро? А ехать — куда?

Одиночество большого города — вот оно, настоящее. Среди миллионов, которым нет дела друг до друга. Едут, бегут, спешат по своим делам. А у тебя — ничего. Пустота. Ты здесь не нужен никому. Ты — никто, и от тебя ничего не зависит.

И мегаполис, как песочные часы, пересыпает и пересыпает человек. Туда-сюда, дом-работа, работа-дом, утро-вечер, день-ночь. Так и проходит жизнь.

— Что же ты не ешь ничего? — Оля подошла к столу, посмотрела в ее тарелку. — Невкусно?

Аглая остановилась на эти несколько дней у бывшей коллеги по университету. Преодолев положенные для приезжего покорителя столицы мытарства, Ольга нашла работу в московском вузе, перевезла семью и продолжила обустройство на новом месте. Несмотря на сложности, она выглядела уверенно, и было ясно, что у нее все получится.

— Нет, Оля, все хорошо, особенно рыба. Только не хочется.

— Ты вообще сегодня странная такая. Не заболела? Уже вирус по городу пошел. Может, арбидольчику или интерферончику? — Она потянулась к кухонному шкафчику.

— Ты лучше ей коньяку налей. — Виталик, Олин муж, заглянул на кухню, взял из вазочки печенье и исчез.

— Могу и коньяку.

— Оля, не надо ничего.

— Мам, а когда она уедет? Я хочу в своей комнате спать. — Оля залилась румянцем.

— Дима, тебе не стыдно? Так нельзя говорить! Аглая — наша гостья.

— Дмитрий, у меня билет на завтра.

— Не обращай на него внимания. Избалованный дальше некуда.

— Я не избалованный, — тут же надулся Дима и ушел.

— Виталик тебя проводит, не забывай.

— Я помню. Помню.

Оля стала убирать со стола.

Уже завтра. Еще один день. Но ведь можно что-то сделать?

Оля, вытирая тарелку, вдруг повернулась:

— Глаш, правда, ничего не случилось?

Аглая рассматривала карту. Тюрьма была почти в центре города. Поехать? Улица Лесная, недалеко от Новослободской. Поди, разыщу? Только дальше что — непонят-

но. Как там эти свидания дают, вряд ли попадешь, да и вообще... Но если не поехать — как потом жить?

«Бутырка? Приемник у них вроде там», — мужичок махнул рукой в сторону. Аглая послушно обошла большой кирпичный дом, выходящий сразу на две улицы, и попала во двор. Там, прямо под тюремными стенами с колючей проволокой, стояла детская площадка, вполне обычная — с цветной пластмассовой горкой, песочницей и каруселью, а на скамейке рядом сидели две пожилые женщины. Одна, полная, в темно-коричневом теплом пальто, отдыхала, подставив солнцу спокойное круглое лицо с мягкими чертами. Вторая, ее соседка, худая, словно спица, с бегающими туда-сюда глазами, вытянутым лицом, крючковатым носом, громко ругалась:

— Телевизор смотреть невозможно. Один разврат, одни убийства! Вот включишь «НТВ», а там — не изнасилуют, так убьют кого ...

— А я вот только наши старые фильмы смотрю. Или про Танюшку Разбежину новый сериал — видела? Анечка Снаткина ее играет. Просто бесподобно.

— Какая Танечка? Менты там сплошные. Криминал. Чрезвычайные происшествия.

— Маша, может, просто телевизор не смотреть?

— Ну как его не смотреть? Да и вообще, что телевизор! Молодежь-то какая пошла — пьют, колются, морали никакой. Девки одеваются, ты посмотри как! Как проститутки! А проститутки сколько, — она посмотрела в сторону Аглаи.

— Ну что ты говоришь! Есть очень приличные молодые люди, да вот наши соседи, к примеру.

— Какие они приличные? Посдавали квартиры всяким. Проходной двор, а не подъезд. Половины жильцов не знаю. Ошивается разное жулье, — Она снова метнула взгляд на Аглаю. — Вот раньше как было — все соседи знакомы, всех по именам, от старых до малых... Слушай, а ты не хочешь комнату сдать?

— Какое там. Одно беспокойство от этих квартирантов.

— За деньги можно и потерпеть. Привередливая ты больно, Шурка. Ну, ладно, пойдем. А то мне еще на рынок надо сходить.

— Так ты сходи, а я еще посижу.

Старушка встала со скамьи, повязала аккуратней платок, глянула на Аглаю и неожиданно прытко зашагала по дорожке. Спросить? На всякий случай? И Аглая вдруг решила:

— Извините, а вы за сколько комнату хотите сдать?

— Не знаю, еще и не решила, сдавать или нет. Приезжая? Студентка? Или сидит кто у тебя? — она спросила это мягко, участливо, и от того слезы сами навернулись на глаза.

— Сидит. — Аглая уже не могла сдерживаться и заплакала.

— Ничего, ничего, все будет хорошо. — Она взяла ее за руку.

— Много дали?

— Еще под следствием.

— А за что? В чем обвиняют?

— Экстремизм. Призывал к революции.

— Революционер, значит? Я думала, нет их уже, революционеров. А ты сама откуда будешь?

— Из Н-ска.

— А знаешь, я ведь там родилась. Отец у меня военный, служил как раз. Давно мы оттуда уехали, с того времени и не была. А тебя как зовут?

— Аглая.

— А меня Александра Тимофеевна.

Из ниоткуда возникла Семеновна, поставила на лавку сумку, перевела дух и спросила, ни на кого не глядя:

- А этой что надо?
  - Семеновна, не шуми. Горе у человека.
  - Тут у всех горе. Тут, — она указала костлявой рукой на тюрьму, — без горя не ходят. И что, всех привечать теперь? Отправь ее с Богом.
  - Я ее к себе жить возьму.
  - Возьми-возьми, она тебя ночью уколошит и ограбит.
  - Что у меня грабить-то?
  - Найдет что. Вон как зыркает.
  - Сколько взять-то за комнату?
  - Десять проси.
  - Не много ли?
  - А что, центр города, район хороший. Рядом с метро. Точно, десять!
  - Десять у меня не будет.
  - Ну вот, денег нет, а набивается.
  - Ладно, Аглая, дашь, сколько есть.
- 
- Мама, мне нужно остаться в Москве на какое-то время...
  - Аглая! Скажи мне, у тебя роман? Роман, да? — он выговаривала это слово прямо как в кино. — Скажи мне, кто он и насколько это серьезно?
  - Нет никакого романа! У меня просто дела, которые требуют моего присутствия.
  - Что это за дела, интересно, такие? А университет? Отпуск за свой счет? Не вздумай увольняться! Ты слышишь?
  - Слышу...
  - Когда вернешься?
- Если бы знать.
- Почему молчишь? Объясни толком, в конце концов, почему ты должна остаться?
  - Потому что больше некому.
  - Некому что?
  - Нет, ничего. Вернусь через месяц.

Желудь. Маленький дирижабль, закончивший свой полет. Беззащитная голова — всем ветрам. Гладкий бочок, хватать волчок. Щелк-щелк, летят желуди с дерева мира, щелк-щелк, судьба отбирает ненужных. Или нужных там, куда пока не добраться.

Лаковая пуля — мимо, еще поживем, осенний амулет на случай заморозков, надежда на новую поросль весной, гладишь, гладишь, и даже кажется живой под пальцами, лесной зверок. Прижился в кармане, что ж, заберу...

Московская осень — манок для приезжего. Огромные пятипалые листья кленов, дубовые — похожие на следы ребятишек, а трава зелена и густа. Как будто еще не все потеряно и можно остановить движение времени. Идти сквозь осень по бульварам, паркам и угольям старинных, величественных усадеб, погруженных в тишину. Ловить отголоски прошлого. Вдыхать древесный и лиственный запах, в котором — свежесть и тление сливаются воедино, и от того он особо упоителен.

А потом позолота спадает, ржавеет, чернеет — серые будни, с небом, похожим на огромную сизую подушку, такой хорошо придушить какого-нибудь неугодного императора или вот тебя, тебя, кто ты там? Иркутянин, вологжанин, курянин? С ноября по март лишать тебя свежего воздуха, солнца, давить, лишая сил, превращая в бледный

росток, пробивающийся сквозь твердый асфальт мегаполиса. Ну и что, хороша здесь жизнь, хороша?

По ветру летят паутинки, золотятся на солнце. И понимаешь в одно мгновение, что и сам ты — на тонкой-тонкой паутинке, и уходит она в небесную высь, и кто знает, когда порвется... Всматриваешься в стеклянный воздух, что там, за тонкой гранью? Тени умерших, крылья ангелов, предначертанное. А надо ли знать? Скучно жить провидцу на земле. Аглая собирает последний осенний букет: сиреневый клевер, розовый тысячелистник, лиловые васильки.

Что предопределено и можно ли убежать от судьбы? Поменять город, запутать следы? Не я, не мне предназначено. Пусть другая живет жизнью Аглаи, а она будет глядеть поверх расстояний, довольная: смогла, удалось.

Она уже была в такой квартире. Только после смерти. Здесь все говорило о том, что было до. Запах лекарств и старости. Пыльные окна, сизый плющ, то ли жив, то ли засох. Скляночки с лекарствами, блистеры с таблетками, банки с неизвестным содержимым. Сколько баба Шура жила так? Пять лет? Десять? Замерев между жизнью и смертью, ожидая своей очереди. Ведь нельзя же здесь жить, жить по-настоящему?

— Вот смотри, это твоя комната. Девчонка у меня одна снимала последний раз. Да шепотная такая, устала от нее. Приходила поздно и все по телефону трещала. Никакого покоя не было. Съехала, а я думаю, никого не буду брать. Поживу в тишине.

Две комнаты, крохотная кухонька. Затхлый запах, темно. На окне — два серых алоэ, серые занавески. На раковине — полоска ржавчины. Протертый паркет, ненювые дорожки.

Аглае вдруг захотелось все бросить и бежать отсюда. Это какая-то ошибка — о чем она думала?

Или о ком?

Ведь ему намного хуже.

— Аглая, будешь чай пить?

Чужая угасающая жизнь окружила ее со всех сторон. Казалось, можно задохнуться. Она проглотила комок в горле.

Если он может, то я и смогу?

— Буду. Спасибо.

Окна большой комнаты выходили на оживленную Новослободскую улицу. Тимофеевна любила, облокотившись на широкий подоконник, смотреть на поток машин, несущихся внизу. Жизнь ее была незатейлива: завтрак, телевизор, обед, прогулка, ужин, телевизор, сон. Каждый день Марья Семеновна выводила ее гулять, усаживала на скамейку, а сама, юркая, деловитая, уходила то в магазин, то на почту, то в какой-нибудь собес или ЖЭК. Тимофеевна сидела, дышала воздухом, подремывая, ждала подругу. Семеновна прибегала с полными сумками, поправляла свой платочек, зорко глядела по сторонам, с особой подозрительностью всматриваясь в Аглаю.

— Тебе на работу надо. Ты кем работаешь-то?

— Преподаю философию.

— И что, за такое деньги платят?

— Платят.

— Ну, у себя там и преподавай, а здесь надо крутиться, вертеться, чтоб прокормиться. Нянькой пойдешь? У соседей девчонку надо из сада забирать, некому. На квартиру и гречку хватит.

Семеновна переключивала часть продуктов из сумки в пакет — для Тимофеевны:

— Вот не понимаю я тебя, девка. Че в Москву приперлась-то? Дом, работа. Живи — не горюй. Нет, едет. Сдался тебе зэк? Тебе замуж надо, семью. Философия какая-то. Ты в детстве, часом, с лавки не падала? У меня в твои годы уже сын был, который на девок заглядывался. А ты все ждешь чего-то. Отсохнет у тебя там все, тогда уже никаких детей. Кому ты нужна-то будешь? Глупая баба, даже удивительно.

Она сверлила Аглаю своими голубыми, ясными, такими чистыми, напоминающими незабудки глазами.

— Ну чего ты, ни бэ ни мэ? Пойдешь нянькой? Чето думает еще.

— Пойду.

— Ну, вот и ладно. Ты, это, быстрее как-то соображай, чай, не из деревни. Училка ко всему. Как студентов-то такая отморозенная учишь?

— А вы можете без грубостей? Не хамить?

— Слушай, девка, я и так с тобой любезна выше крыши, поэтому давай роток на замок и шевелись. Окна Тимофеевне вымой, что ли. Прибери тут. Человек старый, немощный. Я тоже уже в годах женщина. А ты молодая, займись чем-нибудь полезным. А то Гегель, поди, один в башке.

Это была обычная современная семья: родители выплачивали ипотеку, работали на разных концах города, часто задерживались — то одно, то другое, и вообще — конкуренция, надо шевелиться, сдавать проекты, заслуживать премии, чтобы быстрее — карьера, отдать долги, поменять «хендай» на «мерс», слетать в отпуск (обязательно «пять звезд»), и вообще — держать марку, не хуже, чем у других. Дома они успевали только поесть наскоро приготовленный фастфуд, быстро покрошенный салат, макароны — неизменно альденте. А потом надо было уже ложиться спать, чтобы завтра снова в бой. Маленькая Лиза смиренно подчинялась этому колесу судьбы, другой жизни она не знала. При их первой встрече оглядела Аглаю взрослым, сосредоточенным взглядом, спокойно обронила: «Хорошо» — и ушла смотреть телевизор.

— Думаешь, я с... бессердечная? На ребенка времени нет, все работа, совещания, звонки? Не думаешь, а я вот частенько об этом размышляю. Смотришь на эту девчущечку, жалко ее, жалко себя. Только делать что. Вылезли с мужем из гребаной дыры, и, слава богу, надо карабкаться. И будем. Хочу, чтобы у нее все было. Пусть жертвы неизбежны. Но ведь потом она мне только спасибо скажет. За то, что не знает, как дошивать платье старшей сестры или ботинки брата. Что хлебушек, посыпанный сахаром, — самое вкусное лакомство в мире. За то, что первый раз море увидела в пять лет, а не в двадцать пять. Нет, у нее все будет. Только надо потерпеть, — она вытащила из сумки кошелек, отсчитала несколько купюр. — До завтра.

Как странно все же, что тюрьма прямо в центре города, правда, мало кто знает, что она именно здесь — за большим, в одиннадцать подъездов, домом ее не видно. С глаз долой, из сердца — вон.

Когда-то Бутырский губернский тюремный замок по приказу Екатерины спроектировал сам Матвей Казаков — с Покровским храмом и четырьмя башнями: Полицейской, Северной, Часовой и Южной. В подвале последней, закованный в цепи, сидел в свое время Емельян Пугачев, и она стала носить его имя. Нет уж давно и Пугачева, и народная память о нем сходит на нет, а башня стоит и, видно, будет долго стоять...

Здесь бывал Толстой — приглядывал фактуру для «Воскресения», расспрашивал надзирателей, с отправляемыми в Сибирь осужденными прошел путь до Николаевско-

го вокзала, чтобы потом написать об этом в романе. Кто тут бывал еще? И совсем не с творческими целями? Владимир Маяковский, Нестор Махно, Феликс Дзержинский.

В Бутырке выступал иллюзионист Гарри Гудини, демонстрируя заключенным, как можно, несмотря на кандалы и цепи, выбраться из транспортировочного ящика.

Во время Большого террора тюрьма перемолола не одну тысячу человек. Здесь содержались Варлам Шаламов, Осип Мандельштам, Сергей Королев, Александр Солженицын, Евгения Гинзбург. А потом, много позже, в Бутырке снимались сцены «Семнадцати мгновений весны».

Здесь идет совершенно обычная жизнь, как и везде. Вот подъезжают крутые машинки, из которых деловитые женщины и мужчины выгружают охапки пакетов, испещренные надписями модных брендов и названий торговых сетей, вот совершают ежедневный променады старички и старушки, выгуливают собак — в основном крупных, похожих на телят, только оскал у них совсем нетелячий. Иногда из Бутырки выходят молодые охранники с овчарками, ходят вдоль забора, не поймешь, проверяют территорию или ищут что. Бывает, слышны выстрелы — может, ворон постреливают, их тут много, каркают, не устают призывать беду. Около первого подъезда и мусорных баков — приемник, там все время стоят милицейские машины. Тут же небольшой магазинчик — можно купить пива и чипсов, посидеть во дворике — центр, сень деревьев, в жару хорошо.

Нет ничего необычного в том, чтобы жить во дворе тюрьмы. Ничего.

— В школе вообще кошмар. Учителя косо смотрят, завуч там одна меня не любит, так предлагала уволить. А ведь год до пенсии остался. Спасает только дефицит кадров, никто преподавать не хочет. А так бы уволили... Ученику недавно замечание сделала, а он мне: «Вы бы своего сына лучше поучали». Вот так, да. Все все знают. Позор. И если б еще подлецом каким был, убийцей — ведь нет...

Она смотрела в окно на тюрьму, где был ее сын. Совсем рядом.

Вертела в руках сигарету, то и дело поправляла часы на тонком запястье. Аглая никогда не видела Веру Александровну такой — будто высохшей изнутри, полной нервной, нездоровой энергии.

— Зачем я его воспитывала таким? Хорошему человеку не выжить, да он и не нужен сейчас. А кто нужен? Вор или приспособленец.

Муж предлагал уехать в Германию в девяностых. Мы развелись уже тогда, а он говорит: «Давай снова сойдемся, увезем Егора. Все у нас будет — и домик чистенький, и «мерседес», и садик с цветами, и вообще будущее, а здесь-то что?» Но мы с Егором не поехали. Может, зря? Может, надо было валить отсюда? И не сидел бы он сейчас в тюрьме...

Она вытерла слезы.

— Господи, что я несу? Пошли они все!

— У меня завтра встреча с адвокатом. Отец Егора денег передал, друзья кое-что собрали. Только бы сделал что-нибудь. Боюсь, последнее отдадим, а Егор останется там. — Она посмотрела на темные стены с колючей проволокой.

— Тогда, помнишь, Беата уехала? Тогда все и началось. Деньги, деньги, мам, я столько заработал, мам, у меня такой проект, у меня сякой проект, машину в кредит взял. Ипотека. Радовалась сначала за него. Мы всегда скромно жили, а тут... Подарками стал заваливать, ремонт сделали в нашей старой квартире. Сам радовался, как ребенок. Только по выходным, бывало, звоню, не отвечает. Потом говорит: «Занят, работал», я и верила... Однажды приехал, вроде веселый, говорили-говорили, ушла в магазин,

возвращаюсь, уже грустный какой-то, молчит. Посидел-посидел: «Надо ехать» — и ушел. А я в его комнату заглянула — старые рисунки на столе лежат. Смотрел, значит.

Пил он в выходные, компания какая-то была. Прямо там, в фирме.

Мама, а что мне делать? У меня ипотека на пятнадцать лет. Мне работать надо. Тошнит, а надо. И самое страшное — вернуться нельзя. Раз предал, уже все. Годы упущены.

Зачем он полез? Ведь можно было не лезть... Ходить на работу, спокойно ужинать в ресторанах, вечером — в клуб, или театр, или 3D, симпатичная девушка. На Рождество — Австрия или Таиланд, на майские — Кипр, потом отпуск. Загорелый, опустошенный возвращаешься в мегаполис. На Рождество — Прага или что там... Многие ведь так и живут. И ничего. Все, о чем мечтал, сбылось. Деньги, работа, карьера. Выходить на площадь, что-то требовать — не глупость ли, не безумие? На что он надеялся? Все искал правды и справедливости. А есть ли они? И под силу ли одному-единственному человеку сдвинуть горы?

Зачем ты, Егорушка, зачем, мой хороший...

Вера Александровна вынимала продукты из упаковок и по правилам тюремных передач складывала в отдельные прозрачные пакеты.

— Так, вроде все, видишь, дома не успела. Еще не забыть сигареты купить. Но я там покупаю, в тюремном магазине, чтобы не испортили, они же их ломают, чтобы в них чего запрещенного не передали. Магазин, кстати, хороший, цены сносные. Нет, не курит он, но сигареты как валюта, пусть будут, выручат, если что.

— Ты вряд ли к нему попадешь. Нет там таких категорий — друг, товарищ, есть — иные лица. Но они там не нужны. Спасибо, что меня пускают. Следовательно не особо расположен.

По наивности Аглая полагала, что сможет навещать Егора, словно тот был в больнице.

— А как так может быть?

— Следовательно дает разрешения на посещение только мне. Мог бы и мне не давать, его воля.

— Но ведь по закону можно и не родственникам?

— Наверное, можно. Но к Егору друзей не пускают. А кто у него еще есть? Только я. Да, и письма к нему не доходят. Те, которые по почте. Следовательно, видимо, так вразумляет. Но Егор просил никуда не жаловаться, потерпит. Говорит, мама, не надо этого ничего, после заявлений нас трясут, переселяют или подвешивают — сидим с вещами, ждем, а потом — остаемся на месте. Сокамерники нервничают. К начальству вызывают для объяснений, бывает, несколько дней потом приходится все утрясать, ничего приятного. Не по понятиям это — вот как ему сказали.

— А я же дуб дубом. Взяли его, думали, подержат, выпустят скоро. Ну, месяц. А ипотека капает, надо делать взносы. За два месяца ухлопала свои сбережения, пока со всеми расплатилась — банк, нотариус, — нужно кучу документов заверять, поездки эти, передачи, адвокат. Сейчас там, у Егора, жильцы снимают, помогают погасить.

— Живешь своей жизнью, на одно-другое сетуешь и думаешь, что не свободен. А настоящая несвобода — это вот как...

— Грязь, блохи, плесень, холод. Сейчас впятером сидят, солнца нет, отопления нет. Мерзнут. Ватник ему передала, говорит, лучший подарок. Вода в кране только холодная, душ раз в неделю. Слышно не очень, по трубке по этой, но за час разговора при-

выкаешь. Я пораньше иду — чтобы он недолго свидания ждал, их выводят в семь утра, и они потом в стакане, в будке такой сидят. Да, как собаки в будке ...

— Знаешь, он ведь там с разными людьми находится. И с осужденными, и с рецидивистами, психи тоже есть, наркоманы и больные: гепатит, туберкулез. Да, вот так. Обмолвился как-то, а потом уходил с этой темы, чтобы меня не расстраивать. Но я это помню. Каждый день. Боишься, чтоб не случилось чего. Чтоб не спросили — это бьют когда, не унизили. Свои у них там законы, у всех — что у вертухаев этих, что у эков. А он шутит все, рассказывает, как они там кашеварят, супы в чайнике варят, разные похлебки. Дачки-передачи быстро кончаются — представь, мужиков пять, все голодные, какой колбасой их прокормишь? Мясо нельзя, вот колбасу, сыр, сало положу, овощи. Сало они очень любят. Холодильник, бывает, есть в камере, бывает, нет. Да еще какой — морозит-не морозит. Крупы, хлопья, вся эта вермишель вредная, пюре. Ну, хоть так. И чай все время пьют. Похудел, бледный, изможденный. И курят там постоянно. Говорит, устал больше всего от того, что нечем дышать. Все пропахло табак: стены, постель, одежда, волосы.

— Подъем, проверка, завтрак, прогулка. Потом обед, сон, ужин, сон. Можно читать. Но те книги, что я посылала, так и не дошли. А он все: не жалуйся, мам. Неважно. Да, по сравнению с тем, что вообще произошло, — это не важно.

Она старалась говорить так, будто ее сын в каком-то специализированном пионерлагере.

— Ну, ладно, пойдем. Бери сумку, вон ту синюю, она полегче. Ты меня дома потом подожди, не майся. Ну, с Богом.

Вера Александровна вернулась через несколько часов, от ее прежней энергичности не осталось и следа.

— Аглая, ты можешь мне чаю сделать? Что-то мне нехорошо, — она достала сигарету, подержала ее в руках. — Нехорошо. Нет, знаешь, не надо ничего. Я просто прилягу. — И она легла на кровать, свернувшись, подобрав под себя ноги. Аглая подошла и молча укрыла ее пледом.

Вера Александровна закрыла лицо рукой и заплакала.

— За что? За что это все?

— Его выпустят. Обязательно. — Аглая гладила ее по плечу.

— Я не знаю. Я ничего не могу. Вся эта казенная система — это как головой об стену. Сплошное бессилие.

— Он выйдет, выберется.

— Аглай, у меня в сумке корвалол, накапай, пожалуйста, что-то плохо совсем. Не могу. Слишком больно.

В комнате повис удушливый запах лекарства. Вера Александровна уснула.

— Он бы не хотел, чтобы я так, — она обвела рукой опухшее лицо. — Так нельзя, конечно. Он переживает, что подвел меня. Но иногда просто не выдерживаешь — сидит там в этой клетке, и ты с этими бумажками, досмотрами... Ладно, ничего, мы все выдержим. Пойдем пить чай. Где-то варенье еще лежит.

Аглая поставила на плиту чайник, Вера Александровна оглядела кухню — крохотную, на двоих, с шумным, пожелтевшим от времени холодильником и рычащей колонкой с ярко-синим пламенем внутри.

— Глаша, а зачем ты осталась? Непонятно, чем дело кончится и когда. Адвокат сказал, что будет подавать кассационную жалобу. Уже два месяца прошло, как продлили срок содержания.

— Я помогу собрать денег.

— Денег?.. Думаешь, нужны мы кому-то со своими бедами?.. Наивные дети своего времени, — она задумчиво оглядела Аглаю, словно увидев в первый раз, — не пожалее оно вас.

Поздняя осень уже давала о себе знать. Утра были сплошь серые, беспросветные, холодные. Выйдешь — и пар изо рта. Листья пожухли и теперь были похожи на коричневые сморщенные сухофрукты из компота, прогорклые, исчерпавшие срок годности. Больше не было никакого свечения, торжественной, храмовой позолоты. Все померкло, и даже дышать стало труднее. Аглая глядела в окно на тяжелые, мокрые ветви деревьев, уставших от дождя, листвы, жизни.

Вышла из подъезда, и открылась застывшая картина: сумеречный двор, старики, сидящие на лавочке у флигеля, похожие не на людей, а на тени — в темных пальто, недвижимые, молчаливые. Опадающие медленно листья, колючая проволока, крепкая стена. Она шла мимо, а фигуры даже не повернули головы, будто их охватил смертельный сон. Достоевщина двадцать первого века.

Через арку на улицу — а там уже бежали машины, там город сам подгонял время. Текли потоки сквозь серый, влажный воздух, ничего не боясь, не останавливаясь. И она тоже влилась и шагала быстро, но те — черные — еще стояли у нее перед глазами.

— Шур, это не ты была сегодня на «Прямой линии»?

— Какой еще линии?

— Ну, пресс-конференция президента!

— Да ну тебя, Маня, скажешь чего.

— А я думала, ты, Шурка. Смотришь, как Владимир Владимирович на вопросы отвечает, понимаешь, как все дюже гарно устроено в стране, и вдруг захлестывает тебя благодарностью, подтягивашь телефон и звонишь — а почему бы не поблагодарить хорошего человека, — она прижала руку к впалой груди, — «Господи... спасибо вам, огромное спасибо». И трубку повесила, чтоб, значит, анонимно.

— Ой, придумашь тоже. Не я это! Не я!

— Не ты, так такая же. Сидит которая с хрен знает какой пенсией. Половина чтоб на коммуналку, а другая — на лекарства. И выкраивает соточку на шоколадку к чаю. И за все благодарная.

— А почему нет? Мне много и не надо. А пенсии у нас с тобой, Маня, еще божеские, грех жаловаться. Не то что у тех, кто после нас выходит.

— Ох, не знаю, не знаю, Шура. В марте-то выборы. А два срока уже отмотал, больше нельзя. Как мы без него, без царя-батюшки? На кого оставит нас? Как выкрутится? Ох, чую, что-то будет.

Идешь вдоль дома к подъезду и как будто находишься на границе двух миров. По левую руку — окна Бутырки, а по правую — окна шикарного салона света. И там, и там — решетки. Только салон света напоминает то ли аквариум с тропическими рыбами, большими, сияющими, яркими, то ли волшебный сад с райскими птицами и манящими запретными плодами, переливающимися, сверкающими. Там все светло, чисто, красиво, там *lux* в чистом виде (правда, имеющий свою цену с немалым количеством нулей). И этот свет забран решетками, забаррикадирован — не укради волшебства,

смотри издали. А издали — угрюмые, мрачные, сочащиеся тоской окна тюрьмы. Взгляды этих окон не пересекаются, не отражаются друг в друге, им не хватает пространства. И лишь прохожий повернет голову направо, голову налево и пойдет своей дорогой. Ведь большинство из нас — вне этих миров.

Лиза копает лопаткой снег. Вот так, подкопать бытие, устойчивое, кристаллик к кристаллику. Перевернуть его с ног на голову. Аглая берет у девочки лопатку и начинает машинально ковырять белый смерзшийся наст. Здесь никогда не гуляют дети. Где они все? По садикам и школам? Песочница, качели, горка всегда пустыют. А может, тут и нет никаких детей. Такой мир.

Быстро наплывают зимние сумерки, и все вокруг кажется зыбким. Оглядывается в страхе — показалось, что и Лиза исчезла, растаяла. Нет, копошится возле забора. Доносятся автомобильные гудки, горожане начинают компоноваться в пробки и возвращаться домой. Снег не поддается. Нет! Она все-таки добьется своего. Хотя так просто его не возьмешь, с первого раза. Но она будет пытаться. Двор заливают густой синей краской, загораются огни.

— Лиза, нам пора!

Фонарь с вышки — совсем рядом за окном, беззастенчиво льет свет сквозь задернутую занавеску. Не дает затеплиться ни мечте, ни сновидческому путешествию. Где-то капает вода, шумят трубы. От стекла веет зимней стужей. Тимофеевна на кухне при свете лампы перебирает таблетки в жестяной коробке.

— Тело. Что тело. Непонятно. Вдруг начинает предавать тебя. Думаешь, все-таки оно одно с тобою. Нет, само по себе. Не слушается. Почему старость? Почему болезнь? И ведь ты не хотел этого, а приходится жить. Иногда кажется, ты в нем, как в тюрьме.

А чего боюсь — так это слечь. Лежать, как овощ, гнить, когда и пролежни, и остальное. Правда, боюсь. А если еще и мозги откажут. Знаешь, может, лучше во сне умереть, пока еще не совсем развалина. И уж вроде отработала свое. Чего белый свет коптит. А как начнешь думать — страшно. И хочется этой жизни, ну пусть денек, пусть другой. Встаешь, видишь, солнце взошло — и ничего, как-нибудь... Ты чего не спишь, Аглая? Иди спать, отдохай. Утро вечера мудреней.

Вдруг за окнами — вздрагиваешь от неожиданности — раздаются взрывы, и начинают распускаться огромные шапки цветов, верещит сигнализация, в доме зажигаются огни. Аглая непонимающе глядит на странный ночной салют, озаряющий все вокруг ярким светом.

— Это для сидельца местного. Может, шишка какая в заключении или смотрящего поздравляют. Бывает иногда.

Шумная иллюминация внезапно стихает, всхлипывают напоследок машинки, и двор погружается во тьму.

Женщину, открывшую дверь — стройную, с коротко подстриженными огненно-рыжими волосами, зелеными глазами, в джинсах и простой серой футболке, — она сначала приняла за старшую дочь Аси. Потом вспомнила, что старшие у нее — мальчики.

— Заходите, Аглая, раздевайтесь, я сейчас. — Она нырнула в глубину квартиры и вернулась с ребенком на руках. — Это моя младшая, Маришка. Все не спит и не спит, а уже время. — Маришка вытаращила глаза и вдруг заплакала. — Ну, начинается... Аглая, дайте на кухню. Попробую ее все-таки укачать.

Аглая прошла по коридору, где на вешалке громоздилась разноцветная одежда всех размеров, а рядом стояла в ряд обувь на любой выбор: ботинки, кроссовки, валенки,

сапожки. Кухня была светлой и просторной, с эркером и большим столом в центре. У раковины светловолосый бородач в клетчатой рубашке чистил картошку.

- Петя, а вот и наша гостья!
- Приятно познакомиться. Аглая, — она протянула ладонь.
- Петр! Не камень, но муж, — представился бородач, вытирая руки о полотенце.
- Это как сказать, — прокомментировала Ася.
- Ася Юрьевна за свое.
- Я же в хорошем смысле — за Петром как за каменной стеной.
- Она шутит, не обращайтесь внимания. Чай, кофе? Не побоюсь этого слова — какао?
- Ну, что за какао, а курица?
- Курица заброшена. В духовку, имею в виду. И почему такая бесцеремонность?

В хороших домах гостю всегда сначала предлагают напитки!

— Можно чаю, — примирительно откликнулась Аглая, одним ухом слушая словесный пинг-понг и разглядывая обстановку: пальму на подоконнике, еще не распустившиеся гиацинты в деревянном ящичке, стопку книг — вперемешку детские и взрослые, свечи в разноцветных стеклянных подсвечниках. Семейные фото на стенах и чьи-то вполне профессиональные рисунки в рамках: море и скалы, старая крепость, заросший сад, дети на берегу, букеты.

- Ася, это ваши?
- Мои — было время... Эх, Петя, мы как всегда. Приглашали человека на ужин, а будет кормить разговорами. Наш фирменный прием.
- Ужин задерживается, как в лучших ресторанах. Небольшое смещение графика.
- Аню из садика забрали?
- Забрали. И она просила ее называть теперь Нюшей.
- Ну, какая Нюша? Как свинка из мультика? Их там хоть покормили?
- Конечно, их покормили, их каждый день кормят. А ты каждый день спрашиваешь.
- Ну, Петь! Так, Маришка вроде отрубается, пойду положу ее. Вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания, пейте чай. Я сейчас вернусь. Петь, курица скоро?
- Я бы не сказал.
- Можно еще салатику построгать.
- Можно! Как живут семьи, в которых нет Аси Юрьевны, даже не могу вообразить. — Петя меланхолично достал разделочную доску и овощи. — Шучу, конечно. Реально не представляю себя матерью четверых детей, отцом-то с трудом.

Где-то сладко посапывала Маришка, иногда доносились негромкие обрывки детских разговоров, каких-то мультфильмов.

В духовке шкворчала курица, издавая аромат на весь дом. Посреди стола уже был водружен салат из зелени, какие-то закуски. Петр налил Аглае вторую чашку чаю и под возмущенные комментарии жены — «сладкое перед ужином?! ну, перебьем же аппетит!» — предложил еще пряников и варенья.

— Мы с Егором раньше вместе работали, я в айти, он — как любили говорить у нас — дезигнером. Потом я ушел — мне нужна была работа с гибким графиком, чтобы Асе помогать с детьми. Но мы продолжали общаться. Он частенько в гости заглядывал. У нас тут вообще кружок образовался, как это бывает в интеллигентных кругах. Что только не обсуждали. А случилось все как-то неожиданно. Он сказал, что придумал акцию. Ну и...

— Ситуация с Егором просто ни в какие ворота не лезет.

— Что от нас зависит, мы сделали: нашли адвоката, какие-то деньги. Старались привлечь внимание общественности, но как-то тухло. Он же ничей. Ни к каким оппозиционным кругам не принадлежит. Просто человек решил выразить свой протест. Написали один раз и забыли...

— Я вообще иногда не могу понять, как мы до этого — всего — докатились. Нас же все детство и юность учили, что капиталисты — это наши враги, что это люди без чести, без совести, что ради денег они готовы на все. Что капитализм хорошим не бывает. А потом — раз. И все поменялось. И люди слились. Сами же секретари обкомов, комсомольцы, партбонзы превратились в миллионеров, первостатейных буржуев, владельцев газет-пароходов. Как так произошло?

— Да людям по фигу, на самом деле. Власть берет пассионарное меньшинство, а остальные адаптируются к окружающей среде.

— Эксплуатация человека человеком омерзительна! Ради чего человеку работать? Чтобы кормить очередного олигарха или чиновника? Дом ему построить или детей за границу отправить учиться и жить? В то время когда твои дети раз в месяц мясо едят? Или не замечать этого — мол, меня не касается. Ни бомжи на улицах, ни разбитые дороги, ни поликлиники с ржавыми унитазами, обвалившимися стенами, не то что без лекарств — без бинтов!

— Ну да, а что — все это так похоже на обычные природные явления. Зиму, например. Если зацикливаться все время на том, что холодно, просто замерзнешь. Здесь так же.

— Такой мощный социальный откат — а люди его толком не осознают. Тем более ведь не все проиграли.

Вот мещанин-потребитель одержал победу. Он теперь все может купить. Он не боится, что бесплатная медицина катится к чертям и образование туда же, он же все может приобрести за денежку: доктора, элитную школу, диплом. Только дальше что? Как можно отгородиться от общества, где будут миллионы больных, необразованных, асоциальных, бесперспективных и, возможно, агрессивных людей? Только уехать. Ну, может и уедут они все, не знаю. А нам некуда уезжать.

— Ася Юрьевна, вы все-таки не на партсобрании. Имейте совесть. Мне иногда кажется, что я живу с Александрой Коллонтай.

— Александра Михайловна мне, кстати, симпатична. Петя, я просто хочу, чтоб Аглая поняла — Егор не просто так вышел. Для него это были насущные вопросы. И он хотел не только говорить, но и делать. Что-то менять. Он ведь пытался принять правила игры. Добился хорошего места в системе. Но если вся игра построена на лжи, то выиграть невозможно. И должен быть какой-то выход. Поступок.

— На который я, например, не решился. Потому что у меня жена и четверо детей, за которых я несу ответственность.

— А может, надо было, Петя? Ведь самое страшное — что детям? Я не только про своих, я — вообще. Вроде загружены по самые макушки: бассейны, английский, шахматы, кружки, как полагается. А разговоры все равно о том, кто круче, у кого денег больше. Айфоны, айпады, тачки. Сидишь, ждешь ребятишек с каких-нибудь занятий и слушаешь. Как они некрутых обсуждают, чьих-то бедных родителей, чьи-то шмотки дешевые. А с другой стороны — их же матери о том же, кто что купил, куда съездил. Терпеть этих куриц не могу — честно говорю. Может, классовое сознание во мне вопиет. Или как в таких случаях обычно принято говорить: это вы завидуете. Ага. Меряются отпусками, машинками, мужьями, детьми.

А еще ЕГЭ этот. Чтоб и с мозгами уже все бесповоротно. Передо мной стоял вопрос: хочу ли я, чтоб мои дети жили в таком окружении. Был соблазн убежать. В глухую деревню или просто на домашнее обучение. Но в этом была бы определенная трусость. Мы не такие. Хотя, конечно, сложно.

— А я верю в людей. В них есть хорошее. Просто им приходится принимать правила игры. When you in Rome, do as the Romans do. Понимаешь? Как христиане в древ-

нем Риме, в катакомбах служат мессу, а выходят на улицы Вечного города и становятся, как все.

— Лицемерие, Петя.

— Не всем же быть такими умными, как ты, Ася. Людям сложно разобраться. Сложно жить в постоянном конфликте с системой ценностей. Поневоле примиришься.

— Вот именно! И тогда можно все.

— Осуждать мы можем сколько угодно.

— Люди запуганы. Держат в страхе, как овец. Революция — ну это же будут громить, убивать, добро отбирать. Лучше уж пусть так, тихо, покойно, за счет кого-то. У кого судебные приставы имущество описывают, кого коллекторы жгут, кто в нищете живет, да мало ли беззаконий — новости открой, и будет тебе готовый список. Знать все это и еще ко всему про ГУЛАГ порассуждать за чашкой кофе или экраном компьютера. Благодушное лицемерие. Потому что вот он — ГУЛАГ настоящего. Только легко выяснять, почему отцы и деды его допустили, а почему ты сам ничего не делаешь, уже неприятно. Проще в прошлое убежать, а настоящее обозвать нормальным, стабильным, черт знает каким.

И дело не в Путине или Медведеве. Государство — это инструмент тех, кто владеет частной собственностью. Вот и все. Они никогда не отдадут ни собственность, ни власть.

— И все равно, Ася, остается один вопрос: допустим, все получилось, систему свергли, но вместе с тем развалили и государство. Ну, не смогли удержать. И страны больше нет. Что бы ты выбрала? Россию или революцию?

— Подожди, Маришка, похоже, проснулась.

— Пойду посмотрю.

— Да, сходи, пожалуйста. И зови всех к столу.

Старые добрые русские кухни, на которых одновременно готовятся обеды и революции. С пылу с жару — на стол эпохи. Потом расхлебывай. Агляя не лезла в политику. Конечно, на кафедре были все эти разговоры. Куда катится, что будет, реформа образования, коммунальные растут, где подработать, куда власть смотрит. Она не хотела вдаваться. От нее самой ничего не зависело, к чему переливать из пустое в порожнее. Что изменится, стань она за белых или за красных? Несправедливость происходящего угнетала ее, как и других. Но согласилась бы она — чтобы все, как семьдесят лет назад, вверх тормашками, ради светлого будущего. Или даже — чтобы как в девяносто первом? Зачем далеко ходить? Ведь все у них было на глазах, только это не называли революцией. И голодали, и разборки видели, и как одноклассники от наркоты умирали, и зарплаты родительской ждали как манны небесной. И как наверх кто-то взлетал — тоже видели. Если изменений — то нет, больше такого не надо. Люди проживают свои обычные жизни. Кто как может. Дети, семьи, престарелые родители, нажитое житье-бытье, а еще кредиты, отпуска, бары, отели, клубы, салоны, гипермаркеты. На что менять? Не было бы хуже. Пусть так.

Они ведь — тогда — хотели не этого, не об этом мечтали. Не об откатах, беспределе, обмане властей, не о том, чтобы бомжи копались в мусорных ящиках, чтобы были бедные и богатые, не о демографической катастрофе, разрушении промышленности, науки, образования, не о деградировавшей культуре, не о терактах и войне на Кавказе. Они грезили о новом, светлом мире, лучшем, чем СССР. А он не наступил. Только расхватали то, прежнее, поделили и людей поделили — кто чернь, быдло, кто элита. Кто мусор, кто золотой миллиард. И что теперь делать? Ждать, что и так сойдет? Или каждый пусть выгребается поодиночке?

— Это все эксперимент! Ничего не закончилось ни в семнадцатом, ни в девяносто первом. По сути дела, в России в последние несколько лет проведен социальный эксперимент невиданного масштаба, как в 1917 году.

Суть его — вовсе не в зомбировании телепропагандой и прочих интеллигентских мифах.

Суть его заключается в том, что взято все сумбурно-безумное содержимое головы среднестатистического жителя России (которое, к слову, мало отличается от содержимого головы среднестатистического жителя любой другой страны) и это содержимое сделано основой государственной политики. Как внутренней, так и внешней.

Вывод из эксперимента следует сделать лишь один: если государство хочет мирно жить на равных с другими, не будучи изгоем, в современном мире, оно должно возвести железный занавес. Между государственной политикой и содержимым головы среднестатистического гражданина этого государства.

Странным образом от этого становится лучше как политике, так и содержимому головы (а через него — и состоянию тела) гражданина.

— А еще якобы простой народ обладает каким-то сокровенным знанием и какой-то особой нравственностью. Ведь очевидное вранье!

Доля предателей, садистов, насильников и каннибалов в простом народе не меньше, а то и превышает таковую в образованном сословии: об этом говорит история войн, военных преступлений и катастроф.

Допустим, высоколобые негодяи сочиняли разные бесчеловечные теории — но живьем людей в землю закапывал все же простой народ. Где же эта «народная нравственность»? Ах, народу заморочили голову? Значит, народ просто дурак?

Ну, дурак не дурак, но глупее образованного сословия, это уж точно.

Если вдруг случится нужда, врач и инженер смогут за день превратиться в землекопа и дровосека. А вот землекоп и дровосек не смогут стать врачом и инженером. Ну, разве через пять-семь лет прилежной учебы.

Речь не о правах человека.

Права человека у всех одинаковы. Речь о другом. Почему грамотные должны ориентироваться на мнение неграмотных?

Немецко-романтический бред, я же говорю.

— Есть некоторое биологическое объяснение, которое называется отрицательный отбор. Это раздел науки, которая называется популяционная генетика. Определенные группы людей пострадали за время советской власти. Их потомство тоже пострадало. Более того, многие дети уничтоженных властью людей тоже не выжили, а некоторое количество детей этих людей с определенным генотипом не родилось. Это генетическое объяснение. И оно отчасти объясняет особенности современной демографии. Кроме прочего, существует и влияние внешней среды, которая дает преимущества людям с повышенной агрессией. Вспомним эпизод, с которого мы начали этот разговор, — я про зеленку. Я могу допустить, что наиболее конкурентоспособные дети отправятся получать образование за границу, по грантам или усилиями родителей, и останутся

в Чехии или в Англии, в Корее или в Швейцарии (во всех этих странах я встречала много молодых русских специалистов), а эти, что зеленкой бросаются, останутся на родине. Это и есть настоящая беда для страны. А не цены на нефть.

Летит снег. Летит из века в век. Летит успокоительно. Белая корпия на раны. Все заживет до весны.

Страна моя, засыпанная снегом, водой уснувшей, ледяной, и время здесь, словно пойманное, замороженное. Снег — душа твоя, спящая, чистая, нежная душа.

Из поколения в поколение живем среди замерзшей воды, среди кристалликов льда. Чувство снега у нас в крови — и этот скрип под ногами, и капустно-морозная свежесть, и следы на нетронutom белом, и шестилучная на варежке, и пятнышко от теплого дыхания на холодном стекле...

С Кати они разговаривали по скайпу несколько раз в год. Разговоры были, в общем-то, похожи один на другой.

Как ты? Нормально. Работаю. И я работаю. Не замужем? Есть кто-то на горизонте? Делились забавными — а были ли они таковыми? — историями. Родители решили тайно сосватать Кати к одному знакомому, все устроили, позвали на день рождения, она не пошла. С Аглаей флиртовал очередной студент, записки писал прямо на лекции. И все в таком же духе. Как Миша? Егор? Кирилл? Беата? Обменивались весточками о друзьях, обещали друг другу увидеться. Непременно, в следующем году уж точно.

Кати, автор двух диссертаций в совершенно разных областях — она была разносторонним человеком, — после возвращения на родину ушла из науки: нужно было зарабатывать деньги. Коллектив был неплохой, платили достаточно — она взяла в ипотеку однушку. После отъезда ее младшего брата с женой на заработки в Америку — по туристической визе, но как-то они там приспособились трудиться и добывать доллары — на нее легли еще заботы о племянниках. «А помнишь N? Он не писал тебе?» — «Не писал...» Московский великовозрастный мальчик, талантливый аспирант, Кати тогда думала, что у них что-то получится. Но он то ли струсил, то ли привык жить с мамой и побоялся все изменить. Перед ее отъездом он промолчал. Больше не было ни писем, ни звонков. Так бывает.

— Егорчик, хороший наш, как же так... Ты передавай ему привет от меня, я скучаю. Я по всем вам очень скучаю. И давай там — не вешай нос, я приеду к тебе на свадьбу.

— Нет, это я к тебе.

«Так, пожалуй, мы никогда не увидимся», — бесстрастно подумала Аглая, разглядывая свое отражение в погасшем мониторе.

Три женщины в двухкомнатной тесной квартире. Слава богу, у Аглаи есть свой угол. Комнатенка, где можно укрыться от разговоров, всегда одних и тех же. Мать и бабушка напоминают мойр. Плетут слова, не умолкая, одно к одному, бабушка прядет шерсть, и что там выходит из-под ее рук — кажется, нить жизни. Участь, судьба, предопределение, на роду написано. А ее род особый: все женщины в нем несчастны, живут одиноко, без мужчин. Судьба не сложилась, а может быть, рок. «Или характер», — думает Аглая, слушая, как за стеной начинают негромко, печально петь. «Ну, точно — мойры».

Ее назвали старинным именем в честь прапрабабки — у той, говорят, все хорошо было, и любимый муж, и дети. Свежо предание. Что может быть известно о позапрошловекском чужом счастье? Придумали, чтоб утешиться. И ее утешить. Мать бабушки молодого мужа потеряла на войне. Девочку растила одна. Баба Валя дважды

побывала замужем — не сложилось. У матери вот тоже. Все надежды на Аглаю. А она не оправдывает. Они все говорят за стеной, о женской доле, о том, что приличных-то теперь не найти, а вот у этой-то, как ее, бросил он ведь с ребенком, а тот — пьет и пьет, за ухо льет. А того посадили, тот алименты не платит, двое детей, перебиваются. У соседа любовница, видела? Жена и не знает или что, прощает? Вот нравы-то! Куда мир катится. И вообще мужиков сейчас меньше, вымирают. Нашей-то, нашей век одной вековать. Бедная девочка. Участь, видно, такая. Они оплетают ее сетью слов, и уже не вырваться. Наверное, и правда, одной.

Аглая лежит в темноте, не в силах зажечь лампу, а надо готовиться к завтрашней лекции, завтра она все четко расскажет о мироустройстве, о том, что нет никакого предопределения, что есть выбор и что там еще? Свобода?

Она встает, идет на кухню, включает чайник. В зале умолкают, и она знает, что две женщины многозначительно переглядываются, не отрывая рук от пряжи и нитей. Потом затягивают заунывный романс. За окном падает снег.

Она не любила свое имя. И зачем так назвали. Аглая — гладкое слово, похожее на кожуру, коричневую, лакированную, неведомого растения. Раз, откроется — и появится оттуда другая, настоящая, счастливая. А пока живи так — Аглаей, под скорлупой.

По ошибке называли ее и Аллой, и Алей. Глаша тоже раздражала. «Глаша — манная каша».

Когда-то была наивной и приводила в дом ухажеров. Да нет, мальчиков, которые нравились, друзей, которые могли бы стать кем-то больше. Женщины принимались хлопотать, выставляли на стол старинный сервиз, варенье в блюдцах, рассыпчатое печенье, кружились вокруг, вели учтивые разговоры, задавали вопросы, переглядывались, услышав ответы. А после ухода гостей, рассматривая чайники в белых роскошных чашках, начинали неспешную беседу. Не то, все было не то. Этот некрасив — зорко подмечали все недостатки, тот — глуп, другой не воспитан. Аглая шла спать, а их голоса звучали в темноте, и что-то таяло в сердце и утекало холодной водой в черноту ночи.

Не сразу поняла — хорошего не будет. Все верила — ищут для своей Аглаюшки самого лучшего. Потом дошло. Играют. Это открытие окончательно лишило ее чего-то важного. Близкие люди могут обманывать, притворяться. Прикрываться благом.

Все-таки поняла и пожалела. Только больше не звала никого.

Голубой огонек, превратившийся в голубой костерок, в котором сгорают невинные души или, наоборот, у которого греются днями и вечерами? Вот такие же московские дворики, такие же бабушки, а как у них? а у нас ведь еще ничего! поживем! И Хулио, обязательно Хулио, у которого неприятности, и пара внебрачных детей, и любовница, и проблемы в компании, и безответная любовь. Большие семьи, снующие всюду родственники, разговоры на кухне, в стерильных красивых спальнях и гостиных. Чужие люди, которые вдруг становятся родными... В душу не лезут, и всегда можно выключить, если надоели. У Тимофеевны есть русская семья на первом, с несчастной Танечкой, попавшей в переплет. «Слушай, ну этот Сергей, ну как он так мог?» — сокрушается баба Шура. «Жену в тюрьму — куда это годится!», нескончаемый Татьянин день все равно скоро завершится. Все поженятся и будут жить в большом загородном доме, с детьми ото всех браков, с тещами и свекровьями. Зрители утрут слезы, уберут сердечные капли. Раздрай и энтропия прекратятся по мановению волшебной палочки сценаристов. До следующей Танечки или Верочки.

Начинаются новости, приходит Семеновна, сначала смотрит молча, потом начинает комментировать:

— Просрала страну, просрала.

— Маша...

— Ты, Шура, никогда в политике ниче не понимала.

— Гондоны сраные, что рот, что жопа. Матерей обворовывали — не чужих, ..ля, так что можно, старух несчастных, дедов, что им землю, с которой они деньгу стригут, кровью своей поливали. Ненасытные, жрут и жрут, ни стыда, ни совести. И не колбаску, и не водочку жрут своими пастями. Счастье, свободу, волю, будущее, жизни нынешних и новых поколений хавают. Где они были, когда надо было воевать и строить, сеять? Где, ..ля? И где они сейчас? И те, другие — молчали, не рыпались.

— Маша, ну не ругайся, слова-то какие...

— Не твоя вина, что сидишь, из дому не выходишь, не видишь ничего, кроме ящика своего. А я у Нинки была, у Луизки была, у Катьки. Подошли деревни-то. И главное, этим ничего не жалко — ни труда, ни жизни, ни могил. Только все чужое у них — чужие портки, чужие часы, чужие зубы и яхты — у нас все украдено. Потом не надо удивляться, если кишки пустят. И ведь не жалко будет. Мне — нет. Жалко — у пчелки в попке. А упыри, которые сегодня жируют, должны знать: бежать некуда, и для них здесь все рано или поздно закончится. Ты, Шурка, душевная, еще пожалеешь. Заблеешь, как всегда, о милосердии, о прощении. Мой отец был человек простой, и он мне сказал: «Запомни, терпение — не добродетель, не терпи унижения, несправедливости, лжи. Никогда». Была б моя воля... Но не моя... Странно, живут и верят, что расплаты не будет. А ведь было это однажды, видели.

Что она могла видеть-то? Не в семнадцатом же? Сколько ей лет вообще? Аглая украдкой взгляделась в ее морщинистое лицо. Инфернальная старуха, исходящая какой-то потусторонней, древней ненавистью, что спит до поры до времени глубоко под землей, а потом вырывается и не жалеет никого. В чем сила, брат? В правде.

Неумирающие старухи, из века в век присматривающие за очагом, от которого греемся все мы. Из искры возгорится пламя. Сумасшедшие или юридивые?

— Ладно, Поздно уже. Спать пойду. Завтра на рынок побегу, что купить тебе, Шурка? Пряников?

— Не хочется, Маша, ничего.

— Как только ничего не будешь хотеть, Шурка, так сразу и помрешь. Точно говорю. Соглашайся на пряники.

Около полуночи дом похож на большое, уставшее животное, едва слышно его размеренное дыхание. Кажется, он спит. Только в трубах-сосудах, нервах-коммуникациях продолжается тихая жизнь: гудение, постукивание, шум воды. Аглая сидит при свете лампы, дочитывает статью про причины экономического кризиса. За окном горят уже привычные огни ограды Бутырской тюрьмы. Вдруг слышится странный звук, такой плачущий, гулкий, страдающий: «Иу-флюп-флюп-флюп». Послышалось? «Иу-флюп-флюп-флюп», — звук может принадлежать маленькому морскому животному, случайно попавшему в водопровод. Например, какому-нибудь несчастному морскому коту или львенку. Надо скорее его спасти! Напоить молоком (хм, молока-то нет), ну, тогда свежими фруктами (как? и фруктов нет?), ну, тогда дать батон (как? и батон тоже?!). Ну, ладно, нужно просто ему помочь. «Иу-флюп-флюп-флюп». Вода просачивается сквозь до конца не вытасченную пробку в ванне и издает странный, живой звук. Только нет никого. И некого спасать. Аглая вытаскивает пробку. Вода, закручиваясь воронкой, утекает в небытие.

— Посмотрите, кто вы? На что годитесь? Не работать, но зарабатывать. Под пальмой загорать — так, милая? А теперь смотри сюда — видишь, какие руки у бабы Мани? Руки рабочего человека, некрасивые, да? Знаете вы, нахальное молодое хамье, как мы жили? Трудились от зари до зари. Мать меня раньше срока родила, как и двух других. Те умерли, а меня выходила. Прятала меня в отцову рукавицу и грела в печурке, чтоб не околела. Не трудиться — все равно что не жить. Теперь смеетесь. Все смешно вам — что строили, что воевали, что хлеб с лебедой ели. Если так смешно, то не трогайте чужой труд, не продавайте его, живите своим. Только что-то я гляжу — не выходит.

— Что ты напустилась, ей-богу, как с цепи сорвалась? Аглая-то тут при чем?

— Может, и ни при чем. Девка не последняя, детей учит. Как вы будете жить без нас?

— Хорошо будут, Маша. Работать, любить, детей рожать. Преодолевать трудности. Жизнь не кончается. Дай Бог, мы и свою прожили не напрасно.

— То-то и оно, что жизнь в ...опу. Сдохнуть надо было в восемьдесят пятом и не видеть всего этого.

— Все равно ничего не изменить.

— Коростылева помнишь, из соседнего дома?

— Ну? Помер, что ли?

— Ордена у него украли вчера. Соцработники. Инфаркт. Ну, бывай, Шурка.

Она придумывает себе путь — чтобы уйти от темного и печального дома, который, словно потемкинская декорация, скрывает тюрьму от приличных глаз. Покорно идет по Палихе — прямо, как и ведет дорога, дальше сворачивает на улицу Достоевского, тихую, почти без машин, с дребезжащим трамваем. Казалось, шагаешь по ней в безвременье. Вот корпуса Мариинской больницы, флигель, где на первом этаже занимала две комнаты семья лекаря Достоевского, там потом четырнадцать лет прожил сам писатель. Сейчас здесь музей. На окнах цветы, кружевные занавески.

А может быть, он там? Сидит, пишет, изредка выглядывает в нынешнюю действительность, убеждается, что люди мало изменились, и вновь закрывается у себя в кабинете. Девятнадцатый век vs двадцать первый. Но ведь вроде выигрываем, движемся куда-то вперед?

Трамвайные рельсы уходят в переулок Достоевского. А потом, может быть, в проезд Достоевского, а далее — не исключено, что в тупик Достоевского. Писатель, который запрограммировал русскую жизнь. Нынче вон жалуются — он был больной, ишь депрессухи какой насочинял. Виноват в изводе русской жизни, нет бы что повеселее, попроще — мы бы тогда жили легко и счастливо. Дрогнула занавеска, будто кто-то решил, таясь, посмотреть из окна. Но нет, показалось — там по-прежнему никого нет.

Улица заканчивается огромной пятиконечной звездой — театром Советской армии. Монументальный, на века, как все советское. Через дорогу, в таком же стиле, портик, колонны — военный музей. Аглая берет правее, за оградой остаются самолеты и пушки, осыпаемые золотистой листвой. А вот и вход в Екатерининский парк. Сладострастный запах тления и угасания, истлевания растительной плоти. «Смертью смерть поправ», — всплывает в голове, но здесь и сейчас ее не победить.

В пруду плавают утки, похожие на апельсины, у них есть какое-то правильное название, да-да, огарь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

А район здесь хороший, есть все, что нужно — церковь и бывший монастырь, тюрьма, университет, издательство и редакции журналов, прокуратура, Достоевский. Если

вырезать аккуратно и перенести это все на необитаемый остров, оно также благополучно функционировало бы как модель русской жизни.

Вот Егор выйдет, и мы будем вместе гулять. Егор, Егор... А может, он тоже превратился в чужого человека? Ведь все это время не писал и не звонил. Но и она тоже молчала. Не хотела возвращаться в прошлое. Думать об упущенных возможностях. Ведь если бы тогда осталась — жизнь могла бы пойти совсем по-другому, правда? И она завидовала тем, кто остался — кто смог вцепиться в московское бытие. Почему-то казалось, у них тут сохранилось что-то настоящее, сокровенное. А все исчезло, развалилось. Может, и это боялась узнать: ничто не вечно на земле, дружба, любовь, все истлевает, как эта листва.

Они стали чужими, и вот уже паузы, когда не о чем говорить, и все, осознавая это, старательно выдавливают из себя темы для разговора, копаются в прошлом, сдерживаясь, чтобы не чихнуть от пыли. Ведь на прошлое у них аллергия, никому не нужно это прошлое. Никому. Необходимость свела их, а не духовное единство. Жизнь сталкивает, играет, глядит, что получится. Социальная химия, молекулярная социология. И те, кто делился друг с другом последним куском хлеба, потом не смотрят друг друга в глаза.

Сначала ты сокрушаешься, не в силах поверить, а затем делаешь единственно возможное: принимаешь свободу другого быть отдельно. Не желать. Не помнить. Молчать и уходить.

Остановилась и протянула руку: холодна ли в ручье вода? Холодна.

Они были провинциалами, еще не растратившими уютное тепло своей провинциальной жизни. Они привезли в Москву воспоминания о маленьких улочках и бабушкиных перинах с кружевными подушками, о палисадниках под окнами стареньких домов, об утрах с мамиными блинчиками и солнечной полосой на кухонном полу — можно было стоять на ней босиком, словно в теплом море. И где-то краем уха они еще слышали — казалось совсем рядом, несмотря на годы, и строгое «Домой» из форточки, и чертыханье Павлика из второго подъезда, опять пропустившего гол, и надоедливые гаммы, что разыгрывала Светка этажом выше. Соседские бабушки — еще живые и веселые — угощали пирогами или ягодой с дачи, присматривали за каждым, по-своему ругали за проделки. По выходным с утра какой-нибудь дядя Коля выносил цветастый ковер, вешал его на турник и методично принимался выхлопывать. И эти пульсирующие удары в пустом дворе вдруг оказывались символом биения простой человеческой жизни, со всеми ее мелочами и заботами. Кто-то настойчиво утверждал: мы живы, и жизнь идет. Где ты сейчас, дядя Коля?..

Они еще ездили в метро со светлыми, вдохновленными лицами, радовались большому городу, с нездешней наивностью и открытыми сердцами тянулись к другим людям, Бездомные, они тем ярче ощущали в себе чувство дома и готовы были поделиться им с другими.

Миша был из хорошей московской семьи, получил образование в Плешке, работал финансовым директором в серьезной компании. Утром он уходил в офис, в шикарную сиреневую или оливковую рубашку модного бренда, отглаженном костюме за пятьсот долларов, в галстук за двести, благоухая дорогим запоминающимся парфюмом. Глядя на него, нельзя было и заподозрить, что у него внутри этот странный лед, когда невозможно выносить холод города, и ему нужно где-то погреться, чтобы не замерзнуть совсем. Уже потом Аглая поняла, что у многих таких — излучающих благополучие — внутри лед, губящий их самих и людей вокруг.

Вечером Миша возвращался, похожий на загулявшего (если такое вообще возможно) Санта-Клауса: в огромных пакетах звенели бутылки. Между ними болталась закуска — из овощей следовало сделать салат, мясо кинуть на сковородку, рыбу и колбасу порезать.

— Почему они могут быть святыми, а ты — нет? Рождаются они, что ли, такими? Вот батюшка пашет день и ночь, денег никогда нет, а если и есть — то одному жертвует, то другому, то лекарства нужны, то храм восстанавливать. А у самого семейств. Но все равно — себе ничего не возьмет, все — Богу. И откуда это в нем, а в тебе нет? Заглянешь — ну нету, черт тебя подери. И хоть извернись, не найдешь. Лучше тогда и не искать. Жить, как живется.

Он говорил: «Господи, помилуй!» — и, едва не перекрестившись, с наслаждением пил большими глотками пенящееся пиво, закусывал эскалопом — только что с огня, снаружи корочка, изнутри брызжет сок, хрустел маринованным чесноком, подливал в бокалы, следя, чтобы у остальных не было пусто. Пьянел, начинал читать стихи, философствовать о жизни. Да, он выглядел именно как Санта-Клаус в состоянии экзистенциального кризиса.

Утром звенел будильник, а Миша все не вставал. Уже начинал разрываться телефон, и после энного количества сброшенных звонков он вдруг совершенно трезвым, уверенным голосом говорил кому-то на том конце: «Да, немного опаздываю. В пробке я. Скоро буду. Ну, перенесите встречу, ничего страшного». Наскоро принимал душ, преображался в директора и уезжал.

Никто особо не знал, чем Миша занимался на своей работе, но вечером он неизменно возвращался с гремящим пакетом. Каждый день должен был заканчиваться праздником, локальным новым годом. Санта-Клаус день за днем разгонял экзистенциальную тоску, и было непонятно, когда же он наконец ее разгонит. Было подозрение, что никогда.

Они оказались в этой трехкомнатной квартире на Первомайке как будто случайно. Ее снял Егор в надежде найти компаньонов: одному тянуть было слишком дорого. Он и сначала искал однушку или на худой конец двушку, но ничего подходящего не находилось. Как вдруг позвонил знакомый: у его подруги умерла тетя, наследница готова была сдать квартиру, если духовник даст благословение — сорока дней еще не прошло. Недалеко от метро, и цена хорошая, только нужно там все прибрать.

Они выносили вещи — свидетелей целой жизни, эпохи, и она была советской — с часами «Энергия» и характерными статуэтками: пластиковой ракетой, устремленной в космос, фарфоровым олимпийским мишкой, металлическим Чапаем, сувенирами из поездок и конференций — «Свердловску 250», синий силуэт Ленинграда и красный — Авроры, с мощным потускневшим хрусталем в серванте, с ценниками, символами стабильности — повернешь какую-нибудь штуку, а там — «руб.» и «коп.», с полированными книжными полками, на которых в ряд — знакомые собрания сочинений, с репродукциями Серова и Репина на стенах, с кухонными шкапами, заполненными под завязку мылом, спичками, солью, крупой, мукой — хозяйка квартиры все знала о своей родине и ко всему была готова. Они выносили лекарства, соленья с неизвестным сроком годности, чистое, но старое постельное белье, и когда возвращались на помойку в следующий раз — уже ничего не было. Кто-то расхищал останки быта и бытия, и они растворялись без следа в сумерках. Но ничего поделать было нельзя — следовало освободить место для новой жизни. Неизвестная Александра Семеновна

с каждым унесенным пакетом, полным мелочей, банок, свертков, коробочек — всем тем, что покупала, любила и хранила долгие годы, исчезала навсегда.

Остался лишь фикус с большими кожистыми листьями, слоистый белый налет на ободке его глиняного горшка напоминал о меловом периоде мезозойской эры. Колкое древнее алоэ кренилось на подоконнике. Перед кроватью на табуретке среди склянок с лекарствами и пухлой ваты еще лежал скукожившийся его листок. Ни от чего он не помог. Его можно было выдерживать в темноте и холоде для усиления лечебных свойств, только все было зря.

Человек неизлечим с самого рождения. Конечен.

И после тебя просто выметут сор из избы...

Кириллу пришлось съехать с квартиры — жилье продавали, продавали и наконец продали. Тех, кто снимал, попросили на выход. Это была знакомая московская бесприютность. Ты никогда не знал, в какой день и час тебя выгонят на улицу даже самые адекватные хозяева. И по какой причине. А может быть, повысят цену и сделают ее неподъемной. Договоров не заключали, никто не хотел платить налоги с аренды. Если жилец ерепенился, всегда мог прийти участковый и начать выяснять, в чем дело и на каких основаниях вы, мой милый, находитесь здесь, в столице нашей Родины, без регистрации. Ах, не делают вам хозяева? Ах, какие нехорошие! А за это знаете, что полагается? Вам, вам, не им!

Это был город, враждебный чужакам и слабакам. Надо было выживать или уезжать.

Еще недавно в подвалах домов лежал гексоген, а москвичи вечерами организовывали собрания жильцов и патрулировали свои дворы. Утром можно было проснуться на развалинах. Если вообще проснуться. В городе царил истерия: «Блин, я вообще не понимаю, как ты решилась! У тебя с головой того! Точно! — Вероника везла ее с вокзала и нервно стряхивала пепел в открытое окно. — Какая диссертация! Ты не представляешь, что тут творится». Аглая не представляла. «Эти черно...опые нам устроили! Они! Понаехали! Их всех обратно надо, выселить к чертовой матери!» Аглая вспомнила, как на следующий день зашла в вагон метро, и рядом оказалась сумка — большая, темная дорожная сумка. Хозяина не было видно. Может, тот, в серой шапочке? Или тот, в черном капюшоне? Бородатый? Женщина в черном пальто? Аглая гипнотизировала вещь взглядом и думала: взорвется или не взорвется. От нее самой не осталось бы ничего. Может, только голова? «Ну, ты даешь? А выйти?» Конечно, она потом вышла, на следующей станции, со странным, колющим ощущением внутри.

Хорошо, что дома больше не взрывали.

Кирилл — далекая комета (друг друзей каких-то друзей Егора) по странной траектории залетел в эту маленькую галактику с сизым алоэ на подоконнике. Ситуация была плачевной — ни жилья, ни работы, ни денег (последние уплачены за съем квартиры, и владельцы их не вернули). У Кирилла было украинское гражданство, что несколько усложняло трудоустройство. Надо было как-то перекантоваться хотя бы неделю-другую. Егор дал добро. И денег на первое время. Но Кирилл потом так и не уехал. С работой не клеилось, значит, снять что-то другое не было возможности. Он то депрессовал, составляя компанию Мише, то ходил на какие-то собеседования. Отдавал последние деньги за липовую регистрацию, которую в итоге не делали. Ему было стыдно перед матерью — он обещал ей высылать переводы и послал только один раз — заняв деньги у Егора. А она исправно передавала посылочки с гостинцами: са-

ло, масло, домашняя колбаса, пирожки. Сынок должен был продержаться, устроиться. И в то же время ему — гуманитарию, выпускнику университета, аспиранту — было стыдно идти раздавать листовки, делать гамбургеры в «Макдональдсе». «Ты не понимаешь, пойдешь туда — и уже не выберешься, сидеть будешь в этой яме, ну до менеджера паршивого дослужишься, и что дальше? В Сан-Франциско тебя, что ли, переведут? Надо искать что-то приличное, с перспективой». И вечером они вместе с перспективным финансовым директором надирались, обсуждая аспекты несправедливого устройства мира.

На сентябрьских выходных мать Егора позвала их в деревню, копать картошку. Все переживала, как они там в городе. Как им получше устроиться, на чем сэкономить.

— Сколько наработаете, себе заберете. Будет картошка — с голоду не умрете.

Они все были городские и копать умаялись. Сначала подбадривали друг друга, смеялись. Потом уже было не до смеха. Забирать их в воскресенье приехал Миша, хмурым, невыспавшийся.

— Здравсьте всем! Ну, что? Кидайте мешки, да поедем! Дел сегодня по горло. — Он вытащил сигарету и осмотрел всех мутным взглядом. Потом поглядел на стол. Там стояли соленые грибы, малосольные огурчики, лежало сало. На плите в большой чугунной сковороде жарилась картошка с грибами. Миша повел носом, взял с тарелки огурец.

— Это малосольные, что ли? С чесночком! — Довольно захрустел. — А я смотрю, неплохо вы тут обжились. Что, может, пообедаем? А поедем потом?

— Конечно, Миша, надо пообедать. Картошечка скоро будет готова. Присаживайся. Но он не стал садиться, буркнул «сейчас» и ушел на улицу.

Вернулся с бутылкой.

— Миша, может, не стоит?

— Ну, вечером поедем, Глаш. Не переживай. За хозяйку надо выпить и вообще. Вот урожай собрали, как не отметить? Все будет хорошо, — Он скинул пальто, засучил рукава свитера.

— Ну что, кто мне компанию составит? Что смурные-то все такие? — он ливанул водку в первую попавшуюся кружку. — Ну вас в баню! Вера Александровна, мое почтение! Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты. Хотя, конечно, пока никуда не уезжаем, а закусываем, — он снова захрустел огурцом, подцепил на вилку сало. — Нет, вот деревня — это хорошо! Деревня — это святая Русь. А что город? Суета сует. Грехи наши тяжкие.

Вернулся Кирилл, молча подставил стакан. Накатили уже вдвоем.

— Ребята, вы там не налегайте все-таки.

— А мы завтра поедем! Засветло встанем и рванем.

Миша уже раздобрел и откалывал шутки, и все расслабились, и усталость прежних дней, когда возились на сотках, ушла. Они тогда тепло посидели, одной семьей, горела лампа, пели песни — и почему-то это было «Браво», от «Бросайте, девочки, домашних мальчиков», «Если бы на Марсе были города» до «Васи, кто его не знает».

Уезжали ранним утром. Мешки погрузили во внедорожник, уселись сами, готовясь к укачивающей дреме. Миша, выливший на себя ведро ледяной воды из колодца, был мрачен, но бодр. Над полем стелился туман, Мать Егора провожала их, стоя у калитки, в рабочей куртке, сапогах, из-под темной косынки виднелась прядь рыжих волос. Махала вслед. Все они были ее детьми, которых надо накормить и обогреть. Счастливой дороги вам, девочки и мальчики.

Миша тогда пообещал ей перевезти картошку и яблоки в Рязань, но быстро забыл об этом.

А Егор однажды вернулся домой не один — с девушкой.

— Это Беата. Художник, дизайнер. Из Даугавпилса.

Она была не из Даугавпилса — она была с другой планеты. Светлые, почти белые, короткие волосы, большие синие глаза, никакой косметики — этому идеальному лицу с правильными, тонкими чертами она была не нужна. Говорила с едва заметным акцентом, и это тоже был признак нездешности. Она рассказывала абсолютно сумасшедшие истории — как они с друзьями разрисовывали стены граффити с советской символикой: «И еще надпись такую придумали, с определенного расстояния там можно было прочитать „Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить“. А выглядело все как орнамент». Но их стали разыскивать, и пришлось росписи прекратить. А на одной из выставок чуть не затопили музей: «Я все думала, как воплотить идею свободы. Через движение? Ветер? Или преграду — камень? А потом появилась идея с водой. Но Витя не туда шланг прикрутил... В общем, пришлось возмещать ущерб». «Была еще как-то акция против глобализации. Самое смешное, купили помидоры, а они плотные такие, как мячики, и не разбиваются — все по европейским стандартам».

И они все смотрели на нее и не могли поверить, что она — вот такая классная, взявшаяся из ниоткуда, с вернисажами, акциями, премиями — сидит у них на старей, ободранной кухне.

Потом они переглянулись с Егором, он сказал: «Мы, наверное, пойдем», и ушли под первый снегопад. Уже на следующий день он привез ее вещи, а на полочке в ванной появилась новая зубная щетка. Теперь их маленькая коммуна, кажется, была укомплектована безумцами всех мастей.

Сбившаяся в кучку гуманитарная интеллигенция, не знающая, как выгодно продать себя на рынке труда. Гадкие утята, вылупившиеся из скорлупы университетов и ожидающие превращения в прекрасных лебедей. Дети страны, которая останется только на картах, в свидетельствах о рождении и воспоминаниях.

— Дерьмо, дерьмо был этот ваш СССР. И правильно, что развалился. Ненавижу.

— Сам ты дерьмо.

— А это нормально, что теперь в каждую республику нужны визы? И это в то время как Европа объединяется.

— Мой отец вообще не гражданин. Это какое-то средневековье. В центре Европы в двадцать первом веке человек, который там прожил всю жизнь, — не гражданин. Мерзко!

— Зато можно ездить теперь куда угодно!

— Только не у всех деньги есть для этого. А восемьдесят шесть процентов населения не имеют загранпаспортов, например.

— Какая интересная цифра, где-то я ее уже слышал.

— Не забудь про колбасу.

— Колбасу? А про репрессии не хочешь?

— Да что вы все можете знать о том времени, вы же были несмышленными детьми!

То время было словно вата — такая, как мягкая борода у деда-мороза, висевшего на елке, или бабушкиного одеяла, разделенного строчкой на пухлые квадраты, или ватки с коричневой точкой во врачебном кабинете.

— Девочка, прижми и держи.

А сколько ее держать? И убрать страшно — вдруг там не крохотная дырочка, а огромная дыра, откуда фонтаном кровь? Ходит и боится заглянуть. Потом ватку убрали.

Ее детство — это синие ледяные утра. Протяни руку — колготки с батареи, заблаговременно повешенные туда матерью с вечера. Единственное тепло, когда выбираешь-

ся из-под одеяла после трезвонящего будильника. Новый день всегда рождается из яйца — на сковородке или в бурлящей воде алюминиевой кастрюльки. Мать подгоняет: давай, давай. Сквозь сугробы на санках в садик, сквозь темно-синюю тьму и страх, что мать отпустит веревку и она, Аглая, останется одна среди холода и льда — она слышала в садике, так забыли кого-то. И неизвестно, было ли это правдой, или дети пугали друг друга. Как пугали гномиками под кроватью, черными человечками, страшными звонками.

- Маам, где мой галстук? Галстук! Ну, же!
- Без понятия, вечно ты все разбрасываешь!
- Я не могу так пойти на уроки!

И она не идет, сидит на качелях во дворе, почти не раскачиваясь, иначе скрип на всю округу. А галстук потом находят вечером под письменным столом, скользнул незаметно.

Повезет ли она сама когда-нибудь маленького человечка сквозь сугробы по синей тьме? Так страшно не вывезти...

- Тихонова! Двадцать отжиманий. Готова?
- Готова.
- Что ты блеешь? Ты же пионерка! Уверенней. Поехали. Ковалев, считай! Тело предательски обессиливает.
- Ну, ну, Тихонова! Ну! Как ты рожать-то будешь? Фролова, следующая! Как ты будешь, Тихонова? Как ты вообще будешь?

Что осталось от родины? Приметы быта — да и они уже на антресолях памяти, там же, где детская мифология и пресловутые советские типажи. Но все это было у каждого. И по кускам матрицы, по паролям и тайным знакам они еще могли узнавать друг друга — детей Советского Союза, живших в разных его частях. Цемент большой страны был крепок. Мама мыла раму, Ленин жил, жив и будет жить, газировка за три копейки с сиропом, ускорение, гласность, перестройка, ваш класс собрал больше всего макулатуры и награждается почетной грамотой.

Мальчики взрывают стружку из магния, девочки прыгают в резиночки. Это потом уже скажут: советское детство — несчастненькие. А что у этих — счастливое?

Матери вкалывают на айфоны, боятся выглядеть бедными. Дети рождаются в брендовых ползунках и дальше так и ползут по жизни, не изменяя марке. Из крутой коляски в крутой автомобиль. А у кого-то — ничего. И все привыкли к несправедливости.

Потому что завидовать некрасиво! Нужно просто больше работать. Не можешь работать дома — уезжай. Не можешь работать учителем или врачом — иди в бизнес. Будь энергичней, в конце концов.

И Аглая не знает, чем пойдут торговать философы, которых она учит.

Трубил горнист, вились красные флаги, читались речевки. Кому вы все это обещали: готов? Всегда готов!

Она вглядывалась в маленькую девочку с поднятой рукой (прямая ладонь, Тихонова, прямая). Нет, она-то уж точно никому ничего не обещала.

— Да они, б..., изнасиловали все, во что мы верили, что было для нас святым. И я не о дедушке Ленине или партии. Они человека в грязь втоптали, лишили человеческого достоинства. Я помню эти чертовы девяностые, серые и убогие, без денег и без на-

дежды. Когда люди убивались, вешались, кололись, их убивали. За бизнес, квартиру, пенсию, газетную статью, дозу. И я никому это время не прощу. Мы не мусор. Пятнадцать миллионов погибших — не мусор.

— Егор, все это так. Но любые перемены не обходятся без жертв. Так было в революцию, в Гражданскую, в девяностые. Все меняется, ход истории не остановить. Эти люди просто не приспособились! И сейчас наша задача — не о прошлом слезы лить, а встроиться в новый экономический уклад. Согласен, он другой. И он лучше.

— Не, Кир, подожди. Что значит встроиться? Если тебя затащили в бордель, надо что, б... статью? Или все-таки бороться?

— Слушай, ну что ты такой упоротый! Ну не вернется твой Союз, надо жить с тем, что есть.

— Не вернется. Потому что мы все, мы предали свою Родину. Только кто предал один раз — предаст и второй. И если в России начнется то же самое, что в СССР — мол, каждой области — суверенитет, или давайте отдадим Сибирь и Дальний Восток китайцам, так лучше, центр не тянет, то сначала все повозмущаются, а потом? Потом будет так же — смирятся. Была некая Россия — стала Московия.

— Ты ставишь слишком глобальные вопросы. А надо ставить насущные. Делать бизнес, зарабатывать деньги. Деньги, понимаешь? Есть деньги — есть все. Свобода, авторитет, возможности. Все в твоих руках.

— Я не продаюсь.

— Может, потому что продавать нечего?

В комнате повисла тишина.

— Ребята, вы что, не надо так...

Но Егор уже вышел, хлопнув дверью.

Нет, про себя Аглая точно знала, что ничего она не заработает, и уже не переживала по этому поводу. Она была человеком науки, типичным ботаником. Хотя Ильичев, коллега по кафедре, объяснял ей что-то про новомодные гранты, в том числе зарубежные, и надо было бы собрать бумаги, куда-то их подать, получить средства, поехать, исследовать, писать — и в науке имелись возможности подсутиться. Только она была человеком другого склада. Лузером, следуя классификации Кирилла? Может быть.

Ссоры тогда еще забывались, и жизнь их совместная, простая и незамысловатая, катилась дальше.

Вспомнилось Рождество, когда в безлюдном парке снежинки вверх летели, а они все пели, пели, пели. Нет, это было не на Рождество, а в какой-то из дней после Нового года. Когда были уже съедены все салаты, допиты водка и вино, под свет свечей высказана вся печаль. Шумной гурьбой ушли в Измайловский парк, валялись в снегу, играли в снежки, делали снежных ангелов. Под фонарями искристо клубилась пыльца. И она правда улетала в вышину, к звездам, под песни юности, «видели ночь, гуляли всю ночь, до утра», и слушали их только деревья (и, может быть, кто-то там наверху).

Что загадать, когда все так близко? Вселенская тишина начала года, когда еще ничего не свершилось, не развернулись из тайного свитка события, когда небо склонилось к твоему лицу, как будто хочет услышать главное?

В памяти возник тот зимний день, когда она шла по Арбату, опять дела, но не хотелось торопиться и вливаться в поток бегущих. Шагала неспешно, подставляя лицо солнцу. И вдруг почувствовала, как внутри качнулся маятник. Она могла бы позволить, могла. Любить Егора такой любовью, о которой мечтала, большой, настоящей.

Только... Аглая скользнула взглядом по витрине, увидела свое отражение, услышала женские голоса, как будто бы прямо надо ухом. Только никто не будет счастлив — такая судьба. Она уняла движение, маятник замер. Навсегда остался только след нежности от этой несбывшейся любви.

С Наташей они познакомились в обезьяннике — Аглая возвращалась вечером из библиотеки, и ее замели дежурившие в метро менты. Срок купленной регистрации закончился, и зря она показывала читательский билет, пытаясь что-то доказать. «Нарушаете, пройдемте». В клетке уже сидел кавказец средних лет, а по другую сторону, напротив — белокурая худенькая девушка. «Ну что же мне с вами делать», — молодой милиционер кровожадно оглядывал свой новенький зверинец. «Отпустите нас, пожалуйста!» — у девушки был красивый хрустальный голос. Она заискивающе улыбнулась. «Ну как отпустить — нарушили же, без регистрации ходите, непонятно, чем занимаетесь. Знаете, что в городе творится?» Они попеременно, переминаясь с ноги на ногу, просили их отпустить. «Не положено». Потом сержант открыл книгу и поднял глаза: «А вот если кто мне скажет, что такое узуфрукт, тогда всех отпущу. Всех. У меня экзаме́н в пятницу по истории права, — он продемонстрировал толстый кирпич, — считайте, что это подсказка». Наперебой они предлагали свои версии, но их тюремщик только посмеивался. «Сидите, тупицы». «Начальник, начальник, подожди, дело есть», — вдруг оживился незаметно дремавший в углу еще один кавказец. «Ну?» — «Подойди, не при всех». Они пошептались. «Понял, не вопрос». Их выпустили через пятнадцать минут, в ночную пустынную тьму. Метро уже не работало. Кавказцы быстро куда-то убежали, а они вдвоем с хрупкой блондинкой остались посреди ночного города. «Вы, это, идите, что ли, куда — домой или к знакомым, а то опять посадят вас или изнасилуют», — дал на прощание совет напарник сержанта. И они темными переулками пошли к знакомым Наташи. Там, у заспанных хозяев, им дали коньяка и одно на двоих одеяло, чтобы укрыться на старом кухонном диване.

— Я сама из Ставрополя. Наташа меня зовут. Я певицей работаю. Не подумай ничего такого. Только певицей. Я истфак окончила и консерваторию, там, у себя. Приехала сюда зарабатывать, с земляком. Со Славиком. Он на клавишных, я вокал. Поем в ресторанах. Хотела карьеру делать, но не получается. Пока рестораны. А ты? Ты к нам приходи, на выступления. Послушаешь, как я пою, приходи!

Потом они перезванивались, и Аглая приходила слушать Наташу и Славика в ресторан Дома на набережной. Официанты гремели тарелками, Наташа в переливающимся вечернем платье пела шансон, разомлевшие от алкоголя пары, крепко прижавшись друг к другу, танцевали. Крепыш Славик вдохновенно наяривал на клавишных.

В следующий раз она никуда уже не собиралась ехать, но Наташа была настойчива: «Тебе надо развеяться!»

Тащились куда-то в Кунцево. Наташа была весела, рассказывала смешные истории.

— Знаешь, только хочу тебе предупредить, — сказала она вдруг серьезно, когда они уже вышли из автобуса на пустой остановке и затерялись среди одинаковых многоэтажек, — это кафе для блатных.

— Ты уверена, что мне стоит туда идти? — Аглая оглянулась. Не было видно ни людей, ни машин, спальный район поздним вечером. Она даже не поняла, с какой стороны они пришли. Вернуться обратно? Одной блуждать по незнакомой местности? С топографией у нее всегда было туго.

— Ну, а что такого? Они нормальные люди. Если что — Славик нас в обиду не даст. И домой он нас потом на своей «шестерке» подбросит.

— Ладно, пошли.

Нормальные люди гуляли. За большим столом собралось человек пятнадцать, пили, галдели, требовали музыки. Сновали туда-сюда официантки — крепко сбитые, густо покрашенные, в коротких юбках и белых передничках.

— Садись здесь, это столик для obsługi. — Маленький стол на два места в уголке. «Да, действительно, может, отсижусь, и все закончится благополучно».

Наташа, в черном коротком платье, золотистые кудри, на шее — сверкающее кольцо, затынула нежным голосом: «Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери...» Жующие головы тотчас повернулись к ней, одобрительно закивали, кто-то хлопал, и даже крикнули «браво».

Наташа пела, Слава долбил по клавишам. Но стоило успокоиться, как тут же к Аглае подсел мужчина — невысокий, на вид шуплый, в бежевом свитерке, зеленые усы, реденькие волосики, нос перебит, карие глаза навывкате, на руках татуировки, на правой — золотая массивная печатка.

— Добрый вечер! Петр, владелец кафе. А вы?

— Аглая, подруга певицы, — она кивнула в Наташину сторону. Та напевала «Подмосковные вечера».

— Ишь ты, какое имя редкое. Но красивое. Мне нравится. Подруга певицы, значит? Что будем заказывать? Ты не смущайся, я угощаю. Осетринка сегодня вкусная, рекомендую. А вино? Белое? Красное? Или, может быть, шампанского?

— Лучше красное. Сухое.

Он продиктовал заказ официантке. Та спешно удалилась.

— Ну, как тебе здесь? Ничего?

— Приятное место.

— Что здесь приятного? Публика та еще. — Он махнул рукой. — Каждый вечер одно и то же. Тоска. Тебя, кстати, не напрягает, что бывшие зэки тут?

— Не напрягает. Наташа сказала, хорошие люди.

— Наташа сказала... — он усмехнулся. — Конечно, хорошие. У нас ведь полстраны сидело. Вот мне сорок пять, из них я двадцать лет на зоне. И что? Ничего. Все сидели. «Записки из Мертвого дома» читала? А ты вообще кто по профессии?

— Преподаватель. Философии.

— О! Философ! Слушай, вот ты мне скажи, что у вас по поводу существования Бога говорят? Есть он, нет?

— Все по-разному.

— Ну, мы всех трогать не будем, а сама-то что ты думаешь?

— Есть.

— А я, знаешь, в монастырь собираюсь. Хочу на покой уйти, с грехами разобраться. Да и вообще... Устал. Проблем столько. То одно, то другое. Сына вот от армии надо отмазать, а потом можно и уходить.

Наташа в пятый раз пела «А белый лебедь на пруду», молодой человек в дорогом костюме, подвыпивший, каждый раз расплачивался тысячной купюрой.

— Душу, говорят, надо спасать. А то там, — он указал наверх, — все может не очень хорошо сложиться. Он подлил ей вина и стал рассказывать, что сын, убегая от представителей военкомата, выпрыгнул в окно, сломал ногу, теперь в больнице. На какое-то время вопрос решен, а вот что потом делать, когда нога заживет? Он опрокинул несколько стопок водки и быстро захмелел.

— Бог, Бог. А что твой Бог? Вот захочу — и не отпущу тебя и твоих друзей, захочу — здесь останетесь. И кто сильнее? — Петр смотрел зло, с усмешкой, от прежнего добродушия не осталось и следа. Ощерился, словно волк. За соседним столом шумели его ребята, набрались, готовы на подвиги. Только скажи. Спасибо тебе, Наташа, за концерт.

— Не отпустить можно. Почему бы не отпустить? Но ведь сила не в том, чтобы способствовать злу, греху, а чтобы его преодолеть. Силен тот, кто совладевает с искушением, с желанием совершить плохой поступок. Сила в том, чтобы победить грех.

— Значит, вот так? — Волчий огонь в его глазах погас. — Победить грех. Это ты хорошо сказала.

Наташа и Слава уже собрались, махали Аглае из холла.

— Петр, мне пора.

— Давай я провожу, — он помог надеть пальто, довел до дверей.

— Ты это, еще в гости приезжай. Поговорим. Счастливо!

— До свидания! — и он ушел в свой кабак, полный сизого табачного дыма, любителей шансона и пропащих душ.

Вышли на воздух. Аглая выдохнула. Не хотелось думать, что могло бы случиться, ошибись она, скажи не то. Наташа улыбалась:

— Столько заработали! Ты прям удачу приносишь.

— Ага. — Аглая смотрела на ее синие глаза, красивые пухлые губы. Ничего не сказала, сдержалась.

— Видишь, я же говорила, они нормальные.

— Нормальные-нормальные. Давайте уже двигать домой.

— Ну и зачем ты туда поехала? — Егор смотрел мрачно и вовсе не смеялся после рассказанной истории.

«Сказать тебе зачем? Живет себе человек, и не знает, что делать сам с собою, и хочет идти куда глаза глядят, чтобы найти нечто, что, может быть, сделает его счастливым. Но что ты можешь знать об этом? У тебя есть Беата».

Такую любовь она видела только в кино: им, двоим, достаточно было взгляда, чтобы договориться. Они уходили на целый день и шлялись по городу, а возвращались, смеясь и подкалывая друг друга. Они не ссорились и не кричали. Кормили друг друга с ложечки. Вместе рисовали, листали какие-то альбомы. Музыку слушали в одних наушниках. Беспреданно целовались. Эта лодка не могла разбиться о быт. Она плыла в вечность. Тогда как сама Аглая плыла в очередной тупик.

— И?

— Просто развеяться.

Тут же встрял Миша:

— Я, Глань, между прочим, тоже не одобряю. Я бы даже строже выразился, если бы не присутствующие джентльмены.

— Буду хорошей, раз вы так настаиваете.

Общение с Наташей и правда скоро сошло на нет, и больше они никогда не встречались.

— Я помню. Помню, сюда положила. — Кати перетряхивала сумку в сотый раз. Кошелька в ней не было. И все уже было понятно. — Нет, паспорт здесь, слава богу.

Кати работала методистом в частном институте, в котором до этого стажировалась. Институт был хитроумным заведением по зарабатыванию денег для ректора и К°. Все как положено: гранты из-за границы, получаемые на издание книг и бесплатное их распространение. Естественно, книги потом продавались. В сам институт набирали стипендиатов из разных городов и стран, при этом получали на каждого студента по пять тысяч долларов сразу из нескольких зарубежных фондов. Студентам доставались из этих стипендий крохи, да еще они были обязаны работать на институт. «Мы же вас из таких дыр вытащили, вы должны быть нам благодарны!» — говорила подруга ректора, виднейший специалист по иконописи, не смущаясь вскрывшихся обстоятельств.

«Да, я все знаю, — говорила Кати, — да, они не очень хорошие люди, но мне нужна работа, а они платят, помогают с визой, дают деньги на жилье».

Как-то раз Кати позвала Аглаю с собой за передачей от родственников. Привезли ее друзья из Тбилиси во главе с неким Томазом. Остановились они в гостинице «Измайловская», в корпусе «Бэга», — так было сказано по телефону. Проблемой оказалось то, что в наличии имелись только «Альфа», «Бэта» и «Вега». «Что же они имели в виду?» — ломала голову Кати, пока в темноте — а был уже вечер, они перебежали от одного корпуса к другому. Из стоявшей неподалеку машины их окликнули: «Вы по вызову, что ли? Заплутали, девочки?» Тут они переглянулись и припустили что есть сил к «Веге», где, к счастью, нашелся Томаз. Обрато везли банки с вареньем из черешни, грецких орехов, инжира, хурму, чурчхелу, вино. После встречи с друзьями только что смеявшаяся и сияющая Кати погрустнела: «Ты знаешь, я очень хочу домой».

Домой. Ключевое слово. Только где этот дом?

— Мне одобрили стажировку в Англии, — Беата протянула Аглае распечатанный e-mail. — Институт дизайна. Я подавала документы еще до встречи с Егором. Была уверена, что мне нужно уехать, что буду учиться там. А сейчас... — она уперлась руками в подоконник и внимательно вглядывалась в происходящее за окном, хотя там были всего лишь высокий корявый тополь и кусок двора. — Все катится куда-то к чертям. Но если я останусь, что дальше? Мои родители живут на жалкие гроши, у отца нет даже гражданства, хотя он на Латвию всю жизнь отпахал. Мать — инвалид. Платежи за коммуналку дикие, лекарства дорогие. Как я могу думать о себе? Я не имею права! Это хорошая стипендия, с перспективой, понимаешь? А здесь я никто и буду никто. Меня уже и так затрахали с этой визой. А вид на жительство — не представляешь, сколько бумажек и унижений. Родине мы — русские — не нужны.

— А там нужны?

— Там все чужаки. Ты равный среди равных. Ты можешь вступить в битву и выиграть. И я должна всех переиграть — эту чертову бедность, англичан, латышей, я должна выгрызть победу. Зубами, если надо будет.

Хрупкая, красивая, ледяная. По щекам текут слезы.

— И я смогу.

Она забрала письмо и ушла, не взглянув на Аглаю.

— Мои хорошие, дорогие, я вас очень и очень люблю. Вы простите меня, если что не так. Живите дружно, еще увидимся. — Она расцеловала и обняла всех. — Я приеду, и вы приезжайте, если получится.

Егор взял чемодан, и они ушли.

В опустевшей квартире капала вода из сломанного крана. Вернулись на кухню, Мишка задумчиво почесал бороду:

— Да, отожгли наши друзья из солнечной Юрмалы...

— Я бы не уехала. Если бы у меня была любовь, то нет. Никогда. — Кати задумчиво глядела в окно. Легкие снежинки поднимались вверх.

— Там лучше. А что здесь? — Кирилл обвел взглядом убогие, давно не крашенные стены старой кухни, с желтой раковиной, темной вентиляционной решеткой, дверью с треснувшим стеклом. — Здесь ничего не изменится. Тем более она не русская, зачем ей маяться. А Европа остается Европой. Латвия скоро вступит в Евросоюз, откроются совсем другие перспективы. Я бы тоже поехал.

— У каждого будет свой день и час, когда решать.

— Да что решать-то? Надо работать, продвигаться. Что дальше — съемные квартиры? Вот тебе уже тридцатник, и все по чужим углам. Видал таких. Не хочу. Надо

четко ставить цели. Карьера, квартира, машина. Я думаю, это нормальная цель — быть обеспеченным человеком. Больше никаких унижений. Не витать в облаках, а зарабатывать. Вот это я понимаю. А Егор сам виноват. Искусство никому не нужно сейчас. Значит, надо заниматься не искусством, а тем, что приносит деньги. Согласен, прагматично! Но работает! И не кончишь жизнь под забором, алкашом каким-нибудь бездомным. У нас был такой, сосед, дядя Витя, народный художник СССР, или как там — кисточки и то распродал все по пьяни, не то что картины. Хочешь быть, как дядя Витя — ну вперед, кто мешает?

Никто ему не ответил. Кати встала и начала хлопотать по поводу ужина, остальные разбрелись по своим углам.

Миша сидел с бокалом в руке, уставившись в одну точку. То ли завис, как компьютерная система, то ли думал о своем. Вдруг он встрепенулся:

— Хочешь, я тебе стихи читаю?

Аглая пожалала плечами. Миша встал и начал декламировать:

В узкой расщелине  
Плотно сжатого времени  
Бьется в истерике мое поколение  
Скошенное бурей  
Страстей и неверия  
Смердит, разлагаясь, «цветок» лицемерия

Жадные черви  
Гнусные правила  
С детства зазубрены до иступления  
Горькие зерна  
«Морали и нравственности»  
Мы разжевали с приправой стяжательства

Все исковеркано и переломано  
Отравлено, стерто и брошено с злобою  
«Молимся» долго мы и распятия  
С надеждой направили в выси глубокие  
Ищешь ответа? Стекла протри  
Приблизилось «царство вселенской любви»...

Он глубоко вздохнул и залпом выпил пиво:

— Ну, как тебе? Только честно?

— Ну, э-э-э... Сильно. Я бы даже сказала, актуально.

— Что-то не слышу оптимизма. Не искренне ты как-то это все говоришь. Я же от души, о наболевшем.

Он сел, повертел головой в поисках новой бутылки. Открыл, налил, отхлебнул.

— Мне уже почти тридцать. И что? Ни семьи, ни детей. Хотя говорит тут одна, что вроде бы от меня... Не знаю. Врет, наверное. Работа — дерьмо. Ну, бабло, ну, много. И что? Счастья нет. Нет счастья! И где, блин, его взять? Как ты думаешь, я хорошие стихи пишу? Только честно. Нет, можешь не говорить, сам знаю. И стихи-то дерьмо. Умру, и ничего не останется. Настоящего. Пустота... В монастырь, что ли, уйти? Покаяться? Нет, не смогу. Бо грешен и слаб. Как жить-то, Гланя? Ты ж философ, должна быть в курсе. Может, свалить? После кризиса, в девяносто восьмом, хотел, уже виза

на руках была, билеты. В последний момент поехал к одному старцу во Псков, ты можешь, слышала? Известный старец! Он тогда мало уже принимал. Но меня принял. И сказал мне остаться. Жаль только, больше ничего не посоветовал... Но я остался. И вот до сих пор не могу понять зачем. Хрен выпускаю. Маркетинг хреновый осуществляю. Пью. А счастья нет. Может, его вообще нет? Ты вот счастлива, Глянь?

— Я не знаю, Миша. Иногда бывает такое — предощущение счастья. Значит, оно есть, просто надо дожидаться.

— Нет, я такого не чувствую. Наоборот, запашок какой-то. А это душа твоя гниет, твоя собственная. И сделать ничего не можешь, сил не хватает. Может, того, пулю в лоб и покончить со всем?

— Не пори чушь.

— Ты не понимаешь. Еще веришь, что все будет по-другому. Не будет. Я уже пожил на этом свете и могу тебе ответственно заявить: ничего не изменится. Ни через десять лет, ни через двадцать. Только холод и пустота. Ладно, пойду покурю.

Егор, поначалу убитый отъездом Беаты, понемногу пришел в себя — они звонили друг другу по скайпу каждый день, писали письма. Казалось, все наладится, и вдвоем они что-нибудь придумают.

А Мишка, вернувшись в один из дней, как обычно, водрузил свой гремящий пакет на табурет и вдруг торжественно объявил:

— Я влюбился.

— И кто счастливая избранница?

— Наша соседка.

— По-моему, она старовата для Миши.

— Да не она, а ее дочь.

— Проблема только в том, что он не видел ее лица.

— Как это?

— Ну, понимаешь, мы зашли в лифт, потом ее мама и она. И было видно только спину.

— И то, что ниже спины.

— А-а-а!

— У нее прекрасная фигура! А волосы! Волосы до попы! Светлые. Шикарная блондинка!

— Но может, все-таки стоило посмотреть и на лицо. Может быть, она страшна, как смерть?

— Аглая, в тебе ни капли романтики, ну ни капли! С такой фигурой женщина не может быть уродиной. Это закон природы.

— Ну, хорошо. И что же теперь делать?

— Не знаю.

— Может, пойти познакомиться? Соседняя дверь все-таки.

— У нее такая строгая мама. Мне не хочется, чтобы она считала меня легкомысленным.

— Ну что же тогда? Сидеть страдать на кухне?

— Аглая, какая ты бессердечная! Нет бы пожалеть! Утешить! Ты знаешь, что такое любовь? Это как болезнь! Так же неприятно!

— А я думала, приятно.

— Нет, нет, это ужасное мучение!

Вошел Кирилл, которому была пересказана трагическая история любви.

— Даже не знаю, что и посоветовать.

— Да откуда тебе, блин, знать! — Миша держался за сердце и морщился от боли. — Цветы! Нужны цветы.

Так, всей гурьбой они отправились в супермаркет напротив. В маленьком отделе на входе, среди роз и хризантем, сидела молоденькая девушка.

— А вот вы могли бы доставить букет по адресу? Тут недалеко?

— Конечно, доставим. Только скажите кому, куда. Без проблем.

— А какие же выбрать? Двадцать роз, нет, двадцать пять. Мы же не на похороны. Розовые? Белые? Бордо?

Потом они смотрели в глазок, как курьер (им оказался парень цветочницы) вручает букет соседке. А затем, прислонив стакан к стене, пытались услышать, что говорят женщины. Но доносилось лишь неразборчивое «бу-бу-бу».

Следующий день был вновь ознаменован выбором цветов и их доставкой.

— Ну что они там? Неужели не удивлены?

— Нет, я так не могу. Я умру. Я должен с ней переговорить.

— Ну, постучись и переговори!

— А ты бы вот стала говорить с мужиком, который внезапно постучал в твою дверь и сказал, что любит тебя? То-то! Интересно, а можно узнать ее телефон? Я бы ей позвонил.

Два дня были потрачены на новый букет, воркование с Аделиной — оказалось, так звали продавщицу — и добывание телефонных баз у какого-то знакомого Кирилла.

Но когда тем вечером Аглая вернулась домой, то обнаружила Мишу в печали, с бокалом в руке. Со звонком явно получилось не то.

— Что на этот раз?

— Я разлюбил Катю.

— Как?!

— Я позвонил ей. И услышал голос. Что за голос! Ужасный, какой-то ватный, мяв-кающий. Как только она заговорила со мной, я понял — это конец. Я не могу даже приблизиться к женщине с таким голосом. Любовь прошла... Ты понимаешь, как это больно? Не знаю, как я это вынесу... Как я несчастен! Аглая, ну что ты стоишь! Пожалей же меня скорей! Как я любил ее, блин! Какие ноги! Какая фигура. И такой голос! Вот за что Бог награждает женщин таким голосом? Нет ответа на этот вопрос.

— Миша, мне очень жаль, что так получилось.

— Мне тоже. — Он помолчал, разглядывая, как золотятся в бокале с пивом пузырьки. Потом отхлебнул. — А вот что ты думаешь об Аделине? Аделина — какое имя! И как она улыбается. И пахнет цветами. Прекрасная цветочница. Я бы не прочь с ней замутить...

— Миша! Окстись! Ты еще не пережил потерю Кати.

— Но надо же мне как-то ее пережить. Аделина мне поможет.

— У нее есть ухажер, между прочим. И вообще пора завязывать с этими похождениями. Будь серьезней, в конце концов.

— Я серьезен, как никогда. Все, я люблю Аделину. Пойду подарю ей цветы. Да! — И он действительно ушел. И купил у нее букет для нее же. И сделал массу заманчивых предложений, которые никогда не были воплощены: Мишина любовь к Аделине закончилась уже через пару дней. А Катя? Что Катя? Наверное, она вспоминала потом эти странные звонки в дверь, розы от незнакомца, яркое мартовское солнце, пронизывающее комнату с цветами и усиливающее их благоухание. Кудахтающую матушку: да что такое творится и куда катится мир. Любовалась бархатистыми лепестками и верила, что мир катится в правильном направлении.

Веселый, звонкий трамвай спешил куда-то — она даже не задумывалась, куда именно. Аглая ни разу не прочитала надпись с маршрутом. Но звон его был бодр, обещал

хороший день, призывал бежать по делам. В кино, магазин, просто бежать... Так звенела Москва. Ежедневно, сверкая искрами, извлекая из городских сетей электричество. А может, не из сетей вовсе. Кто знает, чем питаются большие города.

Она ни разу не заходила и в магазин «Свет», который был на первом этаже их дома. А зачем, если запас лампочек так и лежал в шкафчике, заботливо купленный прежней хозяйкой. Его хватило бы еще лет на десять.

Солнце с утра заливало улицу потоком света. Старые дома, трамвай, гул города, юная майская листва — казалось, это кадр из фильма о беззаботном прошлом. Но потом взгляд ловил аляповатые пластиковые вывески, козырьки из сайдинга, новомодные машинки, супермаркет «Русь» с хохломой на красном фасаде — Миша обязательно заглянет туда вечером, купит люля-кебаб, хрустящий хлеб и пиво. И становилось ясно, что ты в самом реальном настоящем.

— Ну что, в кино?

— В кино. Мишка, чур, не храпеть на весь зал!

— Когда я храпел, ложь! — Он ушел покупать билеты.

Егор загадочно улыбался, потом все-таки сказал:

— У меня новая работа.

— Ух, ты! Поздравляю!

— В рекламе.

— Только... Ты ведь этого так не хотел?

— Пора стать реалистом. Жить сегодняшним днем. Ничего, прорвемся, — он махнул рукой.

— Уверен?

— На сто процентов. Я все равно их обыграю. — Он улыбнулся.

Они вышли из кинотеатра, еще оглушенные неестественно громкими звуками, удивились тишине и свежему, влажному воздуху. Через мгновение ручейками начали расходиться и другие зрители, перебрасываясь фразами о фильме, кто-то смеялся, стучали женские каблук, хлопали дверцы машин. Они переглянулись и молча, неспешно пошли домой. Пока смотрели кино, прошел дождь, асфальт блестел, отражая огни домов, фонари, звезды, и был похож на опрокинутую карту города. Можно было следовать ей, от одного блика и растекшегося светового пятна к следующему, и так до бесконечности... Продребезжал трамвай, мигнул зеленый. Они перешли на другую сторону улицы, словно на другой берег реки. Из парка, вымоченного дождем, шел терпкий лиственный дух, пахло сырой землей, с деревьев падали капли. Никто не проронил ни слова. Потом Мишка задрал голову к небу, вдохнул полной грудью, сгреб в охапку Аглаю, Егора и Кирилла, сказал:

— Хорошо-то как, ребята! Навсегда бы так...

Они постояли еще минуту все вместе, плечом к плечу, вдыхая лес, ночь, звезды, потом Мишка полез в карман за сигаретами:

— Вы идите, а я покурю.

На карте города зажегся еще один огонек, Аглая ушла в теплый дом.

Что будет потом? Аглая собирала чемодан, и эта мысль не шла у нее из головы. Сейчас надо ехать, но потом? Вошла Кати, словно читая ее мысли, заговорила о будущем:

— Знаешь, говорила с ректором. Он зовет меня работать на следующий год. Завучем. Обещает хорошую зарплату и все уладить с визой.

— Приедешь?

— Наверное, приеду. Ну, что дома — работы нет, а родным надо помогать. Хотя не знаю. Здесь одной тяжело, чужая страна все-таки. И со здоровьем проблемы. И климат

этот дурацкий. Весной-летом хоть солнце, а так... Знаешь, сколько солнца у нас в Грузии! Сколько солнца... Не верится, что послезавтра буду маму обнимать, сестру, а отец что скажет. А у брата такие детки, просто загляденье. Нико такой упрямый и шалун, а Нино — красивая, как принцесса. Ладно, не буду мешать, собирайся.

Вещи были собраны. Сидели за столом, ели золотистые хачапури, хлопотала Кати, но Аглае кусок в горло не шел.

— Я тебе в поезд заверну.

— Заверни.

Мишка то и дело ходил курить, потом хмуро бросил:

— Погнали.

Проводы не клеились, в горле стоял комок. Словно всем надо было что-то преодолеть. Невидимую горочку, подъем, после которого все начнет рассыпаться, но сейчас признаться в этом было невозможно.

Обнялись на прощание.

— Да ладно, не плачь ты, приедешь еще. Приедешь. Никуда мы не денемся.

— Конечно, приеду.

— Глаха, Глаха, как я буду скучать!

— Я тоже.

— Ничего, держись.

— Ну, ладно, пойду.

— Давай там!

— Счастливого пути.

Запах вагона. Аккуратные купе, занавесочки, коврики. Сейчас поеду. Так, двадцать восьмое, сюда. Семейная пара в возрасте. Здравствуйте, а вы куда? а мы...

— Вот, брат ваш передал, — заглянула миловидная проводница, протянула плитку шоколада.

— Какой брат?

— Тот, с бородой.

— Да, верно, брат. Спасибо.

Они стояли на перроне, переговаривались. Мишка курил, Кати махала и посылала воздушные поцелуйчики. Кирилл показывал, как надо писать письма: воображаемая ручка чертила на раскрытой ладони какие-то знаки. А Егор просто улыбался. Потом поезд тронулся — несмело, но она уловила это движение в неизвестность, этот разрыв. И вместо стука колес услышала треск рвущейся материи. Материи ее собственной жизни.

Порхающие бабочки ладоней стряхивали пыльцу расставания, обнадеживающие улыбки сияли вослед. Прощайте, ребята! Прощайте...

— А я тебе скажу — не будет ничего. Смотри, сколько нахапали, и разве они не удержат? Нет никакой движущей силы будущей революции. Пролетариат — где он? Интеллигенция? Офисные работники? Офисные могут — буржуазную. Чтобы с ними поделились. — Аглая оказалась наедине с двумя гостями Петра — праздновали его день рождения, на который пожаловало какое-то запредельное количество бородачей, будто мечтавших составить конкуренцию Марксу. Все уже разошлись, и только эти двое все пытались докопаться до истины, а может, так — выпустить пар. Петр убирал на кухне, Ася укладывала дочку. Аглая чувствовала неловкость, уже забыла их имена, хотя в начале вечера их представили друг другу. Взяла с полки первую попавшуюся книжку — это оказался Грамши — и уткнулась в нее.

— Да и один человек ничего не решает. Вот Егор — ну глупо ведь поступил, скажи. Зачем?

- А кто решает? Кремль решает? В Вашингтоне решают? Теневое правительство? Рептилоиды? Высший разум?
- История — многофакторный процесс. И роль личности в ней имеет значение.
- Думаешь, наше поколение проиграло?

Ее поколение было тем самым последним пионерским отрядом, который еще готовили к неземным и высоким свершениям, но который так и не полетел в космос. Они стали новыми менеджерами — в одном ряду историки и преподаватели русского, математики, экономисты, биологи, технари всех направлений. Натягивали на себя костюмы, шли в офисы и продавали-продавали-продавали. Ради светлого будущего — своего и своих детей, да и внуков. Ну а что делать, скажи, что было делать? За три копейки, что ли, пахать где-нибудь в школе? Инженером? Умная такая. Да ладно, что вспоминать. Пережили, зарубцевалось.

А кто-то думал, надо переждать. Ну не может это все быть по правде — проданные за гроши предприятия, фабрики, заводы, целые отрасли, когда-то построенные дедами и отцами. Гламурные девы в золоте и бриллиантах, их папики на «майбах». Чиновники, быстро срастившиеся и с криминалом, и с олигархами. И все в какой-то метастазной связке, одно без другого не вырежешь — да было бы кому вырезать? Там столько украли, здесь столько. Русские кварталы Лондона и виллы в Ницце. Подмосковные дворцы владельцев корпораций и чиновников. Роскошные коттеджи под каждым уважающим себя городом и городком, с плотными серыми заборами и решетками. И сначала что-то еще дергалось внутри: ну как же так? как можно? А потом стало восприниматься как само собой разумеющееся — и откаты, и безнаказанность, и наворованное — у своих же соотечественников — богатство. Морок и не думал заканчиваться. Стало ясно, что отныне здесь будет править власть денег. А главным будет человек, для которого все продается и покупается и цена в той или иной валюте — единственная мера всех вещей.

Детство и юность быстро заносило пыль от рухнувшего общего дома, и те, кто шли после, уже думали, что мир был устроен так вечно. Сами они заглядывали в прошлое, словно в секретники, вырытые среди пыли, и там по-прежнему — среди засушенных травинок, цветной фольги от конфет — светила морским стеклышком исчезнувшая родина. Надеялись они, что все вернется? Что нынешних «хозяев жизни» кто-то сильный и справедливый выметет метлой, а может, чем покрепче, и настанет новая, светлая жизнь? То самое прекрасное далёко? Что же ты нам ничего не сказала, Алиса? Ты же все знала!

Где-то еще хранил военную тайну мальчик из советской сказки и сквозь годы просил об одном: «Не сдавайтесь!»

- У всех своя правда.
- Это оправданий может быть много, а правда всегда одна.
- И это сказал фараон?

А может ли еще быть одна правда на всех? Рассыпался прежний метанарратив, и каждый ухватился за свою историйку. Истина уже не интересовала никого, истина требовала самопожертвования, крови, труда. Не хотелось. На ее место пришло мнение. Совокупность равноценных мнений. От профессиональных до абсурдных. За мнение уже не нужно было отвечать. Сегодня ты писал одно, завтра другое. Сегодня оскорб-

лял, завтра льстил. Плевать. Можно было развенчивать авторитеты и быть выше их. Можно было ошибаться и не извиняться за это.

Как жить — оформлено и упаковано. Девочкам — Прованс, миллионера, шубку, ламборджини. Мальчикам — длинноногую блондинку, бизнес, креселко в корпорации, джип. Супермаркет жизненных шансов и моделей. Нажми на кнопку — получишь результат, и твоя мечта осуществится. Жмут, жмут, а не осуществляется. Может, секрет какой-то есть?

— Народ-народ. Да народу и эта власть аморальная не близка, а уж оппозиционеры все эти либеральные тем более. Что ему остается — выживать. Медицина разваливается, с образованием неизвестно что, милиция коррумпирована, да и не только она. Цены растут. В школу детей собрала — подвиг! Знаешь, как сидят на родительском собрании матери и решают, по сколько скидываться — на нужды класса, на тетради какие-нибудь рабочие, на подарки учителям. Одни — барыни такие самолепные, любую сумму отдадут. А другие сидят, глаза в пол, и понимают, что если сейчас эту тысячу отдадут, то мяса уже не купят, что в старых сапогах будут опять ходить, но отдают — и не одну, а две, три, пять. Ну а как иначе? Сказать, что ты бедный? Что мало зарабатываешь? Лучше удавятся. Или когда в классе у всех модные раскладушки или даже смартфоны, а у твоего старенькая «Нокия». И копишь, копишь, откладываешь на новенький. Чтобы не хуже. Так страшно быть хуже. И вроде работаешь — не тунеядка, нет, как все — по восемь часов. Тогда почему? А кто-то новую яхту покупает — раскурочил твой завод, какой-то эффективный менеджер, мужики кто горе заливают, кто на вахты уехал, но городок твоей юности не узнать, безнадега, работы нет, денег нет, приплыли. Или районная больница облезлая, ржавая, без лекарств и толковых врачей, без оборудования. А там, у них — дворцы. Роскошь, золото. Нет, когда-нибудь там будут пионерлагеря! санатории! — пишет какой-нибудь мечтательный блогер. Ну, что ты врешь, ничего не вернешь. Все так и будет дальше. И надо просто выживать. Не до политики. Эти ладно, пусть воруют, пусть в своих дворцах, пусть спят в Думе на заседаниях, нам от них ни холодно, ни горячо, главное, чтоб дети сегодня поели, чтоб были теплые куртки, ботинки и купить этот чертов смартфон, наконец.

— Раньше, раньше. Если ты был бедным — ты не был дерьмом. А сейчас — да. Потому что общество денег и успеха. И требования у общества значительно выросли, согласись? «Волгой», джинсами и папой-дипломатом не обойдешься. Я бывал в таком захолустье, мама не горюй. Где матери кормят детей дешевыми чипсами. Потому что оказывается выгоднее, чем картошку покупать. Вот ты сидишь в столице, в этом Вавилоне, и можешь себе такое представить? Или северный городок, спивающийся лет с десяти. Где на дискотеке вместе — и матери лет под тридцать, и их четырнадцатилетние дочери, и все пьяные? И так каждые выходные. И это единственный их свет в окошке — эта дискотека. Или вот в деревне — Центральная Россия, два часа от Москвы — при советской власти была школа, библиотека, медпункт, магазин, ток, где зерно мололи, коровники и курятники, пасека была, а теперь ничего нет — даже магазина, где можно хлеб купить. От школы одни развалины, все зарастает, на всю деревню, где теперь только старики, — один фонарь. И то его не включают — экономят. И бабушки сидят впотьмах. И историй таких куча, и все как под копирку: все было, а потом пришли эффективные, скупили, разворовали и конец.

— А что же люди сдались-то? Что за безвольные овцы?

— Может, поняли, что проиграли. Фаталисты. Или не думали, что так все закончится по своей наивности. Верили в государство. Патернализм, е-мое. И до сих пор продолжают. Звонят на прямую линию: помоги, царь-батюшка, подсоби, бояр своих придержи да накажи, а в тебя мы верим, ты добрый и хороший, просто не в курсе. Но, может, он еще проснется, и — раз, революцию сверху. А может, новый Ленин придет с отрядом большевиков. И они все наворованное народу вернут, всех плохих накажут, коррупцию победят, бедность победят, бездомных расселят по домам, повернут вспять реформы здравоохранения и образования, построят кучу заводов, плотин, пароходов. Конечно, будут жертвы, кризис, сложности. Но большевики смогут все — уже раз ведь смогли. А обыватель будет смотреть на это все по телевизору, оставаясь белым, пушистым и незапятнанным. Ну, может, размещая анонимные посты в ЖЖ. Только сегодня никто не хочет быть ни Лениным, ни тем отрядом большевиков.

— Да что уж говорить. Разговоры по схемам. Общаешься с патриотами, они — вот деревня разрушена, вот заводы стоят, ветер гуляет в корпусах, проклятые капиталисты что сделали. И тут же — но Россия у нас великая, у нас все хорошо, не то что на Западе этом прогнившем. Монархисты все слушают хруст французской булки сквозь века. Либералы ждут, когда Рашка наконец укатится в унылое говно. А сталинисты — когда придет товарищ Сталин и наведет порядок. У всех свои иллюзии.

— И все из века в век. В восемнадцатом каком-нибудь либералы — что, не те были? Как будто определенная матрица в России воспроизводится. Только мне непонятны ее механизмы. Что заставляет ненавидеть свою родину и быть патриотом чужой? Почему не только неудачи и поражения, но и победы и подвиги страны вызывают какую-то животную — да есть ли подобная у зверей? инфернальную ненависть? А империю добра тут же готовы оправдывать и восхищаться — пусть хоть весь мир разбомбят. Да и Рашку, если бы разбомбили — не жалко. Пусть с твоими родными, друзьями, учителями, соседями. Некоторым в запале и себя не жалко — можно даже не эмигрировать. Так и надо, — говорит, — слюна летит, взгляд пылает. Что у них там в голове? Мне иногда так хочется заглянуть. Но там ведь лишь нейроны, синапсы, черт разберет. Что-то вспыхнуло, соединилось, мысль промелькнула, уста извергли. А как формируется эта линия раздела: свой — чужой? Вот этим жить, а этих можно на свалку? Это ведь очень страшная линия. Это сейчас на уровне разговоров, а наступит момент — когда речь пойдет о жизни.

— Да что наступит! Все это было уже. Травли, доносы, вся эта интеллигентская возня. Раньше было непонятно, как такое возможно? Вроде же все честные, пламенные. Сейчас уже понимаешь. Этот с трибуны про честность, высокие принципы, моральность, у самого штук пять жен, другая — свобода, духовность, а сама — на грантах от миллиардеров пишет свои высокохудожественные эссе. Культура — она же без денег не живет, а кто ее может питать — либо к государству надо присосаться, но при этом его же, государство, и попинывать — а как иначе? Художник должен быть свободным. Кормиться, но чтоб не подавиться. Либо обслуживать частный бизнес с большими деньгами. А если не хочешь — будешь прозябать. Сторожем каким-нибудь в Воронеже.

— И много ты напрозябал? Ведь хорошо устроился.

— Ну как тебе сказать? А может, лучше туда — в темную деревню. Был бы я там — фонарь горел.

— Мечтания интеллигентские. Совежливые, как всегда. Беги — спасай народ. А народ без тебя спасется. Если трогать не будешь особо.

— Что дальше? Великие победы, открытия, космос?

— Каждой великой победе предшествует великая война. А кто пойдет на нее и сложит свою голову? Вряд ли те, кто сидят на кухнях и строчат в ЖЖ,

— Но я не верю, что все закончится на этом.

Они замолчали, потом один из них кивнул на балкон:

— Покурю? — и они ушли, начиная новый виток разговора.

Притягательные золотые окна в домах напротив. Кажется — там тепло и уют, чай с пирогами пьют, а по телевизору смотрят канал «Культура». И чем выше ты мог подняться, тем больше бы увидел городских огней, сияющих окон квартир, где в каждой — люди, со своими надеждами и мечтами, бедами и заботами.

Вот доморощенные философы под свое понимание окружающей жизни подверстывают всю страну. Знают, кому что нужно.

А какая она — среднеарифметическая Россия? Вот так, взять, посчитать — вывести наконец верную формулу и успокоиться.

Сколько раз она виднелась из окна поезда — огромное, бесконечное — день сменялся ночью, ночь — днем, — пространство. Станции, дома путевых обходчиков и сторожей, с крохотным огоньком в ночи, маленькие уснувшие городки, покосившиеся деревушки с кривыми, щербатыми заборами, нарядные дачи с аккуратными квадратиками огородов и ребрами парников, с церквами на горизонте, с людьми, сидящими на перроне и провожающими поезд. Бабушки, бегущие к вагонам — копченая рыба, пирожки, яблоки, хрусталь, пуховые платки, — как, ничего не надо? А подешевле возьмешь? А если по пятьсот? Дорожные разговоры о том о сем, сначала с осторожностью: всяк человек может быть. Большие города, над которыми поезд по мосту, по насыпи, и машинки сразу словно игрушечные, и жители крохотные, как заводные куклы, куда-то спешащие. Или — поля, поля. И никого совсем. Но смотришь и знаешь, какие тут люди живут. Вот по этой кромке поля, по одинокой березе тебе известно все.

Чудо-юдо рыба кит, то плывет, то стоит, обрастая ракушками, превращаясь в остров, потом — раз, нырнет в глубины, вынырнет и волной смоев половину деревушек и расписных теремов.

Загадка ли жизнь или все предопределено? В окнах домов иногда были видны силуэты, и свет домашних ламп и люстр просвечивал судьбы насквозь. Все было известно. Мы останемся здесь. Что бы ни было. Нам некуда и — незачем — уезжать. Под синим небом и белым снегом спит уставшая Родина.

Красный-красный-красный, желтый-желтый-желтый, зеленый. Вот так и в жизни — ждешь, когда дадут зеленый свет. А даже желтого нет. На другой стороне после перехода к Аглае вдруг подходит мужчина:

— Женьщина, женьщина, я дико извиняюсь, не подскажете, где здесь Бутырская тюрьма? — на вид типичный Промокашка, с когда-то переломанным носом, кажется, он сам только что оттуда вышел.

— Тюрьма — во дворе этого дома.

— Ой, спасибо большое, — говорит он радостно и уходит совсем в другую сторону.

Аглая только пожимает плечами.

В арке дома — силуэт кошки, будто сидит столбиком и тебя дожидается. Аглая обманывается каждый раз. Подходит ближе, кошка исчезает, вместо нее — железный штырь. Непременная деталь российского ландшафта, строительный артефакт — штырь, проволока, труба, трос, торчат из земли, неизвестно, как попали, неизвестно, куда ведут. Может быть, знак дороги в подземный мир. Но для избранных — остальные идут мимо, кто чертыхается, запнувшись, ругает рабочих. Кошка вновь убегает. Снова не удается разгадать направление.

В квартире работает телевизор, Тимофеевна пьет чай, зовет смотреть новости. Вечереет, и двор освещается лимонным светом фонарей, огнями квартир. Кажется, будто это громадный аквариум, и в него сейчас выплывут рыбы-светильники из салона. А может, люди. Если откроются решетки...

Аглая смотрела на Тимофеевну и понимала — ее саму может не миновать такое будущее. Одинокая старость в квартире с пыльными окнами. Будет ли она еще преподавать, или выставят на пенсию? Будет ли ей хватать тех жалких рублишек, чтобы не потерять человеческое достоинство? А физических сил? Может быть, некому будет подать воды... Вполне возможно. Это раньше казалось, что плохое — не с ней, у нее-то все сложится. И что? Вот уже за тридцать. «Наша-то все без мужика, детей-то нет, бедная», — шепоток вослед. Унизительно, безнадежно. И что сделала не так? Если бы знать...

Раздался звонок в дверь, Аглая открыла. Семеновна, в любимой ярко-синей кофте с перламутровыми пуговицами, пахнувшая домашней едой, пробурчала приветствие, резво прошла в комнату, выложила из пакета печенье в тарелку.

— Курабье, Шурка, нашла, такое, знаешь, как в молодости. Думаю, дай тебе занесу.

— Спасибо, Маня. Всегда ты позаботишься, не забудешь убогую. Чаек давай с нами пить, новости посмотрим.

— Ой, новости эти еще твои. Одно вранье. Вот для таких, как ты, недалеких. Слава богу, спорт уже у них. Даже чё-та выиграла. Надо же!

— Правду не правду, Мань, а что-то узнаем, что в мире творится.

— На кой тебе оно, Шурка? Узнаешь и что, слаще спать будешь? — Семеновна сходила на кухню, налила себе чаю и стала громко прихлебывать.

Аглая только было собралась уйти к себе в комнату от греха подальше, но баба Маня уже вперилась в нее своим голубым пронзительным взглядом:

— А у тебя, молодая, как дела?

— У меня все хорошо, спасибо.

— Ухажеров не появилось?

— Нет, — Аглая встала, но баба Маня властным жестом ее остановила:

— Ну-ка присядь. Присядь и послушай. Вот ты не замужем, а думаешь почему? Мужиков нет? Правильно! Потому что мужик не нужен. Такой, какой он есть. Настоящий — который никого не боится, правду-матку режет, грудью на амбразуру, в огонь и в воду. Вот такого его — убьют, посадят, затопчут. Нужен мужчинка, который бы жену слушался, теще бы прислуживал, перед начальником тише воды, ниже травы, властей боялся. Мудак нужен, во! Вот и лепят его с молодых ногтей что семья, что школа. Мужчина — раб, женщина — шлюха. За шмотку и побрякушки удавится. Вот это идеал, я понимаю. Поэтому что тебе — куковать одной. Как не жаль. Плачешь, поди, в подушку ночами?

— Маня, опять ты за свое. От грубости своей не избавишься. Учу тебя, учу.

— А мы неученые, нам-то что, нам не стыдно. Чего правды-то стыдиться.

— Перестань обижать Аглаюшку. Хорошая она девочка. Добрая. Товарищ в беде у ней, а тебе все бы гадости говорить.

— А что ждать его? Посадили, и с концами. Что, сама не знаешь? Не дури девчонке голову, не выйдет он. А выйдет — что? Детей с ним растить? Бессмыслица какая. Домой

надо ехать, к мамке. Мамка-то в годах уже, поди, поддержка ей нужна, опора. А девка к мужику в Москву убежала.

— Маня, слушать не хочу. Злая ты совсем стала.

— Ну, вестимо, не добренькая. А зачем мне добренькой быть? Не зачем. Ладно, пойду. А ты, девка, слушай бабу Маню. Я жизнь прожила, я знаю.

Она поднялась, отнесла чашку на кухню и ушла, не простившись.

Аглая так и застыла на месте, забыв, что собиралась к себе.

Тимофеевна, огорченная, прижала руки к груди.

— Не унять ее, Аглаюшка. Ты уж не обижайся, жизнь у нее тяжелая была, озлобила.

— Я понимаю, — через силу сказала Аглая и только подумала: «Когда же это кончится?»

— Ох, и сама я от нее чего только не наслушалась. Но сердце у нее доброе. Если б не она, не знаю, что со мной было бы. Кому такая нужна... Ты, наверное, жалеешь меня, милая. Одна, старая, немощная, в четырех стенах. Не жалеи. Я прожила хорошую жизнь. И любовь была, и счастье. И работа. Люди вокруг стоящие. Об одном горюю...

Сестра моя тогда уехала деньги зарабатывать на север, а дочку мне оставила на полгода. Хорошенькую такую, Кларочку, вот она на фото, привязалась я к ней и поняла, что нужен, нужен ребеночек, нельзя женщине без детей. Говорю мужу: «Давай возьмем, пусть из детдома, но крошечка, деточка, и чужих ведь не бывает — привыкнем, полюбим». А он мне говорит: «Шура, не смогу я». И я не взяла. Не хотела его огорчать. А надо было, Аглаюшка, сердце свое слушать. Теперь вот нету у меня никого, кроме Мани. Муж умер, у Кларочки жизнь своя, да и занята она, далеко живет. Не хочу быть ей в тягость.

Живешь, живешь, думаешь, все будет у тебя, а потом судьба поворачивается так, что не будет. Хоть что делай. Не пойдешь против судьбы...

Мать Егора была из тех женщин, что вытащили на своем горбу развалины СССР. Когда все стало рушиться, мужчины запили, легли на диваны и опустили руки, женщины не сдались. Находили подработку, сажали картошку-морковку, ездили челноками, вливались в сетевой маркетинг. Перешивали детям одежду, по выходным — на оптовку, сэкономить, выгадать копеечку. Из картошки — десять разных блюд — запросто. Из гречки и макарон — пожалуйста.

И уже потом — когда полегчало, им все равно пришлось тащить выросших дочерей с маленькими детьми, чьи мужья уходили, не платили алименты, не умели зарабатывать на хлеб. Вместо отцов, которым не до собственных детей, бабушки. Неправильно? А как по-другому?

Это они хоронили своих любимых мальчиков, убитых на Кавказе. Мужей с ранними инфарктами. Ухаживали за парализованными свекровьями и возили супчики свекрам в больницу.

У этого времени не герой — героиня, женщина за пятьдесят, которая выстояла, выдюжила и продолжает быть оплотом семьи. Присматривает за внуками, когда дети уезжают на заработки в большие города, или едет сама, на вахты, ютится по общежитиям, не уходит на пенсию — ведь детям надо помогать, берет этим детям кредиты — потому что надо, чтобы все как у людей, чтобы не стыдно, а она уж потерпит, перебьется, а еще ведь — больше некому. Вот она едет с работы домой, с тяжелой сумкой го-стинцев, а мужчины, развалясь в вагоне метро — от молодых до старых, — притворяются, что ее не видят. И походка пусть усталая, но ясно — что выдержит. Что готова идти столько, сколько нужно — построить дочке квартиру, зятю машину, и на даче чтобы свое — помидоры, клубника, петрушечка — и чтобы варенье на зиму, и мяты засушить.

А потом все равно падает — рак или инсульт, но она смогла, пробежала свой марафон. А вот ее доченька-девочка сможет так?

И надо ли?

Каждый вечер, засыпая, Аглая слышит приглушенный шум трамвая. Он идет не снаружи, а откуда-то из недр. Как будто ухо — не на подушке, а на груди у города, как будто это вовсе не стук колес, а стук сердца. И есть в этом что-то удивительное и сокровенное — слушать сердце великана. А еще иногда кажется, что спешит по рельсам не обычный трамвай, а какой-то волшебный, может, из тех, что перевозит людей в параллельные миры, как у Фрая. А возможно, это вообще призрачный поезд метро из полуразрушенной подземки Дмитрия Глуховского? Точно не знаю, слушаю и засыпаю...

Гость столицы, попадая в Москву, часто бывает ошеломлен. Массы спящих и спешащих людей, громоздкая архитектура, эклектика стилей, нагромождение торговых центров и ларечков, потоки транспорта, пробки, теснота метро — все это накатывает сразу и не дает опомниться. Человек чувствует себя никому не нужной песчинкой в тонне песка. Неуютное ощущение. Он вливается в этот поток, обходит музеи, театры, иные достопримечательности, боясь затеряться в мегаполисе, больше похожем не на что-то человеческое, а на громадный, плохо смазанный механизм, где все в непрерывном движении. Кажется, цап — и пола твоего пальто уже в этой машине.

Потом бедный гость тащится на какую-нибудь спальную окраину. Он поражается этим восковым, усталым, отрешенным лицам в вагонах метро, выходит на отдаленной станции, попадает в урбанистический муравейник, засыпает в одном из тысяч похожих друг на друга домов и думает: «Ну, что, что?! Что они нашли в этом ужасном городе? Зачем едут? Чем очарованы?» Засыпает. И, может быть, никогда не узнает ответа на этот вопрос.

Каждому ли открывается Москва? Каждый ли может ее открыть? Аглае повезло. Или нет. Москва показала свое сердце, а потом отвернулась. Живи теперь с этим на краю земли и помни свет окон тихих улочек, кольцо бульваров, надень, примерь на палец — как будто обвенчаны.

Или не в городе дело, а во времени. Юность — казалось тогда — бесконечная, полная солнца, словно созревшее яблоко, надкуси — и брызнет сок. Все были друг другу родными, а за каждым поворотом ждали подвиги. Перевернуть мир, сочинить гениальное стихотворение, встретить любовь на всю жизнь. Они слышали в городском шуме свою волшебную флейту и знали, куда идти. Переулочки Замоскворечья, Старый Арбат, Тверской бульвар, и каждый камушек на тротуаре пропитан счастьем и свободой. Не нужно денег, карьеры, всей этой мишуры. Они и так были безумно богаты и щедры — в их распоряжении была вся Вселенная, кусочком больше, кусочком меньше — неважно.

Город спрятан за паутиной, за мороком, но она все так же светла, Москва.

— Где я?.. Где я?! На Новослободке! А вот где вы, скажи мне, где вы? — молодой парень кричал в мобильный на всю улицу, не обращая ни на кого внимания. — Почему вы не пришли? Почему вы бросили меня? Мы же договаривались! Почему я один должен был их е...ошить?? Один! Где! Вы! Были! — Аглая испуганно взгляделась в его лицо, ожидая обнаружить там кровь, но под светом фонарей на его щеках блестели только слезы. Он уходил дальше и дальше, но она слышала его голос, полный отчаяния и боли.

— Мама, почему дядя плачет? — маленький мальчик, идущий за руку с матерью, впереди. Она не услышала, что сказала женщина, но знала ответ.

Потому что его предали.

— Здравствуйте! Чем могу?

Она рассматривала его — лет тридцать пять на вид, почти ее ровесник. Темные волосы до плеч, симпатичный, с открытой улыбкой и сияющими глазами. И длинными ресницами. Просто Бегбедер какой-то.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — обычный кабинет, бежевые стены, на которых пара модных картин-абстракций и дипломы в рамках. Не любит она такие места, чувствует себя лишней.

— Я хочу поговорить с вами о деле Егора.

— Вы его... невеста? — у Бегбедера внимательный, даже цепкий взгляд.

— Нет, я его друг, подруга, товарищ, как угодно. Я знаю, что он хороший, порядочный, честный человек и он должен быть на свободе.

— Понимаю. Но вы тоже поймите меня — это судебная система, она работает определенным образом. Мы не можем добиться результата без соблюдения определенных процедур, предусмотренных законодательством. В рамках судопроизводства я делаю все возможное.

— Ему все время продлевают срок содержания под стражей...

— Обвинение пытается установить его связи с группой активистов, которые обвиняются по такой же статье. Это серьезно.

— Ему правда могут дать пять лет?

— Могут, но я обещаю сделать все зависящее от меня, чтобы этого не случилось. Не нужно думать, что нам, адвокатам, нужны только деньги. Мне не чуждо чувство справедливости. И для меня тоже важна победа в этом деле.

— Я принесла вам гонорар.

— Это к секретарю. Она вам и чек даст. У нас все честно, по-белому.

Слова застряли где-то в горле. Шла — собиралась что-то доказывать, убеждать. А ничего не смыслит в этих делах.

— Мы все очень на вас надеемся. Не подведите. Егора должны оправдать.

— Это моя работа.

На крыльце курила тонкую, изящную сигарету женщина в черном костюме. Бледная, с волосами цвета воронова крыла, она производила впечатление элегантной ведьмы, забредшей проконсультироваться насчет продаж душ. Дама изучающе посмотрела на Аглаю и вдруг спросила:

— А вы не от Хланевича? — стряхнула пепел. — От него? Зря вы с ним связались, проиграл он последние пару дел по двести восемьдесят второй, сидят ребята.

Небрежным жестом вытащила из кармана пиджака визитку.

— Звоните, у меня есть опыт в подобных делах.

Аглая кивнула. Спустилась по ступенькам, наконец вдохнула свежий воздух. Куда идти? Куда глаза глядят?

Эта черная холеная женщина только подкрепила возникшие сомнения. Адвокат показался странным типом, ненадежным. Самовлюбленный красавчик. Почему его порекомендовали? Завалит дело, и останется Егор сидеть на веки вечные. Пыль, пущенная в глаза. Она уже слышала истории, как адвокаты брали деньги и исчезали, как ничего не предпринимали и подзащитные отправлялись в тюрьму.

Снег повсюду был совсем мерзлый, слезавшийся, зима не баловала. Во дворе повис уже знакомый запах казенного варева, что томился на кухне Бутырской тюрьмы, снова лаяли собаки. Вечно эти собаки, караулят. Следят. Как бы чего не вышло, да, Аглая?

Потом вдруг распогодилось: легкая оттепель, сквозь рваный ватник зимы — беззащитный, нежно-голубой весенний ситец. И даже медная пуговица солнца явилась — оказывается, ее кто-то там все же чистит, за облаками. И ветер принес будто бы мартовские вести. Но была зима, и всему этому не стоило верить, Аглая только покрепче завязала шарф.

— А оне, думаешь, откуда? — Семеновна ткнула пальцем в Тимофеевну. — Из вертухаев. Муж ейный эков всю жизнь охранял, пока инфаркт не отхватил, там же. Жилплощадь им специально давали, чтобы, значит, поближе к работе.

— А вы?

— А что я? Я наоборот, моя милая. Моя семья от таких вот настрадалась. Выселили нас, богатеев, все хозяйство поразорили. Но ничего, мы люди крепкие, оклемались.

— Это в сталинские годы?

— Сталин, Сталин, кабы еще понимала что. Не жила ты тогда, не врубисся. — Она вдруг замолчала и стала рассматривать свои руки, сухие, в синих венах. — Не понять вам вообще ничего. — Вдруг встала и молча ушла.

Беата была так же красива, как раньше. Даже еще красивей. Уверенная в себе, стильная, молодая женщина. Уже не подросток-эльф, от которого во все стороны летели искры, а элегантная, сдержанная фея, излучающая спокойное сияние. Как ей можно было не завидовать — такой? Невольно хотелось скрыться от безжалостного зрачка веб-камеры.

— Как ты, Аглая? Как обстоят дела? Деньги я обязательно пришлю, ты не переживай. Даже не думай, это не проблема. Адвокат хороший?

— Говорят, хороший.

— Все равно тревожно, да? Господи, как он в это влез! Но мы вытащим его, правда?

— Конечно.

— Ты все там же — в универе? Философия? Кандидатскую защитила, наверное?

— Защитила.

— Замуж не вышла?

— Не вышла.

— Значит, еще не время. А я работаю сейчас в дизайнерском бюро. В очень крутом, но неважно... Муж юрист, дети в школу ходят. Здесь рано дети в школу идут, и она не такая, как у нас. Все попроще, более friendly, что ли. Вот так и живем. — Она замолчала и стала смотреть куда-то в сторону. — Как же его угораздило? Хотя он всегда был таким — бесстрашным, дерзким и... наивным. И я в нем это очень любила. Такое редко встретишь. Только это не для нормальной жизни. Так сложно жить. Нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Я должна знать, что у моих детей все будет хорошо. И хлеб, и дом. — Снова повисла пауза. — Ужасно звучит. Цинично — как будто я бюргерша или мещанка. Я ведь такой не была? Или была? Стало казаться в последние годы, что люди не меняются. Они остаются такими же. Значит, была. Поэтому и уехала. Я иногда думаю, как повернулась жизнь, если бы я осталась. Моя, Егора...

Хотя у меня все удачно сложилось. Муж, дети. Здоровые, умные, веселые.

А такое чувство, что чего-то не хватает. Будто что-то важное упущено. Какая-то высокая мечта? Но я даже не могу объяснить ее словами. Мне говорят: у тебя все есть, что тебе еще надо? Вон там людей убивают, там им есть нечего. Мол, устроилась. Но мне плохо от того, что убивают. Мне плохо из-за того, что все наперекосяк в этом мире. И ты ничего не можешь исправить. Ну, разве теорией малых дел.

Мне казалось, мы созданы для чего-то большего. Не для этого — дом-работа-супермаркет-торговый центр-музей-кинотеатр, что там еще.

Люди бросают свои обычные жизни, куда-то уезжают. Я мужу тоже говорю: «Давай оставим все, уедем в Индию — медитировать, путешествовать». А он только посмеялся: «Это — ты — все оставишь?» А ведь и правда — не выход. Как будто обратная сторона того, что здесь.

А может быть, я просто скучаю по юности. По той себе. Ты стоишь на палубе жизни, ветер в лицо и ты не знаешь, что будет дальше, за горизонтом. Ловишь соленые брызги, и внутри предчувствие чего-то большего, чудесного. Что будет только у тебя. Живешь предощущением чуда, а потом — пониманием, что его не будет. Что все уже произошло.

У нас ведь не было ничего. Ни жилья, ни денег, одни надежды. А счастье было. Настоящее. И это не вернется никогда... — Она смахнула слезы.

— Ему очень плохо? Скажи мне честно! Это же русская тюрьма! Его бьют? Пытают?

— Все не так страшно.

— Может, мне приехать? — она спросила так, что ответ был ясен.

И Аглая ответила, как от нее ожидалось:

— Нет, не беспокойся. Все устроится.

— Баба Шура... баба Шура умерла.

Семеновна переменилась в лице.

— Что несешь? Как умерла? — она кинулась вверх по лестнице.

— Дура ты, девка, дура! И где вас, таких дур, делают! — Она кинулась к телефону, — «Скорая»? Женщина без сознания, дыхание слабое, пульс есть. Семьдесят два года. Адрес?

Аглая подошла к кровати, взяла бабу Шуру за руку. Так и сидела, пока не приехали врачи.

В дверь позвонили. На пороге стояла женщина лет сорока в сером норковом полушубке.

— Добрый день! Я племянница Александры Тимофеевны, она вам, наверное, обо мне говорила? Клара Викторовна.

— Здравствуйте! А что вы хотите? Баба Шура в больнице, не скоро ее, наверное, выпишут.

— Вот об этом я и хотела поговорить. Разрешите войду? — она протиснулась в коридор. Потом прошла в зал. — Ну-у-у, как все запущено, не ожидала. Что ж вы, милочка, за квартирой не следите? Пыль, грязь развели, ремонт не сделан?

— Я только снимаю комнату, — от неожиданности Аглая залилась краской.

— У старого, больного человека. Могли бы и помочь.

— Я помогала. Но ведь вы ее родственница, а я вас здесь не видела ни разу.

— Нуу, милая моя, я же работаю с утра до вечера, мне некогда, живу далеко, а в Москве какие расстояния. Сказали тоже. А вообще я вас вот о чем попрошу: соберите свои вещи и, будьте добры, покиньте квартиру в течение нескольких дней. Да, трех, думаю, будет достаточно.

— Почему же?

— Потому что вы тут жить больше не будете. И хотя деньги, которые вы платите за комнату, не лишние, но благоразумнее вам отсюда уехать.

— Подождите, но комнату я снимаю не у вас, а у бабы Шуры. Вас я не знаю, вы даже документы не показали. Вдруг вы аферистка какая-нибудь?

— Ну-у-у, это уже оскорбления пошли. Вот, вот моя фотография, — она ткнула пальцем с длинным кривым ногтем в буфет, где действительно стояла рамочка с маленьким фото. — И вообще, как не стыдно. Не понимаю Александру Тимофеевну, как она

могла... — но фразу Клара Викторовна не успела закончить, в прихожей хлопнула дверь, и вошла баба Маня.

— Это что у нас тут?

— Здравствуйте, Марья Семенна! А мы как раз договариваемся с девушкой о том, когда она съедет.

— В смысле «съедет»? — Семеновна уперла руки в боки, и ничего хорошего это не предвещало.

— Ну как же, тетя в больнице, а тут посторонние, мало ли? Сами подумайте!

— Ты, это, девку не трогай. Девку будешь обижать, я тебе все волоса повыдергаю. И ноги поломаю, если настроение будет. — Она глядела своим невинным незабудочным взглядом, от которого становилось не по себе.

— Да никого я не трогаю. Но как я могу ее оставить, вдруг что-нибудь пропадет. Ценное. Я же потом виновата буду.

— Девка пусть живет. Шура здесь хозяйка. Вернется и разберется. А ты здесь никто.

— Но позвольте! Я же наследница! Это моя квартира. В будущем. И не таком уж далеком, между прочим. При всем уважении к Александре Тимофеевне, она не вечна. Да еще в таком состоянии. И вообще — кто вам дал право разговаривать со мной в таком тоне?

— А зачем мне кто-то давать будет? Как хочу, так и разговариваю. А ты в задницу пошла. И быстро. Тебе говорю, корова. Что глазами хлопаешь, русский плохо учила? Пришла, блин, барыня, порядки наводит. Да хренушки тебе, а не квартира.

Лицо Викторовны, красивое, холеное, аккуратно покрашенное с четкой линией губ, вдруг скривилось:

— Слушай, гримза старая, что бы ты там ни верещала, квартира моя будет. По суду, там, или как. А ты сама катись в одно место.

— Блин, русский не учила, старших уважать не училась. Бирюлево отдыхает. На выход.

— Я уйду, я все это выслушивать не намерена. Но когда вернусь — мы еще посмотрим, чья возьмет!

Похожая на пыхающий самовар, племянница удалилась. Семеновна не поленилась, заперла за ней дверь. Села на стул, подправила белый платочек, застегнула синюю перламутровую пуговку, сложила руки на коленях. Обыкновенная старушка. Такая варит борщи, жарит котлетки, вяжет внукам носочки. Никогда не говорит бранных слов, читает на ночь ребятишкам сказки. И голубой язычок пламени, как будто из рекламы Газпрома, никогда не пляшет в ее глазах. Хотела бы Аглая на это посмотреть.

— Девка, ты вот что. Ты ее не пускай сюда. Ни в коем случае. Шурка добрая, отдаст ей, конечно, квартиру, корове этой. А она ведь никогда, ничего. Шурка больная всю жизнь, ни помощи не видывала, ни заботы. Родня называется. Родню такую в гробу видала. Помереть не успела, уже слетаются. Там брат у этой еще. Перегрызутся. Вот такой паноптикум уродов. Ладно, я к Шурке в больницу сегодня, супу ей отнесу. Выхожу старую курицу, дай Бог. Назло этим. Ты тут за порядком следи. Ну, поняла меня, да? Если че, зови. Баба Маня в обиду не даст.

Она встала, похлопала Аглаю по плечу и ушла.

На экране телефона высветился номер Кирилла. Зачем звонит? Позлорадствовать? Она не хотела отвечать. Но он позвонил потом еще и еще.

«Аглая, возьми трубу. Дело есть».

Ее так и подмывало сказать, что никаких дел с ним у нее быть не может.

«Аглая, это важно».

- Слушаю, что случилось? — она старалась говорить как можно безразличнее.
- Мне нужно с тобой увидеться. Сегодня. Я сейчас с работы еду. Недалеко от тебя.

Было темно, снег летел огромными хлопьями, Аглая пыталась разглядеть машину Кирилла, но все стоящие во дворе автомобили были тихи и безмолвны. Она выскочила на минуту — поговорить и попрощаться — и уже начала замерзать. Потом из арки показался черный джип, свет от фар прямо в глаза. Остановился, посигналил, она подошла. Кирилл выбрался из машины и сразу попал в сугроб.

— Черт, пробки будут, не доеду до дома. Снег, блин, гребаная страна. Все не как у людей. На Бали надо линять или в Таиланд. — Он был в легком пальто и таких же легких брюках.

— Линяй, чего же ты?

— А деньги-то кто будет зарабатывать? Пушкин? — он пытался очистить снег с ботинок, притапывая, — Пушкин в долгах всю жизнь прожил, не сумел даже состояния сколотить. Поэт! Все, все в этой стране не так!

— Ближе к делу.

— Я понял. Ты меня не любишь. По каким-то там своим соображениям и основаниям. Ты решила, что я в чем-то виноват, что я подлец.

Это правда — я должен Егору. А долги надо отдавать, — Кирилл залез в карман пальто и достал конверт. — Вот тут — деньги. Я знаю, себе ты не возьмешь, передай Егору. На адвоката или еще на что. Передашь? — Он сунул ей, растерявшейся, конверт в руки. — Все, давай. Мне надо ехать. Пробки эти еще, хрен доберешься.

— Подожди, Кирилл, я же не из-за денег тогда...

— А я из-за денег. Я больше ничего не могу сделать, понимаешь? Пожалеть? На свидание сходить? Свечку в храме поставить? Забыть и то не могу! Пусть выгребается. Бог вам в помощь. Если он есть.

Мякнула жалобно сигнализация, Кирилл сел в машину. Она постучала ему в стекло:

— Подожди. Спасибо тебе.

Он махнул рукой, завел машину и уехал.

Февраль — достать чернил и плакать. Или просто, сжав зубы, дотянуть до весны. Миновали морозы, под ногами снежная каша, погода не может определиться, закидывает то снегом, то дождем. Аглая шла по Лесной, обходя лужи, и вдруг увидела, как на соседней улице выгуливают большого хряка. Натурального. Мужчина в шляпе и пальто меланхолично вел животное на шлейке. Аглая даже остановилась, чтобы убедиться, что он ей не привиделся. Мда. «И как это с вами произошло?» — «Ну как-как... Взяли мини-пига, отвалили кучу денег, был он такой хорошенький, маленький, славный поначалу, только все рос, рос и рос... и что было делать... мы его уже полюбили, и он к нам привык, не выбрасывать же? Он в соседней комнате спит и так мило храпит...» Хряк и его хозяин скрылись из поля зрения. А может, он вообще ему жизнь спас? От волков отбил? Или это память о дорогом человеке. Сотня причин есть на то, чтобы в Москве держать дома свинью и водить по улицам. Да может, они вообще из цирка! Из уголка дедушки Дурова.

Похоже, мы тут все из этого уголка.

— Знаешь, у меня была жуткая семья, авторитарная мать — и у меня есть ее замашки, я себе не лщу. Пьющий отец, они постоянно ругались, доходило до драк, а я смотрела на это и думала только об одном. Да, сейчас от меня ничего не зависит, но потом у меня будет такая семья, какую я захочу. Без унижений, без скандалов, без насилия. Где все друг другу друзья.

И вот эта мечта — она меня очень поддерживала. Когда я лежала в темной комнате, а снаружи табуретки летали и отборный мат. Или когда отца в подъезде подберешь пьяного и домой пытаешься тащить. И вот появилась возможность, я ушла от них, стала жить самостоятельно. И когда мы с Петей решили пожениться, я ему сказала: никакого ора в доме, ремней, шлепков. Только иногда бывает — слышу, как люди на повышенных тонах разговаривают, и чувствую себя девочкой в той комнате, с головой под одеялом...

— А ты... ты могла бы усыновить ребенка?

— А я усыновила. Удочерила, точнее. Аня — она ведь из детдома.

— Правда? Не похоже.

— А что, они какие-то не такие должны быть? — Ася усмехнулась. — Она маленькая была, полтора года. Мы просто в детский дом поехали, в Тверь. Какая-то благотворительная акция, собрали подгузники, канцелярку, шампуни, конфеты. И там я ее увидела. Документы, справки, конечно, бюрократия, все такое — но меня этим не проймешь, я сама всех этих теток загрызу. Да, диагноз еще... Но я ее забрала. Нас очень Петькина бабушка поддержала. Оставила эту квартиру, уехала жить на дачу. Говорит, все подруги померли, скучно тут. А там птицы поют, воздух. Юмористка. Только... не могу Ане сказать, что она не родная. Ну как — моя она, родная, наша. Как и все остальные. Поэтому ты, пожалуйста, никому. Хочешь поддержать? — Ася кивнула на Маришку.

Подруги выходят замуж, рожают детей, и вот ты приходишь к ним в гости — невежливо не прийти, приносишь какие-то подарки, гладишь малышку по мягким макушкам, вслушиваешься в лепет, рассказываешь сказки — берешь в руки первую попавшуюся игрушку, какого-нибудь лохматого мишку, топ-топ, мишка по лесу гуляет и тут зайчика встречает, изо всех сил стараешься выглядеть естественно, чтобы никто не заметил твою боль. И когда кажется, что все получилось, он всегда последует, этот вопрос: ну а ты когда же? Но не можешь ответить: «Никогда» — и просто отшучиваешься. А потом ползешь домой и знаешь, завтра это тоже повторится и послезавтра. Вопросы, ожидания, надежды. Нет, ты понимаешь, что большинству по-настоящему нет никакого дела до твоих детей, которых никогда не будет. Но не можешь избавиться от этого гнета. И однажды придумываешь, что все это — ошибка врача. Надо только подождать, а там сложится. И как-то становится легче. Меньше задевает. Меня это не касается — и никаких эмоций. Не про меня...

Преподаватель вуза, кандидатская, докторская, статьи, гранты, но это никому не интересно, докажи, что ты человек, что имеешь право — роди! — иначе ты никто и ничто. Но ведь и сама она всегда хотела семью, детей. И это как будто издевка. Хотела, а че не можешь?

Количество одиноких женщин в России могло бы составить население целого города. Броский заголовок. Город одиноких женщин, и вот это окошечко в типичной многоэтажке, желтое с темным силуэтом — это же ты, Аглия.

Нет, все мужики не были козлами. Это с ней что-то было не так. Может быть, все не так — обычная внешность, лишний вес, медлительность, одержимость работой. И вишенка на торт — невозможность иметь детей. Она разглядывала свое отражение в зеркале.

Она была той самой ботаничкой, старой девой из студенческих анекдотов: в очках, полноватая, равнодушная к одежде и косметике, погруженная в мир идей и в меньшей степени — мир людей. Она с удовольствием написала диссертацию, готовилась к докторской. За ее спиной стояли титаны мысли — от Платона и Аристотеля до...

Жижека? Хотя не был ли он жидковат для титана? Да, мужчины делали философию, но их монополии оставалось недолго. Скоро все изменится. Скоро? Когда-нибудь. И быть одинокой женщиной в России — не замужем, разведенной, без возлюбленного — перестанет считаться неприличным, печатью неведомого изъяна, поводом унижить и посмеяться. Профессионал? Личность? Не может быть. Ты просто недотрахана.

Только чтобы поменялся лексикон, должно поменяться мышление. Работай, Аглая.

Ей вдруг снова захотелось встать за кафедру, оглядеть аудиторию, своих студентов, открыть конспект и начать лекцию. И чтобы по левую руку — тень какого-нибудь великого немца: «Давайте, давайте, фрау Тихонова. „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimm“». Там, за кафедрой, как нигде, она чувствовала себя на своем месте, как будто была в потоке большой силы. «Женщина не может быть философом», — сказал бы, как всегда, Ильичев. «Женщина может все!» — ответила бы она.

Блестел на солнце влажный асфальт, в лужах отражалось непривычное после хмурой, сизой зимы синее небо. Откуда столько воздуха? Столько дыхания? Снег стремительно таял и уносил все ненужное. И отчаянно хотелось все изменить. Жизнь проходит, когда слушаешь других, когда равняешься на всех, когда думаешь о том, что подумают вокруг. Жизнь проходит, когда ее планируешь, когда вместо того, чтобы делать, ждешь, что сделают за тебя.

А ведь никогда не будет идеального момента для того, чтобы все изменить. Сегодня или никогда.

— Аглая, ты должна вернуться. Нет, ты, конечно, не должна. Ты вольна делать что угодно, ты взрослый человек. Но все-таки. Вот так бросить все, уехать. Как бы жизнь не поломать. Ты всегда такая была...

— Оторванная от реальности?

— Ну не обижайся только. Но надо же как-то жить, устраиваться. Чтобы и карьера, и стаж, и пенсия. Знаешь, как годы летят. И люди не нужны сейчас никому. Не ценят людей. Уехал, исчез — ну и Бог с ним. А я же не вечная, Аглаюшка, и бабушка не вечная. Может, мы обижали тебя или были не правы в чем-то, ты нас прости. Мы не по злобе, мы ведь тебе только хорошего хотели. Старались... Возвращайся, доченька, давай подумаем, как дальше жить. Как там этот мальчик, Егор? Выпустят его? Ты, может быть, с ним хочешь остаться?

— Мама, у Егора своя жизнь. Он мне просто друг. Будем ждать решения суда.

— Ну а сколько ждать? Глаша, надо возвращаться в нормальную колею, при любом решении. Он твой друг, он хороший, я все это понимаю. Но, как ты говоришь, у него своя жизнь, у тебя своя.

— Я не в том смысле, не в том, — она ковыряла в зазубрине на столе, зачем-то пытаясь соединить ее с другой такой же, оставленной — чем? — ножом, ножницами, чем-то острым, чем обычно оставляют следы. Бывает, словами.

— А в каком? Меня мучает эта неопределенность. Так нельзя. Я ложусь спать и думаю о тебе, встаю — а что там с тобой? Ты ведь одна в этом городе. Еще и новости каждый день. У вас же криминальная столица, ей-богу! Еще и тюрьма под боком, — она уже начинала переходить к своему любимому тону, не терпящему возражений.

— Я хочу принять одно важное решение, — Аглая не собиралась этого говорить, но сказала.

— Какое? Только не горячись, не горячись, подумай основательно, — она засуетилась, представляя себе что-то несусветное.

— Я хочу, чтобы вы меня поддержали. Нет. Чтобы вы просто поняли меня...

— А почему у тебя нет детей? — Миусский сквер, где они гуляют с Лизой, полон ребятишек, слышна французская, английская, польская речь, маленькие отпрыски живущих поблизости дипломатов и бизнесменов тоже вышли на прогулку со своими нянями и мамами.

— У меня есть ученики. Студенты, — как можно спокойнее отвечает Аглая.

— Как в школе?

— Как в школе.

— И чему ты их учишь?

— Я... Я хотела бы научить их быть свободными, несмотря ни на что.

— Когда я буду взрослой, я буду свободной. Буду делать, что хочу. Но только еще долго ждать. — Лиза прыгает по кем-то нарисованным классикам, на верхнем полукруглом поле написано «Финеш». А раньше писали «Рай», подсказывает память. — Ты знаешь, у нас будет новый дом? И мы уедем.

— Я буду скучать по тебе.

— Я тоже. — Лиза вдруг подбежала и обхватила ее своими маленькими цепкими руками за шею.

— Ну что ты, зайка! — Аглая прижала ее к себе, на глаза навернулись слезы. — Может быть, у меня будет такая девочка, как ты. Или мальчик. Я бы очень хотела.

«Вчера вечером, 2 апреля 2008 года, с территории СИЗО № 2 „Бутырка“ доносились крики заключенных и звуки ударов металлической посуды, а также на территории изолятора были замечены люди в военной форме.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Юрия Калинина, подследственные пытались спровоцировать беспорядки из-за слухов об избиваниях арестованных.

Днем сотрудники СИЗО провели плановый обыск подследственных на выявление запрещенных предметов, после чего по изолятору прошли ложные слухи о том, что арестованных избивают.

После этого в нескольких камерах подследственные подняли шум, никаких силовых операций в отношении зачинщиков не проводилось, сейчас на территории СИЗО все спокойно. Пострадавших нет. Сотрудники прокуратуры провели проверку и ничего не выявили, сообщает РИА „Новости“».

Миша совсем не изменился: рыжая борода, бодрая, деловитая походка, модный, ладно сидящий по фигуре костюм, свободные, раскованные движения. Как будто может позволить себе все: сделать, сказать, купить.

Обнял крепко, пощекотал бородой, в нос ударил запах парфюма, свежий, напоминающий весенний дождь.

Они договорились о встрече в кафе рядом с Миусской площадью, здесь только недавно вынесли столики на улицу, раскинули над ними белый шатер, поставили плетеные кресла, разложили пледы.

— Куда-то ты пропала. Искал тебя.

— Я не пропадала. По-моему, это кто-то другой пропал.

— Камень в беззащитного — это каждый может. Кофе будешь? — он сразу подозвал официанта, раскрыл меню.

— Давай.

— Так, нам две чашечки капучино и... и... да, вот бокальчик пива, вот этого, будьте добры.

— Может, адекватнее было бы взять два бокальчика пива? Оба для тебя?

— Как ты плохо обо мне думаешь! Зря! Я почти не пью! Практически! Вот захочу — и этот не буду!

— Захоти, милый.

— Не хочу. Устал. Надо прийти в себя. Город утомляет невероятно. Отвык. Все эти толпы бегут куда-то. Как будто попал на съемки фильма «Хаос и энтропия», — он в нетерпении постучал пухлыми пальцами по столу. Но пиво принесли на удивление быстро.

— Ну, давай, за твоё здоровье. — Он поднял бокал, сделал большой глоток, удовлетворенно хмыкнул, тут же достал сигарету, затянулся. Развалился вальяжно в кресле. Теперь Миша был в своей стихии.

— А я думал, ты уехала уже.

— Ну, как видишь. Что звал-то?

— Хотел узнать, как Егор. Может, нужно чего-нибудь.

— Да нет, кажется, все хорошо.

— Правда? Вот прям ничего не нужно? Ни взятки судье? Ни подкуп вырыть? Ни вертолета? И адвокат оплачен?

— Все хорошо.

— Ты это специально сейчас говоришь, да? Чтобы показать, какая я сволочь. Мол, пока ты там в деревне отдыхал, мы сами с усами.

— Миша, тогда — осенью, ты меня разозлил. Это так. А сейчас многое уже пережило... Я все понимаю, я не сержусь.

— Нет, я должен для него что-то сделать, пойми!

— Акафист закажи.

— Издеваешься?

— Я серьезно. Вон Кирилл сказал, что свечку не может в церкви поставить. А ты можешь. Или нет?

— Свечку... Могу, конечно, свечку, — видно было, что он успокоился, «проблема» была решена, — Ну давай выпьем за освобождение нашего друга! Гарсон, еще бокальчик повторите. Тебе, может, тоже взять? Вина?

— Не надо. Хотя нет. Давай. Я хочу выпить за Егора.

Миша оживился, рассказывал про деревню, и про тамошнюю церковь, и бабушку, про зимние вечера и послушания, Аглая то внимательно слушала, смеялась побасенкам, то отвлекалась.

Камень весны — хрусталь, прозрачный, переливчатый воздух, с бликами солнца и отражениями.

Весенний воздух всегда полон предчувствиями, надеждами, еще не случившимися, но обещанными кем-то чудесами. Щемило сердце от понимания мимолетности этого момента. Отцветшие яблони в Коломенском, белый снег под ногами — вот как все будет. Солнце, набравшее силу и требующее уже другого — не мечтаний, а их исполнения, тяжелой работы, чтобы по осени собрать плоды.

В переулке стояли притихшие синие троллейбусы, словно спящие гигантские прирученные кузнечики, ждали, когда их позовут на прогулку по улицам города. Возьмут под уздцы и потянут по улицам и площадям, будто диких зверей. И только кто-то один так и поймет, а все остальные не заметят.

Дети на площади кормили голубей: сизых, белых, коричневых, целую шуршащую стаю. Кидали хлеб и зерна, а потом прибежали совсем малыши, начинали пугать птиц. Шелестели крылья, смеялись ребятишки, кто-то строго делал замечание. Почти рядом, на Лесной и Новослободской, гудели автомобили. Огромный граммофон города задавал ритм. За столом увядали слова.

Официант убрал посуду, принес счет.

— Все, Глаш, не пропадай.

— Ты сам не пропадай.

Они обнялись на прощание, и он пошел к метро. Ясно было, что вечер не кончен, что нужно еще выпить и где-то посидеть, увидаться с друзьями, познакомиться с симпатичной девицей, проснуться неизвестно где и с кем. Кончилась его ссылка, и Великий пост был завершен, и у Миши снова все было впереди в этом большом городе, можно было начинать с чистого листа, до нового витка покаяния.

До конца не было очевидно, кто они друг другу, но она чувствовала, что есть между ними нить, которую не оборвать.

Аглая побрела к себе. Мимо торгового дома с зеркальными витринами, с рекламным щитом итальянской моды во весь фасад, мимо редакции «Огонька», театра «Буфф», станции шиномонтажа. Старушки были во дворе, на своей лавочке, по привычке препирались, беззлобно. Баба Маня пыталась поднять Тимофеевну, но та упиралась.

— Шура, надо расхаживаться, а то быстро в ящик сыграешь.

— А может, и лучше оно — в ящик. Устала я, Маня, устала. Хочется уже на покой.

— Ой, надо же, на покой захотелось! А Маня, значит, одна тут за всех отдувайся.

Хороша подруга, — Семеновна тут же встала в позу.

— Мань, ну сил нет, — взмолилась Тимофеевна.

— На солнышке погуляешь, и будут силы. Давай шевели помидорами. Избаловали тебя там в больнице.

— Чем-чем шевелить? Нет у меня никаких помидоров, только огурцы.

— Шурка-Шурка, отстала ты от жизни.

— Да, скоро совсем отстану. Едешь, едешь на поезде, а потом — раз, и твоя станция. Выйду, а вы дальше. Без меня.

Старушки всхлипнули. И Аглая впервые увидела, какое мягкое и беззащитное лицо у Семеновны, лицо, по которому текут слезы.

— Спрашивала его: «Егор, а если бы можно было что-то изменить... Ты бы пошел снова туда, на площадь?» И он мне говорит: «Да, мама. И что хуже, я еще пойду, как только выберусь. Они нас не задавят». И не знаешь, что ответить. Будь дома, не высовывайся? Или уж иди до конца за правое дело? Мне подруга говорит: «Вон мой-то, за компьютером сидит, играет, жена жалуется, то да се, детьми не занимается, по хозяйству не помогает, внимания ей не уделяет, а я думаю, счастья своего не понимает, пусть играет. По бабам не ходит, не пьет, политикой не занимается. От греха подальше. Пусть лучше так, чем как твой Егор». А чем лучше? Сердце материнское было бы спокойно, а вот совесть... — она смотрела в глубину чашки, словно в омут. Там плавали бесцветные лепестки когда-то пронзительно-синих васильков. Вера Александровна подняла глаза. Руки безжалостно сжали фарфор.

— Глаша, как думаешь, отпустят его?

Где мы будем через следующие десять лет? Сопьется ли Миша? Хотя у алкоголиков обычно длинная жизнь. Эмигрирует ли Кирилл? Продолжит ли свою борьбу Егор? И что здесь будет дальше?

Кажется, если взглянуть на человеческую жизнь из определенной точки — через десяток-другой лет, то увидишь цепочку событий, со своей логикой, объяснимой и немолимой. Неповторимая цепь поступков и последствий, без случайностей и слепого выбора. Мы выбирали так, как только и могли выбрать. И поступали только так, а не иначе.

Но сейчас — эта дорога пока в тумане, и невозможно предсказать все перекрестки и повороты.

Тимофеевна сидела на своей лавочке:

— Вот и весна. Хорошо-то как. Что твой, деточка? Выходит?

Выходит? Если бы знать. Только и слышишь, что все суды куплены, прокуроры продажные, дела заказаны и сфабрикованы. И тут ты со своей наивной верой в справедливость, в правду, в Божью помощь, в конце концов.

— Будем надеяться, завтра суд...

— Завтра? Это во сколько? А я думала попросить... Не знаю... Мне к врачу. Или не идти?

— Я помогу, — Аглая погладила ее по руке.

На качелях качались дети, плакал ребенок в коляске. Старушки как ни в чем не бывало сажали под стенами с колючей проволокой цветы, разводили садики, будто это была обычная городская ограда. Здесь жили, там ждали, когда начнется жизнь. Но были мы здесь свободны? И что для нас была свобода?

Пахло клейкими тополиными листочками,пряно и горько — свежей молодой зеленью, прогревающейся на солнце корой. Мироздание просыпалось от спячки, пульсировало и могучим потоком устремлялись ввысь древесные и травяные соки. Новая жизнь бежала по зеленым венам, рвалась из почек и подземелий наружу.

И если осенью ты понимал, как беззащитен перед смертью, то весной — как беззащитен перед жизнью.

«А ты вообще где?? — Миша». «Опаздываешь! — Кирилл». «Егора освобождают!!!!!!!!!! — мама Вера». Следом позвонил Хланевич, но Аглая не стала отвечать. Потом.

Сердце колотилось от быстрого шага. Или от волнения. И вдруг в кармане плаща, под рукой, еще раз звякнул мобильник. Замереть, нажать на клавишу.

— Аглая, ты?

— Здравствуй, Егор!

---

---

Алексей КОМАРОВ

## РАССКАЗЫ

### ДЕВУШКА, КОТОРАЯ НЕ ЛЮБИЛА КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

...Она звонит и медовым, засахаренным, сладким до неприличия, знакомым, ненавистным, родным голоском говорит, что опаздывает, пока я приплясываю от холода возле памятника Александру Сергеичу и гоняю в плеере «You Can't Always Get What You Want» группы «Rolling Stones», самой балдежной группы на свете, по-моему. Она тоже от нее тащилась когда-то, когда встречалась со мной, а потом замутила с боксером по имени Саид, или Маджид, или Заур и со мной мутить перестала, такие дела.

На макушке Александра Сергеича — лихо заломленная снежная шапка. Ветер игриво треплет полы пальто, как платье Мэрилин в картине Билли Уайлдера, включили мы ее однажды, да и выключили почти сразу. Она тут же принялась ко мне приставать, и сами понимаете, чем все закончилось. Фильм, в общем, забросили, но загорелые ножки Мэрилин я непременно вспомню перед смертью.

Замечает проклятушая вьюга Пушкинскую площадь и озябшую Москву и любовь нашу замела, стерва. Дальше протянутой руки ни черта не видно. Я ишу ее огненно-рыжее пальто в скользящей через дорогу толпе. Облепленные снежинками очки превращают окружающий мир в размытую голограмму.

Спускаюсь в переход, протираю тряпочкой стекла и углубляюсь в подземелье. Чутко отогреться б, а то и сигаретку не зажечь, руки околочены, чирк-чирк по зажигалке, а та не реагирует, хоть тресни. Дышу в ладони, тру их друг о друга, того и гляди, искорка выскочит, и внезапно невесомой пушинкой прилетает из полумрака «приветик». То она по несколько лет пропадает в экзотических странах, то между нами метр пространства.

- Приветик, старушка. Где пропадала?
- Я тебе махала с той стороны. А ты — ноль внимания. И трубку не берешь.
- В наушниках был, не слышал.
- Да я уж поняла. Здорово ты отплясывал.
- Это от холода, — бурчу я.

Типичная Настюха, сама опоздала, а теперь цирк устраивает, знала же, что я торчу тут, как подснежник, даже Александр Сергеич посматривает сочувственно с высоты бронзового постамента, а ей до лампочки. Отморозь я пальцы, она и тогда не постеснялась бы предъявить, что я не взял кретинскую трубку.

А все ж таки она хороша. Улыбается, и ямочки на щеках, разрумяненных морозом. В подземелье врывается ветер и яростно треплет ей волосы. В них сверкают и тают

---

Алексей Константинович Комаров родился в 1992 году в г. Коврове Владимирской области. Окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова (кафедра новой и новейшей истории Франции). С 2013 года публиковался в журнале «Rolling Stone Russia» сначала в качестве переводчика, а затем в качестве автора-кинокритика (по настоящему времени). Также писал для журналов «Empire», «Hollywood Reporter», «Time Out», «Мир фантастики».

снежинки — жемчужные звездочки. А я вспоминаю, как засыпал, зарывшись в эту темно-шоколадную гриву, и целовал ее веки наутро, пока она тихо сопела во сне. Целовал с нежной робостью, боясь разбудить, но она все равно просыпалась, и безбрежное море синело в глазах ее, и я видел на дне его разноцветные камушки, резвящихся на мелководье крошечных крабов...

— Я замерзла. Зайдем куда-нибудь?

— Зайдем, конечно. Я заказал местечко в ресторане.

Она поворачивается, идет вперед. Надо же, пальто сменила. Сейчас оно розовое, как сладкая детская жвачка, а мне так безнадежно горько при мысли, что обтянутую этим пальто попку тискают другой везучий с...н сын.

— У меня мало времени, — говорит она.

Наш стол уютно накрыт скатеркой в красно-белую клетку. Над головой болтаются елочные игрушки-погремушки. Носатый официант плещет в бокалы рубиновое каберне. Маленькие злобные зверьки грызут мои внутренности.

— Часик-то посидим?

— Не могу. Прости. С одним человеком надо встретиться.

— С парнем?

Она задумчиво крутит в пальцах зубочистку.

— Бывшим.

— Зачем встречаться с бывшим?

— С тобой же встретишься.

Тушэ. Твой язычок, крошка, острее бритвы.

— И все-таки?

— Он еще не в курсе, что он бывший.

— То есть ты пересечешься с пацаном и скажешь, что бросаешь его?

— Ага.

— Нормально.

— Мы ходили в клуб в субботу. И там был мой любовник. Я их познакомила. Сначала они сет шотов вдвоем выпили, потом в инстаграме задружились и сейчас прямо братья. Но он не знает, что мы любовники. Думает, я просто встретила приятеля. Мне показалось, я нехорошо поступаю. Двулично. Пора это прекращать. К тому же я давно его не люблю.

— Значит, второго любишь?

— Нет.

— А меня любила? Только честно.

— Кость, не начинай.

*(А я тебя любил и люблю до сих пор, так сильно, как никто не полюбит.)*

— Трудно сказать, что ли?

— Трудно. Не люблю ворошить прошлое.

— То есть я — прошлое?

— Хватит, ладно? Неприятно об этом говорить.

— Чего ж ты явилась, раз тебе со мной говорить неприятно?

— Не с тобой, а о твоих любовных страданиях.

— Конечно, на мои страдания ты плевать хотела.

— Да, хотела. Достало твое нытье. И ты достал. Думаешь, я не замечаю, как ты в моем дворе торчишь?

— Я скучаю.

— Перестань, пожалуйста. Я для этого и пришла сегодня. Прекрати свои преследования. Мой парень...

— Твой новый парень?  
— Да, мой новый парень часто меня провожает. Если вы столкнетесь, будут проблемы.

— У тебя или у него?  
— У тебя, Костя.

Я залпом хлопаю целый бокал.

— Насть, — начинаю осторожно, — слушай...

Она отпивает вина, кривится, с очаровательной брезгливостью промокает ротик салфеткой.

— Полусладкое.

*(Давай начнем сначала.)*

— Что?

— Красное полусладкое.

— Что — красное полусладкое?

— Кость. Я ненавижу красное полусладкое.

— Разве? Ты вроде сухое ненавидела.

— Сухое я люблю. А полусладкое не выношу. Ты даже такую мелочь не запомнил.

— Забыл, прости. Сумасшедший денек выдался. Замотался, все из головы вылетело.

Но остальное-то я помню.

— Неужели? Назови мой любимый фильм.

— «Завтрак у Тиффани».

— Не-а. Еще две попытки.

*(Вспоминай, дуралей! Она фанатеет от Джонни Деппа и прошептала как-то раз, что запала на тебя из-за депповских скул, и губы ее были такими мягкими, мокрыми, с привкусом табака, кофе и фруктовой помады, а затем она скользнула языком тебе в рот и...)*

— «Эд Вуд»?

— Мимо.

— Намекни!

— Сам думай.

— Тогда долбаный «Титаник», — выпаливаю наобум и, понимаю, попадаю впросак.

— Последний шанс. Когда мой день рождения?

Я уныло плююсь на салфетку с вульгарно краснеющим отпечатком ее рта, а он ухмыляется мне в лицо. Шанс на что?

— В ноябре.

Она отшвыривает вилку и встает. Накидывает пальтишко, застегивается, кутается в шарф. Полосатый, пушистый, точно лесной зверек. Ласково обнимает ее за плечи, жмет к шее. Я страшно ревную даже к нему и поднимаюсь следом.

Опять подземелье. Метро. Эскалатор. Молча ползем вниз. Я бездумно таращусь на плывущие мимо рекламные щиты. Раньше она всегда стояла выше, только так мой двухметровый рост не мешал нам целоваться. Теперь передо мной маячит ее затылок, а я отчаянно соображаю, что нужно сделать, чтобы через минуту не потерять ее навсегда.

— Настюш, — шепчу я.

Сейчас я скажу: не имеет значения, помню ли я ее любимый фильм. Зато я помню нашу первую ночь вместе — фляжку вискарика и крышу арбатской многоэтажки, где она отдалась мне среди мигающих дорожных огоньков и неумолкающего уличного гула, а я изрезал локти осколками стекла от бутылки, которую какой-то умник там расколотил. На следующий день, помню, мы кружились в ее комнате под «Strangers In The Night», а потом валялись на травке у пруда, и я мурлыкал ей Тома Уэйтса. Помню ее стоны, и крики, и плач, и хрустально звенящий смех помню тоже...

Она оборачивается.

Нет, ничего. Покачав головой, отвожу взгляд.

Эскалатор кончается. Сейчас передо мной предстанет ее экс-ухажер. Предел мечтаний — встреча со смазливym хлыщом в обтягивающих брючках и ботинках «Тимберленд». Почему-то мое воображение нарисовало именно такой облик Настиного кавалера.

Но она подходит к одиноко подпирающему стену коротышке с потрепанным томиком Кафки, и я вынужден наблюдать, как этот пухлый хоббит с глазами голодного пса жалобно клюет ее в щеку.

— Знакомьтесь, мальчики. Валерик — Костя. Костя — Валерик.

Валерик! Застрелиться и не встать. Хоббит часто моргает, гадает, союзник я ему или соперник. Будь спокоен, парень, — ни то, ни другое. Я выхожу из игры.

А пока я жму мягкую, влажную хоббичью лапку, похожую на щупальце осьминога, на меня накатывает приступ хохота. Я пытаюсь сдержаться, но смеховая истерика нарастает, распирает изнутри; я широко ухмыляюсь и начинаю гоготать. Хоббит испуганно отшатывается, Настя недоуменно вздымает бровь, решив, вероятно, что я спятил от горя, а я ржу, как полоумный, и чувствую себя превосходно.

Поезд подкрадывается с грохочущим скрежетом. Я захожу в вагон, продолжая хотеть. При виде ошарашенных лиц Насти с Валериком и настороженных физиономий пассажиров припадок накатывает с новой силой. Древняя бабка даже отсаживается подальше, когда я плюхаюсь рядом, нашариваю в кармане наушники и вытираю заплесневевшие в глазах слезы.

В плеере — Уоррен Зивон, «Hula Hula Boys». Девочка бросает мальчика и тусует с серферами в пестрых шортах. Я представляю их в образе Патрика Суэйзи из фильма «На гребне волны», и горло непроизвольно раздирает комок осознания, что я обречен вечно пребывать на стороне этого мальчика, в лиге проигравших, а перебраться в команду серферов мне вряд ли суждено. Но не в этом ли заключается прелесть пребывания нашего в невыразимо прекрасном, пусть и свихнувшемся мире, куда жизнь однажды зашвырнула нас, не спросив разрешения? Я мечтал сорвать с неба звезду. Не достал. Но не забуду, как тянулся к ней. Прощай, вишенка. Не забывай и ты.

На следующей станции вваливается огромная тетка с худеньким парнишкой. Он встает коленками на сиденье и глазеет в оконце поезда, за которым проносятся во тьме золотые кометы, и каждая несет на огненном хвосте волшебство удивительной мечты.

Тетка одергивает мальчонку. Он садится, как положено, и принимается болтать ногами, напевая под нос песенку из диснеевского мультика. Наши взгляды встречаются. Мировой паренек, куртка на нем необъятная, и под ней еще свитер, а на шапчонке нелепо растопыривает конечности Человек-паук.

Я подмигиваю ему. Он смотрит с опаской, думает небось: ох и чудной народ — эти взрослые! Не поймешь их. Но мой вид достаточно несуразен, чтобы он проникся ко мне доверием. Еще не потухли дурашливые смешки в глазах, и волосы торчат глупо, нелепо. Эй, малый, мы с тобой одного рода-племени, вдвоем против всех, неужели ты не протянешь мне руку?..

Я корчу рожу и подмигиваю другим глазом.

Толстая тетка неодобрительно косится на меня и углубляется в дамский роман.

А он — странное дело — подмигивает в ответ.

## ОДИНОЧЕСТВО СТАРИКА В КОВБОЙСКИХ САПОГАХ

Все бродяги воображают, будто вышли на поиски чего-то. По крайней мере, вначале.

*Джон Андайк. Кролик, беги*

Это было самое спокойное утро в моей беспокойной жизни. Мартовское солнце робко заглянуло в окно и позолотило занавески. По двору еще растекались грязно-серые сугробы, но воздух возбужденно звенел радостным предвкушением весны.

Анютины волосы рассыпались по подушке. Недавно она покрасилась в ярко-розовый, как Натали Портман в кинофильме «Близость». Сначала я не мог отделаться от ощущения, что сижу за столом, сплю и гуляю с незнакомой девушкой. Но улыбалась она по-прежнему. Точно чертик выглядывал из заводной шкатулки. И глаза остались теми же. Темно-шоколадными, чуть удивленными. Глаза олененка. Солнце вспыхивало в них янтарными искорками.

— Доброе утро, милый, — прошептала она в полусне.

Голосок тихий, хрипловатый. У большинства людей, когда они просыпаются, дурно пахнет изо рта, но от Анюты сладко веяло чем-то цветочным. Как от феи или эльфийской принцессы.

— Доброе утро, малышка.

Я приподнялся на локте и поцеловал ее. Возле кровати на подстилке из старого пледа дремал таксик Степан. Догадавшись, что мы проснулись, Степан тоже зашевелился, чихнул и принялся шумно вылизывать лапы.

Вставать не хотелось. Слишком уютно было лежать под одеялом, прижиматься к теплой Анютиной спине и безмятежно наблюдать за танцем пылинок в призрачном сиянии утра. Именно так, наверное, чувствуют себя младенцы, смирившись с появлением на свет. Высыхают слезы, стихают вопли, лежишь себе запеленатой мумией и мудрыми блестящими глазенками изучаешь темноту за решетками колыбельки. Зачем мысли, слова, эмоции? Абсолютная безмятежная гармония на заре мироздания. Время и то перестает существовать.

Степка запрыгнул на кровать и нетерпеливо уткнулся носом мне в щеку. Пора, стало быть, на прогулку.

— Собака просится гулять, — буркнул я.

— Ну и погуляй, — пробормотала Анюта.

— Я вчера два раза ходил, — попробовал сопротивляться я. — Твоя очередь.

— А я за тобой посуду мыла.

С Анютой невозможно препираться. Умеют эти девчонки манипулировать мужиками. Чуть попробуешь настоять на своем — щечки мигом алеют, глазки влажнеют, губки надуваются. Даже задуматься не успеваешь, где дал маху. А любые попытки заключить мировую разбиваются о ледяную волну молчания.

Справедливости ради замечу: к посуде Анюта прикасалась по большим праздникам. До тех пор гора невымытых чашек и ложек в раковине непрерывно росла и порой достигала устрашающих размеров. Однажды я намекнул, что не мешало бы капельку чаще обращать на эту гору внимание, а потом неделю восстанавливал коллекцию деревянных самолетиков, которые Анюта в приступе гнева расколотила о кафельный пол. Лучше уж дипломатично помалкивать и пользоваться одной тарелкой, чем провоцировать сожительниц на подобные всплески. Называйте меня подкаблучником — плевать! Мир в семье дороже. Я так считаю.

Проблема в том, что если мыть посуду и можно отложить до лучших времен, то Степке не скажешь: прости, браток, погуляю с тобой послезавтра. Он тут же начинает мстить.

Пошли мы как-то раз на стадион смотреть футбол. Потом завалились в паб, встретили приятелей... Глубокой ночью вернулись домой, разделись, плюхнулись на кровать и обнаружили, что на нее-то Степка и выплеснул негодование от вынужденного заточения в стенах квартиры. А в тапочках меня поджидали засохшие катышки. Нет бы нагадил на пол, если уж стало невтерпеж. Обязательно надо напакостить! Собак нельзя надолго оставлять одних. Да и женщин тоже.

В общем, натянул я джинсы, накинул куртку, шарф да шапку и отправился подышать воздухом на пару со Степаном. Мы не успели купить ему весенние обновки, и он четвертый месяц щеголял в рождественском свитерке с оленями, из-под которого упругим прутиком торчал хвост.

Я зашнуровывал ботинки, и вдруг Анята подбежала ко мне, шлепая по полу босыми пятками, и чмокнула в губы.

— Чего это ты встать решила? — я еще немного сердился, но предательская улыбка выдала меня с потрохами.

— Чтобы сказать, как я тебя люблю, — пропела Анята и затанцевала к ванной комнате, стянув на ходу футболку. Под футболкой ничего не было. Я сглотнул и хотел быстренько раздеться, но Степка жалобно заскулил и нетерпеливо натянул поводок. Я ругнулся и вывел собаку в коридор. Анята включила душ. Шум воды отдавался в ушах, словно манящий гул океана в выброшенной на берег раковине.

На улице Степка отряхнулся, огляделся и потрусил привычным маршрутом. Обычно он направлялся к детской площадке, по тропинке огибал ее вдоль заборчика, флажировал между гаражами, где и поднимал лапку, после чего, заметно повеселев, несся обратно к подъезду. Весь процесс занимал минут пять. На саму площадку он не совался после того, как стал невольным виновником моей разборки с одной психованной мамашей. Степка осмелился лизнуть ее малолетнего отпрыска, тот закатил истерику, мамаша бросилась на защиту сына, и в результате нам со Степкой крепко досталось зонтиком в цветочек. С того дня мы с Анятой строго запретили ему соваться за ограждение.

Но почему-то именно в это утро по воле таинственного собачьего чутья Степка деловито свернул с дорожки и устремился напрямик на площадку. Я задумчиво дымил сигареткой и не сразу сообразил, куда меня тащат, а когда спохватился, было уже поздно.

На лавке возле качелей сидел старик лет семидесяти в потертых джинсах, заправленных в высокие ковбойские сапоги. На худом лице с острыми скулами мягко пушилась серебристая борода. Длинные седые волосы, небрежно зачесанные назад, беспорядочными волнами падали на поношенный кожаный плащ. Рядом на лавке лежал туго набитый пакет из супермаркета «Билла», и не требовалось особой прозорливости, чтобы понять: в нем умещались все нехитрые пожитки старика. Иными словами, он мог бы показаться обычным бродягой, если бы не окружающая его аура робкого интеллигентного благородства.

На локте плаща виднелась тщательно, ниточка к ниточке, пришитая заплатка, ногти на жестких мозолистых руках были аккуратно подстрижены, а сапоги, хоть и выглядели вдвое старше меня, едва ли не блестели. Исполосованное морщинами лицо без следа типичной для бездомных пьяной одутловатости излучало удивительную внутреннюю силу, а ясные голубые льдинки глаз ярко блестели на солнце. Весь облик его вызывал в памяти образы древних странников, разносивших по деревням и городам суровое, ласковое Божье слово.

— Степан! Не приставай! — прикрикнул я.

Собака с интересом обнюхивала сапоги и твякала, требуя внимания. Старик нагнулся и почесал Степку за ухом.

— Что вы, юноша. Он не пристаёт, а здороваётся. Вежливый!

Говорил он плавно и размеренно, старательно выговаривал слова и сильно «окал». Я нередко бывал в российской глубинке и очень любил слушать такую речь. Корявая и грубоватая, столичному жителю она представлялась дивной музыкой, дышала поэтичным уютом незапамятных времен.

— Послушайте, — произнес он вполголоса и неловко поднялся с лавки. — Неудобно вас просить, но... не найдется ли у вас мелочи? Сколько есть. Мне много не надо.

Признаться, попрошаек я не выносил. Никогда не знаешь, кому из них действительно нужна помощь, а кто обводит тебя вокруг пальца, лишь бы выклянчить на шкалик водки. Однако в просьбе незнакомца сквозила какая-то неуловимая трогательность, печальная искренность. Казалось, он стыдился своей бедности, но в итоге смущение уступило место отчаянию. Он походил не на обычного алкоголика, а на человека, попавшего в беду. Я нашарил в заднем кармане двести рублей — все, что было с собой, кошелек-то остался дома.

— Да, конечно. Тут мало, но лучше, чем ничего.

Старик недоверчиво взял деньги. Словно боялся, что я отдерну руку и убегу. Но убежать я не собирался, поэтому старик бережно разгладил мятые бумажки и спрятал в передний карман плаща. Лицо его просветлело.

— Вот спасибо! Теперь на обед хватит. И на ужин останется.

Мы стояли друг напротив друга. Степка потерял интерес к сапогам и обследовал ближайшие сугробы. Развернуться и уйти мне показалось невежливым. Я сел на лавку и снова закурил. А поводок обвязал вокруг ножки, чтобы не мешал. Старик тоже присел и достал пачку «Гламур». Поймав мой удивленный взгляд, он улыбнулся краешком рта.

— Вообще-то я бросить хочу. А почему эти дамские курю — там никотина почти нет, — объяснил старик, неловко затягиваясь длинной изящной сигаретой. Он бережно сжимал ее большими сильными руками, будто боялся сломать. Мы помолчали.

— Вы куда не торопитесь? — спросил он.

Я подумал об Анюте, мокрой, разгоряченной после душа, и едва не бросился обратно домой. Но таким неприкаянным выглядел этот странный дедушка на детской площадке, что я пересилил зов плоти.

— Да нет, не тороплюсь.

— Хорошо. Раз уж мы заловились, зацепились, значит, языками... Можно вам вопрос задать? Уверен, что... Нет, нельзя так говорить.

— Вы о чем?

— Вы в Бога верите?

— Верю.

— А! Славно. И я верю. Больше, чем в самого себя. Благодаря ему я живу до сих пор. Хоть и на улице. Извините, вы, наверное, про меня думаете — шикарный видок, да?

— Стильный, ничего не скажешь.

— На все воля Божья. Образование у меня — семь классов. Потом школу бросил и решил с бабушкой жить. Пенсия у нее была — сорок пять рублей. Пришлось мне заняться тяжелым физическим трудом. С четырнадцати лет. Фамилия моя, кстати, Вагнер. Я наполовину немец. Но не фашист, сразу заявляю.

— Да я не думаю, что немцы поголовно фашисты...

— И правильно. Так вот. Смотрите, что происходит. Россия наша сейчас только за счет продажи существует. Нефти, газа...

— Ну да, ресурсов, — я притворился, что резкая смена направления разговора ничуть меня не смутила.

— Совершенно верно. На планете, по последним данным, больше семи миллиардов живет. Ученые подсчитали. И ресурсов хватит от силы на сто или двести лет. А дальше? Основную массу уничтожить? Ну и останутся два миллиарда. Сплошь толстосумы. Сидят на денежных мешках, как собаки на сене. Сам не съем и другому не дам. Но если остальных с лица земли стереть, кто этих чертей обслуживать будет? Россия — не дойная корова. Когда все закончится, что делать? Развиваем мы программу освоения космоса. Я в инопланетян не верю. Но те, кто верят, думают ли они, что те нам скажут, если мы к ним прилетим? Друзья, вашу планету вы изгадили, теперь прилетели нашу гадить? На фиг с пляжа! Я прав?

— До перелета на другую планету дело не скоро дойдет. Но если начнем переселяться, на новый ковчег далеко не все влезут.

— А добровольцы уже есть. Хоть сейчас готовы билет на Марс купить. Рыба с головы гниет. Мой отец так считал, и я считаю. Все, что происходит, оттуда идет, сверху, — старик загадочно ткнул пальцем куда-то в небеса. — И я не про Бога говорю. Земля тысячи лет вертелась вокруг своей оси. Не отклонялась. А климат изменился до неузнаваемости. Почему? Я знаю ответы на многие вопросы. Я расследование провел. Но есть маленькое «но»: один в поле не воин. Кто меня услышит? Поэтому я и хочу все в Интернет вылить. Пусть изучают. Хорошо, находятся такие, как вы, молодые. С людьми своего возраста я не общаюсь. Они или сумасшедшие, или коммунисты. Вы, кстати, голосовали?

— Нет, за кого тут голосовать. Графы «против всех» в бюллетенях не предусмотрено.

— А я раньше голосовал. Когда в квартире жил. Это сейчас я... бомж.

Старик нахмурился и потушил окурок о подошву сапога. Углубляться в жилищный вопрос ему явно не хотелось.

— Почему никто не понимает, что политикам обычные люди по барабану? Они туда ради наживы рвутся. Лозунг-то у них «власть для народа», но это понятие растяжимое. Чтобы народ ободрать как липку? Для этого власть? Я думаю, нужно нам объединиться и по-настоящему народное правительство создать. Можно я еще мнение выскажу? Вы не думаете, что гражданская война назревает?

— Да, пожалуй. Но будет не война красных против белых, а война всех против всех. Здесь в принципе нет победителей, одни проигравшие.

— Смотри-ка, какой вы умный, оказывается. Вам сколько лет? Двадцать два?

— Двадцать четыре.

— Хм, на два года ошибся. Ладно. Так о чем я? Да... Все, что они обещают, — ложь, гундеж и провокация. Черти они по жизни. Получал бы я зарплату в четыреста тыщ, я бы тоже штаны протирал, ничего не делал и ни о чем не думал. Однако я живу на улице. И Господь мне глаза открывает. Хоть Иисус, хоть Аллах, хоть Будда, Бог — он один. Всевышний.

— Как же вы на улице-то оказались? — спросил я осторожно.

— А как оно обычно бывает. Украли ключи, деньги, документы... Все, кроме головы. Я человек честный, верующий. Хвостом не кручу. Да, вынужден бродяжничать. А может, оно и к лучшему. Может, это Богу угодно. Вот запущу я расследование в Интернет...

— Послушайте, — мне вдруг захотелось сделать ему что-нибудь приятное, — не хотите в баре по пивку пропустить? Тут недалеко. Я угощаю. Только денег из дому захвачу. Там и побеседуем.

— По пивку? — задумчиво протянул старик. — Оно, конечно, можно. Но я ведь не любое пиво пью. Если быть точным, один сорт признаю.

Он извлек из пакета бутылку «Хольстена».

— В вашем баре он имеется?

— Не думаю. Но там есть «Гиннес», «Белхавен»...

— Такое не употребляю. Я человек простой. Пью одну марку, мне хватает. При соединитесь? Оно, конечно, нехорошо, на детской площадке, но раз уж мы с вами сидим здесь, не хочется куда-то уходить...

Я кивнул. Старик вытащил второй «Хольстен» и протянул мне. Отказ бы его обидел, поэтому я молча взял бутылку и свернул ей глотку. Мы чокнулись. Горький вкус холодного пива напомнил, что все происходило на самом деле, и старик, то ли святой, то ли безумный, тоже был реален.

— Знаете, в чем ошибка Иисуса Христа? В том, что он не таился. И открыто проповедовал народу, как надо жить. Это, дескать, белое, а это черное... Я не Иисус. Я анализирую ситуацию и держусь в подполье. Но не только для того, чтобы Россию спасти. Я спасу всю планету Земля.

Кажется, тут я скептически хмыкнул, скотина невоспитанная, от смущения сделал солидный глоток, поперхнулся и закашлялся. Старик сразу погрузился и окинул меня понимающим взглядом.

— Вот и весь сказ. Скажите еще, что я напился, — буркнул он.

— Нет, не скажу. Я вам верю. Правда, верю. Я не встречал таких, как вы.

— Таких болтунов? — усмехнулся он. — Да, пускай я болтун. Однажды даже президенту письмо накатал. Он мне, естественно, не ответил. Зато потом, когда я начну в Интернет материалы выкладывать, укажу, что обращался к нему, а он меня не услышал.

Мы пили. Степка продолжал копать в сугробах. Над нами светило солнце, свистели птицы. Анюта уже наверняка помылась, вытерлась, высушила голову и расположилась на диване с чашкой ромашкового чая и томиком Ремарка.

— У меня нет никого, — неожиданно громким, страстным голосом продолжил старик. — Я один. И без оружия. Хотя человека могу убить легким щелчком. Но я давал присягу не применять свои навыки к мирному населению. Ты не бойся меня. Как звать-то тебя? Антон? Помнишь, фильм был — «Не бойся, я с тобой»? И ты, Антон, не бойся. Я тоже с тобой. И то, что я старый, не значит, что я бессилён. Да, я пью. Да, курю. Да, грешен. Но я не только за себя постою, но и за тех, кто рядом. Ладно, опять меня понесло... Надрался — веди себя прилично. Это мой отец говорил.

— А можно и я вам историю расскажу? — не знаю, что потянуло меня за язык, но откровенность старика вызвала меня на ответную откровенность. Не дожидаясь ответа, я продолжил: — Прошлым летом мы с мамой ездили в Суздаль. Гуляли по городу целый день, а под вечер вдруг пошел дождь. Зонтик мы не взяли и стали искать укрытие. Рядом — Покровский монастырь. Зашли мы туда и оказались в тесноватом полутемном помещении. Народу — почти никого, и тихо-тихо пели монашки. Даже не пели, скорее нараспев проговаривали псалмы, и каждое их слово слышалось удивительно отчетливо, будто они шептали тебе на ухо. Я подумал, что так, наверное, поют ангелы. Мама пошла ставить свечку, а я бродил вдоль стен и разглядывал иконы. Особенно меня поразила деревянная фигурка распятого Иисуса. Я стоял и смотрел на нее. Долго-долго. Монашки продолжали петь. И вдруг у меня из глаз хлынули слезы.

Я никому об этом не рассказывал. Ни маме, ни Анюте. Не уверен, что они смогли бы меня понять. Да если бы и смогли, я считал это воспоминание слишком сокровенным и хотел сохранить только для себя. И уж точно не представлял, что поделюсь им с первым встречным. Но в престарелом бездомном бродяге я обрел кого-то, кого искал бесконечно долго, искал и не мог найти. Деда, который покинул меня слишком рано.

Отца, которого я видел лишь раз. Просто старшего товарища... И я продолжил. Голос мой дрожал, язык от волнения плохо повиновался.

— Я не плакал, не всхлипывал... просто полились слезы. Не знаю почему. А мозг пронзила одна-единственная мысль. Что этот распятый на кресте человек, маленький, тощий — кожа да кости — и такой одинокий, умер за наши грехи. Умер ради нас. Вроде бы самая банальная мысль на свете, нам внушали ее с детства, а мы послушно кивали и делали вид, что понимаем. Но не понимали. А в тот момент я постиг эту истину всем сердцем. И впервые по-настоящему полюбил Иисуса. Полюбил так сильно и внезапно, что больше не мог находиться в том месте. Я вышел на улицу и долго стоял под дождем. Это был какой-то знак? Благословение?

— Прозрение. Если я сейчас шкуры с себя снимаю, то тоже буду... нет, не говорю, что я Иисус Христос. Я в церковь не хожу. Ты Библию читал?

— Читал, но не полностью.

— А я прочел лишь раз, но от корки и до корки. И очень многое помню. Притча Соломонова... запомнил, первая или девятая... гласит: блажен муж, не посещающий собрания нечестивых. А что они туда, честивые ходят? Нагрешат, а потом идут зло замаливать? Мне в их ряды не затесаться. У меня свои понятия. По-моему, в мире существуют две категории людей. Одна живет для того, чтобы есть. А другая — вот как мы с тобой — ест для того чтобы жить. Я прав?

— Абсолютно.

— Как всегда! — старик засмеялся. — Ну, не как всегда... бывает, я и не прав... но если накосячу, то скажу: «Извините, я не прав». Но не у многих хватает духу признать вину. Ты допил?

— Да.

— Чтоб на меня завтра поклепов не было... давай уберу бутылку в урну. Просто меня отец так воспитал. Где живут, там не срут. А я... не то чтобы я здесь жил, но рядом бываю часто.

Старик встал. Встал и я тоже. Мы просидели на лавке примерно полчаса, по ощущениям же — гораздо дольше. Мне было жаль расставаться с ним, но подмерзший Степка просился домой. Там его ждала миска собачьих консервов и теплая подстилка. Меня — горячий кофе, яичница с беконом и Анюта. Моя Анюта. А старика не ждал никто.

Должно быть, невеселые мысли отразились на моем лице. Старик потрепал меня по плечу и улыбнулся. В его глазах безмятежно синела небесная лазурь.

— Рад был с тобой познакомиться. Наша встреча не случайна, помани мое слово. Не случайна.

Я кивнул. Мы медленно вышли с площадки. Я плелся к подъезду, старик брел рядом. Мимо вальяжно проплыла дама в гигантской шляпе с разноцветными перьями, обдав нас волной парфюма. Старик присвистнул.

— Ух, какая! Все бы за такую отдал. Кроме выходного дня и зарплаты.

Мы выкурили по последней сигаретке. Старик переминался с ноги на ногу и явно хотел что-то сказать напоследок, но не решался.

— Послушайте... послушай, Антон, — наконец собрался он с силами. — Ты же, чай, английским языком владеешь?

— Владею, — подтвердил я.

— Вероятно, мне потребуется твоя помощь, — старик заговорщицки перешел на шепот. — Если мое расследование здесь не опубликуют, я его за рубеж отправлю. В Америку. У меня там знакомые. Поможешь с переводом?

— Помогу, конечно. Но как же я узнаю, что нужно переводить?

— А давай-ка мы телефонами обменяемся, — старик вытащил из кармана крошечный кнопочный мобильничек. — Да, такой вот я бродяга, при плаще да при аппарате. Недурно устроился.

Я записал его номер. Он — мой. Мы договорились созвониться, как только материал будет готов. Я протянул руку, и старик крепко сжал мою ладонь.

— Жми крепче, Антон!

Наши взгляды встретились. Мы оба понимали, что больше не увидимся. Но никто не произнес это вслух. Старик подмигнул мне, взвалил на плечо пакет и медленно пошел прочь. Голые ветви деревьев прорезал солнечный луч, и седые волосы вспыхнули золотым блеском. Казалось, над головой старика сиял нимб. Я молча смотрел ему вслед. Каблуки ковбойских сапог звонко стучали по асфальту. Даже Степка перестал рваться с поводка, успокоился и тихо повизгивал, будто оплакивая что-то безвозвратно утерянное, чему нет возврата... А может, он просто проголодался.

Пару недель я ждал звонка от старика, хотя был уверен, что никаких разоблачений он не сделал и не существует ни расследования, ни секретных друзей в Штатах. Позднее я сам пробовал позвонить ему, но голос робота с холодной учтивостью вновь и вновь сообщал, что аппарат абонента выключен.

А потом Степка подцепил лишай, мы долго его выхаживали, успели раз сто перессориться, затем опять помириться, и в круговороте повседневной рутины я внезапно понял, что люблю Анюту больше жизни. Вскоре мы поженились и укатили в Париж в свадебное путешествие. В один из вечеров Анюта плохо себя чувствовала и осталась в отеле. Я же вооружился бутылочкой шардоне и пошел побродить по городу.

Вино быстро кончилось, и для поддержания бодрости духа мне пришлось сделать несколько коротких привалов за столиками уличных кафе. В каждом я выпивал рюмочку абсента и воображал себя кем-то вроде Бодлера или Мопассана. К вечеру я бесстыдно надрался и, шатаясь по набережной Сены, решил сфотографировать закат. Но едва я вынул из кармана телефон, он зазвонил. От неожиданности я разжал руку, и он свалился в воду. Достать его, разумеется, не удалось. Кто звонил — я тоже не заметил. Анюта решила, что это знак и теперь мы точно должны начать новую жизнь. Я согласился, и мы переехали из Москвы в Петербург, где Анюта стала рисовать картины для оформления баров, а я устроился работать сценаристом на одном дурацком сериале.

Сменил я и номер мобильного. Но часто думал с тех пор: вдруг именно в тот момент, когда я, в стельку пьяный, глупо таранился в лиловое парижское небо, мой седовласый друг закончил сенсационное расследование и решил меня об этом оповестить, чтобы я помог ему спасти мир? Вдруг он не справится без моей помощи? Вдруг я нужен ему? Или вдруг он... соскучился?

Хотя, скорее всего, звонили из химчистки. Я относил туда пальто, и нужно было его забрать. Зима приближалась, а пальто уже два года не чищено. Так не годится. Правда же?

---

---

## Дмитрий БЛИЗНЮК

\* \* \*

если честно, не люблю писать —  
верлибры, стихи, прозу,  
но люблю одну женщину. однажды Господь  
дал ее подержать за талию, бокал с плотью,  
обнять, заполнить семенем, мечтами,  
галлюцинирующей пустотой,  
а потом превратил в вибрирующую, ломкую,  
скульптуру из бабочек, щелкнул пальцами — фокл! —  
и она разлетелась по миру узорным маревом.  
а я только рот раззявил: небритый голодный птенец.  
теперь в каждой женщине, с которой я мужчина,  
узнаю узоры горячих крыльев.  
но эротическая радость узнавания  
сменяется разочарованием,  
в каждом стихотворении я хочу невыхотимое.  
если бы я мог с ней остаться сейчас и навсегда,  
я бы и слова не написал больше. никогда.  
сжег бы все рукописи, а они горят, чадят —  
подожженные нефтяные скважины  
с черными заваливающимися хвостами...  
но не смог раствориться в ее душе и теле —  
золотой айфон в желудке пойманной акулы.  
застыл лопухим истуканом,  
а вокруг меня порхают — бабочки-в-животах?  
нет — она, она, она. но ее у меня нет  
и больше никогда не будет.  
это шершаво-кошмарное «никогда» —  
шикарное слово,  
точно пиджак из вороньих перьев.  
надеваешь его на голое тело ранним утром — и жуть.  
и посему я возьму от поэзии все, что захочу.  
поздно или рано.  
вот почему я поэт.

---

Дмитрий Сергеевич Близнюк родился в 1979 году в Харькове. Лауреат нескольких международных конкурсов. Публикации в периодике и сети: «Сибирские огни», «Новая реальность», «Ликбез», «Плавучий мост», «Южное сияние», «Вокзал», «Белый ворон», «Квадрига Аполлона», «45 параллель», «Этажи», «Приокские зори», «Textura.by», «Зарубежные задворки», «МК.ru», «День литературы», «Флюгер», «Порог», «Харьковский мост». Автор трех книг стихов. Живет в Харькове.

\* \* \*

оса прячется в саду, как террористка.  
 а ты — роза с лепестками помады.  
 сминаю твой рот руками,  
 как пустую пачку из-под сигарет,  
 я загорелый валет. сейчас вишу вниз головой,  
 как нетопырь.  
 потеет пчела в меховой безрукавке,  
 трудится, чтобы зимой я грыз  
 медовые косточки твоих ключиц.  
 в твоём взгляде пузырьки любопытства —  
 закипает полдень в серебряной ложке апреля.  
 ты сплетничаешь: слон раздавил шахматную королеву,  
 через год ты станешь мамой и моей женой,  
 я люблю засыпать в обнимку с источником яда.  
 я засунул руку в осиное гнездо,  
 спрятал там свое бьющееся, как речная жаба, сердце.  
 я разбивал камнем на мостовой  
 капсулы с цианидом, лишь бы не прятать за щекой  
 пути отступления.  
 и под кожей расцветали оранжевые горячие узоры.  
 все твоё тело облеплено моими ладонями,  
 как мраморная статуя Венеры —  
 объявления о пропаже и продаже.  
 оса ужалила — горчичник засунули под кожу,  
 боль уйдет, а любовь останется,  
 чтобы показательно взмахнуть ресницами,  
 точно рабы веслами на галере — в прощальный раз.  
 идущие на жизнь приветствуют тебя.  
 лепестки яблони на черноземе — отброшенные ноготки,  
 ты теперь кто, ящерица или синичка  
 в железной трубе?

\* \* \*

вечность проплывает мимо  
 величественно и презрительно, как гренландский кит,  
 эти брызги, минуты, секунды — смотри, они твои...  
 нищая форма жизни...  
 но я улыбнусь — на ваших прочных космических крейсерах  
 «миллионолетья»  
 никого нет, а звезды бессмысленны, ядерные плевки,  
 все планеты сногшибательно мертвы  
 и ядовиты.  
 смотри, вечность, на нашем углу плоту  
 из плоти, кредиток и быстрых слов  
 кипит жизнь, борщ и любовь...

\* \* \*

заношенный махровый халат —  
кожа, сброшенная мраморной статуей,  
а под ним она — юная, горячая,  
каштан в треснувшей кожуре с шипами.  
альбиносы подушек с сыпью помады.  
и ты счастлив, как в детстве.  
предмультфильмовое утро,  
солнечная суббота —  
свежий батон с хрусткой коркой.  
и пальцы впиваются в теплую сдобную плоть  
июльского дня. отщипывают фразы  
домочадцев, птичьи трели.

ты замечал? кто-то ворует воспоминания,  
так дети тырят у родителей деньги,  
и не получается поймать на горячем  
бандита памяти,  
застать врасплох — как он выносит спеленатый мир,  
прозрачного, как холодец, младенца  
с пронзительно голубыми глазами.  
память — живая тень невидимой души, она  
отбрасывает подробные очертания, сполохи  
на знакомые лица, на неприкрытую землю,  
по которой ты гулял, ходил  
за хлебом, в школу, к зубному, на свидание,  
нельзя выйти из памяти человечества,  
ты сел в поезд —

поезд Микеланджело  
из человеческих тел. и каждое тело дышит,  
и ты идешь по живому, и над тобой живые.  
синхронно следят сотни глаз с потолка, не моргая,  
из стен тянутся руки — не злобно, но безвольно, как толстые ветки,  
ты в комке, в туннеле безликих тел — еще не сняли пленку  
с лица, как с нового айфона. ты никогда не узнаешь,  
чтобы понять, где же сейчас душа — в каком вагоне?  
не стоит уходить в себя — в одиночество,  
ты вернешься, но уже другим, модифицированным  
истиной безжалостной. кто же ты,  
бандит памяти?

## ПОРОСЯТА ВОСПОМИНАНИЙ

### 1

поэты парят/подскакивают над асфальтом,  
ибо свободны от земного притяжения — чуть-чуть.  
нужно носить в карманах подковы, куски кирпичей,  
прятать свинцовые пластинки в атрофированных крыльях,

чтобы не унес горячий, как из радиатора, ветер перемен.  
 одуванчиковую Элли с букашкой  
 в страну человеческих зверей.  
 эпоха лакомится поэтами, как трюфелями.  
 бедность — патриотичная свинья —  
 всегда нароет парочку талантливых особей на кривых ножках.  
 и ты думаешь: человек искусства, приятная ошибка,  
 нелепая случайность, золотая рыбка,  
 которая живет в бачке унитаза — каждый раз  
 мучительную минуту задыхается, пока эпоха  
 перезагрузится, набьет эмалированное брюхо  
 хлорированной ядовитой водой.

## 2

ветер лениво перебирает листву —  
 леопард укладывается полежать на припеке,  
 а ноябрь уже протягивает длинные белые руки,  
 униженные азотными кольцами заморозков.  
 я рад ее видеть, так полевка радуется зернышку  
 после набега саранчи. так встречаешь ее  
 среди шляния ненавязчивых фигурок толпы,  
 как откровение, вот она — мессия всей твоей жизни,  
 улыбнется, как солнце, и глазами обхватит тебя,  
 как гиппопотам гиппопотамиху. но уже никого нельзя  
 спасти. перекинулись полупустыми фразами —  
 так два ветра обмениваются птичьим пухом, сором, запахами  
 и разлетаются по своим слепым вихрящимся делам,  
 так светишь фонариком в лисью нору,  
 твердо знаешь: она там — черный нос и сверкают глаза,  
 но ты сегодня пришел без собак и ружья, просто так.  
 после нас остаются лужи музыки,  
 павильоны разочарований,  
 случайные встречи, деньги в озимой куртке,  
 невыносимый аромат трюфелей,  
 поросята воспоминаний.

## РАССКАЗЫ

### СПИЦА

Мы ссыпали в пакеты кисти, краски, заталкивали туда же крохотные складные табуреточки, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Впереди скользила высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица. Скользила широченными шагами, не оборачиваясь и не сбавляя темпа, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.

Вокруг роняли листву клены, под ногами шуршало. Тянуло теплой, душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, призраком проплыл забытый фонтан — изъеденный трещинами и мхом, — а мы все шли и шли, и конца не было видно этому золотому царству.

Впереди, за стволами, замелькала местная достопримечательность — медведь Константин. Это было допотопное — когда-то белое, а ныне серо-зеленое — изваяние в виде огромного медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая, тонкая осина, недавно только пересаженная в глубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, ожидая объятий. У медведя были удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, и все это придавало ему нелепый вид — смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету. Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами, так и было написано: «Скульптор Константин В. — перенос — в дар навеки любимой alma mater». Вернее, так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же по странной прихоти судьбы — или хитрых пэтэушников — все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.

— Смотри! — зашипел Вовка.

Он кинулся к Константину, выхватил из-за пазухи черный пластмассовый пистолет и шарахнул пистолем в маленькое серо-зеленое ухо.

— Володя! — окликнула его Спица, не сбавляя шага. — Это неуважительно по отношению к художнику и жестоко по отношению к животному.

— Я — Дубровский! — закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Птицы сорвались с веток и заметались в панике.

— Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, — сообщила мраморным тоном Спица и ускорила. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.

Вовка юркнул к нам.

---

Дмитрий Александрович Лагутин родился в 1990 году в Брянске. В 2007 году окончил Брянский городской лицей имени А. С. Пушкина — гуманитарный класс. В 2012 году стал выпускником Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского по специальности «юриспруденция». Работает юрисконсультom в сфере строительства. В 2017 году стал победителем международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «проза».

— А кто такой Дубровский? — спросил я.

— Какой-то солдат, — ответил Вовка. — Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.

— А что ему этот медведь сделал? — вклинилась розовощекая Оля Петрова.

Вовка закатыл глаза.

— Какая разница? — потряс он рукой. — Это же война!

— Молодые люди! — пронесся над нами голос Спицы. — Все ко мне!

Это означало, что парк закончился и сейчас надо будет перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.

Спица сняла очки, подышала на стекла, потерла их голубым платочком и вернула на переносицу. Потом отбросила со лба непослушную прядь.

— Молодые люди. Если хоть кто-нибудь (пауза) из вас (пауза) позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами (пауза), я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины. — Она обвела нас холодным взглядом. — И в этом будете виноваты (долгая пауза) только вы.

Спица уже тогда — в тот год ей исполнилось тридцать — была самым известным в нашем городе художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, про нее время от времени писали в газете и поговаривали даже, что ее знают и ценят чуть ли не в Европе. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнилась она, всю нашу младшую группу с позором бы изгнали из города.

— И нам бы пришлось скитаться по лесам, жить в землянках и есть лягушек, — расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему. — Вот была бы жизнь!

— А теперь все прижались ко мне, как к родной матери, — она развела руки, как птица, собирающая под свои крылья птенцов, — и шагом марш на ту сторону!

Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение — кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась себе спокойно вдоль насыпи, а метров через десять отчаянно изгибалась и пересекала пути.

Пыхтя и сопя — спокойствие сохраняла только Спица, — мы подобралась к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец — это означало требование тишины, и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней, как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но в наших детских глазах казалась горной грядой.

Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались наверху.

На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо — широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под ног в обе стороны убегают рельсы — далеко, насколько хватает глаз. Мы жмемся к Спице, а она стоит, как колокольня, смотрит вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу. Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку — тонкую и легкую руку художника — бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то оступился, и с насыпи покатались с радостным стуком камешки.

— Не зеваем, — скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.

Мы слетели вниз и горохом рассыпались по тропинке.

А затем нам предстоял долгий путь через бесконечные рощи и поля в поисках подходящего вида. В рощах было сыро, по полям гулял ледяной ветер. Небо, как нароч-

но, растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие солнца угадывалось по вытертому светлому пятну в облаках. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отжившая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыпавшиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.

Спица летела вперед, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она летела так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось: погода играет против нас, и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, теперь же над нами шутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы пойти следом.

— Галина Игоревна, — пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, — давайте сегодня парк порисуем.

— Оленька, — не оборачиваясь, отвечала Спица, — если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.

— Проверь, но не доверяй, — шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.

Вовка вдруг кинулся вбок, и в Олю полетело что-то серое.

— Крыса!!!

Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередине дороги. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал швыряться дохлыми крысами?

Но нет, обошлось. Приглядевшись, я узнал в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой. Вовка пополам сложился от смеха.

Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам и шумно выдохнула.

— Володя, — медленно протянула она, закрыв глаза.

Вовка вышел на дорогу.

— Володя, — повторила Спица.

Вовка насупился. До голени его брюки были мокрыми от травы.

— Простите, Галина Игоревна, — промямлил он.

— Не. У. Меня, — не открывая глаз, отчеканила Спица.

Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь.

— Оля Петрова. Прости. Меня. Пожалуйста, — прокричал он и сунул руки в карманы.

Оля, презрительно задрал подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти, словно и они тоже испугались и пытались сбежать.

— Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, — спокойно проговорила Спица, — но это чуть позже. Молодые люди, — она подняла вверх руку, — рассаживайтесь и доставайте краски.

Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаясь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывавшие из травы, с другой — поодаль — взгляд натыкался на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жавшиеся друг к другу. Насколько хватало глаз, растилась серо-желтое поле, то тут, то там вздыхавшее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с таким же серым небом, по которому тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели домики.

— Молодые люди, — нарушила тишину Спица. — Я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка начинать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую — в студии.

Мы в молчании, переглядываясь — а не сошла ли Спица с ума, — повтыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти. У каждой табуретки возникла баночка с водой, краски бросали тут же, под ноги.

— Надо было в такую даль тащиться, — пробурчал Вовка, придвигаясь ко мне, — писали бы сразу заводскую стену.

— Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, — оборвала его Спица. — Переместись, пожалуйста, во-он туда, — она махнула рукой за наши спины. — Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.

Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.

— Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета, — совершенно серьезно наставляла Спица. — Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, — интонация пошла вверх, — она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.

Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Варежка одиноко и как-то виновато темнела у его ног.

— Остальные пишут пейзаж под названием... — Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок. — «Осенняя дорога».

И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось все темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть результат, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не пылали золотом клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь — унылый серый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица поторопилась, что мы были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента нельзя было и найти. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве — незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который ничему постороннему не было входа. Спица все это знала, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в музеях. Теперь мне кажется, что свои лучшие картины она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность: если и был среди нас человек, неготовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее — а точнее, она от него — чьей-то рукавицей.

А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой бисером рассыпался по всему ландшафту, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали были тишина и ожидание,

в ней были будничность и грусть, в ней были неудовлетворенность и неустроенность, отсылавшие к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, и в этом, наверное, и заключалась ее суть — она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.

Все это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя — это я понял потом — училась тишине и чуткости.

Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.

Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг моргнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:

— Сворачиваемся, молодые люди!

Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали наш инвентарь и — с сырыми еще эскизами в руках — готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, все дул на свой натюрморт, даже мне отказался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» в пакет.

Спица нарушила всеобщее молчание лишь у самых путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. На вершине гряды, когда нога запнулась о шпалу, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.

Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорила.

По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. — он проездом оказался в родном городе и нанес визит «навечно любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и все время путал имена своих наставников. После ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загородив осину, и смотрел.

Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.

«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из коридоров, но провисела недолго: часть помещений, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок — кружки и секции расселяли по соседним кабинетам — наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих раздумий отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю варежку» лишь раз — через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках работы на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».

Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под крытый теннисный корт. Бело-голубая коробка, в которую вместились бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала.

На вопрос о месте переезда он пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.

## ДЯДЯ СЕВЕР

Два раза в год к нам приезжал брат отца — дядя Игорь. Он работал где-то далеко на севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него были густая черная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вел знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями: мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная — три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого не выказывала.

— Никак не повзрослеет, — говорила она.

Мы удивлялись ее словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, — не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

— Дядь, дядь, расскажи про север, — обступали мы его.

В моем положении племянника не было равным счетом никаких привилегий — он был дядей нам всем — и никому. Он был ни на кого не похож, и даже его ребячество, о котором теперь я вспоминаю с теплом, было каким-то иным, особым. Он был слишком своим и слишком чужим.

Дядя ерошил волосы — на висках они уже начинали седеть, — пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

— Про север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Невместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «как-то раз».

— Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

— Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

— Как-то раз сообщили нам, что с гор идет лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночевка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих свое место.

Небо над нашими головами густело, занимались звезды. Дядя дымил трубкой и баял из-за своей бороды.

Север — чудный, далекий — казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там свое, особое государство, живущее по своим, особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра, дым от трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а ее огонек — угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь — угрюмая и загадочная.

— Ты для них не дядя Антон, — шутил отец, — а дядя Север.

Дядя улыбался; север жил в нем, и временами казалось, что с нами он был лишь телом — душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас, дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днем был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился: принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном закипал в комнате, читал.

Во взгляде его накапливалась какая-то тоска — подойдет к окну, постоит. Вздохнет — и отходит.

— Хватит страдать, — говорил тогда отец и усаживал брата за стол, — смотреть тошно.

Дядя улыбался смущенно, принимал веселый вид — но через какое-то время глаза его снова подергивались мутной пеленой, он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия; он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поездок по городу.

— Эх, — говорил он, — жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колос. Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клена настоящий дом — добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером. Первое время мы из него не вылезали — сидели там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шел к клену, становился внизу и, задрав голову, басил:

— Кто-кто в теремочке живет?

Мы, сдерживая смех, молчали.

— Ну, значит, я, — говорил дядя, закатывал рукава, ловко подтягивался — и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

— А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка — одно смотрело на запад, другое на восток. Дядя показывал на западное:

— Ишь как полыхает.

И мы заворожено смотрели на закат.

— А ну-ка, — спросит, — какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? — и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

— Т-теплые.

— Прекрасно, — подбодрит дядя. — А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне — бах! бах! Искры кругом, жарится, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, который гвозди в узлы вяжет и подковы гнет не морщась.

— А лет ему уже под шестой десяток, — подводит дядя итог. — Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца: огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах.

Север — край богатырей.

Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скреб бороду, спрашивал нас о чем-нибудь — не любил тишины. Из окошка лилось все меньше света, клен обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искоса — ему было неловко за то, что он вот так, как ребенок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал ее в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшекласники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянь, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке слепленные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клен, будто с извинениями разводящийся в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

— Никаких шалашей, — оборвал с ходу отец, — или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом: для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился все более чужим, начинал тосковать уже не через неделю, не на следующий день — но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там, я думаю, грусть заволакивала его сердце еще до отъезда оттуда, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И все же он приезжал. Настойчиво, через силу он тянул себя к нам: отцу, мне, матери, нашему клену и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос — по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его пожелтели, лицо покрылось морщинами, но он был по-прежнему красив и силен — и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильей, каким я видел его в мечтах о севере.

А мечтали мы все — каждый мальчишка. Грезил суровыми зимами, бездонным небом, нестихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде — он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьезно и как будто с горечью:

— Куда нам.

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату — маленькую, светлую, с окошком в сад — и садился за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с черными как уголь локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках — за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет — хоть плачь. И каждый день пьет. Но мужик — во такой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тошную лису и местного мальчонку — этот чудом не обмерз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обо-

грелась, отъелась да и осталась при нас — не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился — и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции — не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем — про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

Ото всех тебе приветы, а я пошел, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори все-таки назвать Антоном.

Антон

И дата — месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо — пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками — адреса, телефоны.

Ближе к окну, на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загипнотизирован — сидел и смотрел, такая она расчудесная — ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет-тьень, свет-тьень.

Я садился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далеких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза:

«И скажи всем, чтобы не трогали мое ружье».

Я очень боялся, что кто-нибудь в мое отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на север и живут там в сторожке — сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату паломничества — мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда — берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдет отец. Зажжет абажур, устроится поудобнее — и читает. Но читает не дядино — что-то свое.

А я грезил севером. Мне снились необозримые пестрые дали, северное сияние, усталые великаны-горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и шурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чашу, а в самом центре севера — на белоснежном плато, окаймленном вековыми соснами, под шатром из зеленых сполохов, под пристальными взглядами тысяч звезд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя ползла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике — спокойный и уверенный — сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто быть там — населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, своими благородными мыслями. Все снега севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их — и пересказал нам.

И закат — то самое солнце, которое обегало день за днем всю землю, подолгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей

в домике на дереве. Зато когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам — еще раз увидеть то, о чем только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку — отец и дядя, совсем еще дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом, дядя — большеголовый, худенький, с огромными удивленными глазами — жметя к отцовской руке и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Отправился в дальнюю комнату и долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка, навряд ли можно было сказать, что на фото — братья; настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты — на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи — отец вернулся с работы. Я юркнул к себе и спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нащупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал ее, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца — где-то далеко за решительностью, за вызовом — я увидел настороженность, напряженность. Еще глубже, едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в потускневшее изображение, я, как в воду, погружался в дядин взгляд — слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далекое, удивительное — и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец богатырь смотрел на меня из далекого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд говорил, а я — в меру своего понимания — внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку — махровую от пыли, с истрепанным уголком.

— Гляди-ка! — присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскреб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе — вероятно, он забыл о фотографии, как только выпустил ее из рук, а мать сказала, что не брала.

— Возьми другую, их там море, — добавила она.

Но другой такой не было, и я долго еще горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про север, и мое внимание — как и внимание всех окрестных мальчишек — обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу — хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку, — со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещренная порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал

лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка — в ней угадывались две фигурки с веслами.

Когда — в очередной приезд дяди — мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:

— Это пустяк, а не река. Бывают и посерьезнее.

Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.

— А что это у вас за трофей? — спросил он. — Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

— Хорошая книга, — протянул дядя, рассматривая иллюстрации. — Только, — ткнул он пальцем в текст, — сухая, ненастоящая.

Вздохнул.

— Север, братцы, это вам не циферки эти, не справочки... это...

Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

— А вы на собаках катались? — спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно.

— Без собак, брат, никуда.

Сделал паузу и добавил.

— А лодки, бывает, запрягаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на севере — инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.

Я годами хранил в себе чудесную мечту — когда-нибудь да переехать туда. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я все ждал, что дядя позовет меня к себе — я вырослел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И все, никакого результата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная работа — и я отвернулся от севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, — не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и — не так давно — в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно. Подошел к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды. Отошел, ссутулившись.

Перед отъездом — теперь я провожал его на поезд — мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше — он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел в его глаза — теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, неопределимого, что так влекло меня в той фотографии.

— Так-то, брат, — закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице: здоровье не позволяло продолжать работу на севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей — далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нем стало стариковского, и загрустил.

— А я тут сижу, как сыч, — заявил он. — Тоска смертная.

Засвистел чайник, дядя вывалил в плошку горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам. Это было то самое утерянное мое сокровище — два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой — испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое: наш дом, клен, отец, невероятные истории, север.

Чудесный, далекий север.

— Дядя, — сказал я, вернувшись в кухню, — откуда у вас та фотография, что на столе стоит. Где вы с отцом.

Старик провел широкой ладонью по бороде.

— Сережа подарил, — сказал он.

Я не сразу понял, о каком Сереже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от нее такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлеченно — словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобраться, где повседневное, а где — оно, таинственное. Все слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далекую, неуловимую загадку и простые переживания одинокого старика.

В конце концов дядя принялся говорить о севере. И не было отца, чтобы вошел и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы: очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может — или не желает — высказать всего, что скопилось в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует — по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

— Дядя, — перебил я его, — а переезжайте к нам. Сын уже учится — живет в общепитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя замолчал. Глаза его заблуждали.

— Дров вам навезем, — пошутил я, — колоть будете.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.

— Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задернул занавески, зажег лампу.

Я рассказал о том, как представлял себе север, о волках, вьюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.

Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:

— Зачем вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что вам неудобно здесь. Зачем же было все это?

Дядя потер переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.

И ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, был глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушел в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жестком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел черное небо и точки звезд. Растревожённые воспоминания не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стеной раздался какой-то шум — как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дернул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго — мне казалось, целую вечность — сидел и смотрел на фото. О чем я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, все вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть — пытался разгадать-таки дядин взгляд. И еще мне кажется, что я искал это в глазах отца. Нашел ли?

Когда черная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет, рухнул на диванчик и уснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, — все мы ютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встает передо мной. А где-то далеко слышится звон — бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьет по своей наковальне. Хоть бы дядя пошел на звук — и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но еще долю секунды слышал угасающее эхо далекого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.

Перед уходом я напомнил дяде о своем предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память — или хотя бы на время — карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.

— Да-да, конечно, — пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок и, крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

— Простите меня, — сипло произнес я. — Простите. Пусть... останется у вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд — тот самый взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю еще раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашел в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне — и сообщал, что возвращается на север.

«Здоровье... а что с него толку, коли сижу в этой коробке — и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу».

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.

Кроме него, в конверте ничего не было.

## ДУРАКИ

Снится мне детство.

Снится Вовка. Вовка по малолетству был непоседой, ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. Он все время где-то бегал, дразнил каких-то собак, таскал за хвост каких-то кошек, бил какие-то стекла, пел какие-то песни и лепил из пластилина каких-то дураков. Это были не то человечки, не то зверушки — пучеглазые и весьма милые. Выражение глаз у них было форменно дурацкое, этим они и заслужили себе прозвище. Дураков Вовка рассаживал вокруг дома: в кустах, под лавками, в ветвях старого дуба. Некоторым из дураков — примелькавшимся — Вовка устраивал публичные казни: лез на крышу сарая в солнечный день, ставил неугодную фигурку на солнцепек, и та таяла, расплзалась и превращалась в непонятного цвета пластилиновую лепешку. Вечером, когда становилось прохладно, Вовка эту лепешку с шифера соскребал, скатывал в шарик, добавлял еще пару и лепил нового дурака. Такой вот выходил круговорот.

Вовкина мама, добрейшая женщина, в сыне видела талант вселенского масштаба и ухитрялась стягивать дураков с эшафота, если Вовки не было рядом. Она становилась на лавку у сарая, снимала несчастного, шла в дом и прятала его в коробку в своем бездонном шкафу. Вскорости дураков в коробке накопилось с дюжину. Вовке она ничего не говорила, а потому тот решал, что кому-то удастся сбежать, объявлял беглецов в розыск и тратил ближайший день на исследование окрестностей. Окрестности вздыхали облегченно — целый день без разбитых окон.

Когда Вовке стукнуло двадцать, мать торжественно вручила ему коробку со спасенными дураками. Вовка был счастлив безмерно, потому что детство, как и все мы, очень любил и любой ниточке, связывающей настоящее с тем сладким временем, был рад.

Снится мне, что я иду по тропинке вдоль железной дороги, а вокруг меня прыгает Вовка, кружит, забегает вперед, торопит и повизгивает:

— Ну, давай шевелись, дурак! Шевелись!

Я понимаю, что сплю, но, ссутулив плечи, продолжаю идти. Солнце светит в затылок, и от ступней моих вперед тянется длинная тощая тень, неуклюже дергающаяся в такт ходьбе. Вовка, суетясь, топчется по моей тени, и мне от этого неприятно, хочется подобрать ее, перекинуть через плечо и брести так, не давая пачкать ее пыльными сандалиями.

— Не шали, Вовка, — отвечаю. — Я не дурак. Дураки у тебя под кустами прячутся.

Хотел еще сказать про коробку, но вспомнил, что этому Вовке еще рано знать о тайнике. Пусть ждет до двадцати.

Краешек моего сознания вздрагивает от фразы «под кустами прячутся», мне становится жутко — они ведь не прячутся, Вовка сам их туда рассаживал.

Вовка, забежав порядочно вперед, что-то выкрикивает мне в ответ, что-то резкое, может быть, обидное, но я ничего не слышу, потому как внезапно из-за правого моего плеча вылетает оглушительно грохочущий поезд.

Меня во сне ничем не удивить, я останавливаюсь и начинаю подпрыгивать на месте, махать несущемуся составу руками, радостно что-то кричать, вагоны мелькают стремительно, я не вижу даже пробелов между ними. Начинаю часто-часто моргать, чтобы вместо кино смотреть диафильм. В одном из бесчисленных окон выхватываю взглядом знакомое лицо. Я поворачиваю голову и не вижу на тропинке Вовки, вокруг меня — никого. Оглядываюсь и понимаю, что лицо в вагоне — Вовкино, это он там, подлец эдакий. Запрыгнул-таки.

Поезд так же резко, как появился, превращается в уползающую вдаль гусеницу, шум пропадает, я машу вслед Вовке, выпрыгиваю на шпалы, продолжаю махать, поезд уже едва виден — козявка какая-то у горизонта. В небе по одной начинают появляться звезды, но свет за моей спиной не тускнеет. Я замечаю что-то между шпалами, наклоняюсь и поднимаю одного из Вовкиных дураков, того самого, что он мне подарил как-то в пьяном угаре лет пять назад. У дурака добрые глупые глаза, он непонятно какого цвета, и ручки его крохотные растопырены в стороны, будто для объятий. Кладу дурака в карман и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на солнце, которое не меркнет.

Просыпаюсь. Просыпаюсь и вижу яркий свет. На меня мгновенно обрушивается шквал голосов, звуков и запахов, я зажмуриваюсь, моргаю и понимаю, что какой-то умник светит мне в лицо фонарем.

Отталкиваю его руку.

— Ты чего разлегся? Проехать дай! — скрипит обладатель фонаря.

Я, страшивая остатки сна, оглядываюсь и понимаю, что за время небытия сполз в кресле — хорошо, на пол не свалился — и длинные мои ноги перегородили проход между рядами. Я в зале ожидания, вокруг полно народу, и подобные фривольности недопустимы. Надо мной стоит косматый старик и светит на меня здоровенным пластмассовым фонарем. На старике какие-то лохмотья, куртки, пиджаки, рубашки.

«Сто одежек, и все без застежек», — думаю я и подтягиваюсь в кресле, поджимая ноги. Старик признательно козыряет мне грязной ладонью, опускает фонарь куда-то за пазуху и мелкими смешными шажками, почти не отрывая подошв от пола, начинает шаркать между креслами.

Смотрю вслед. На ногах у него замызганные сапоги, в которые заправлены костюмные брюки в мелкую полоску.

Старик, не останавливаясь, оборачивается и еще раз коротко козыряет мне через плечо. Киваю в ответ. Он улыбается и продолжает свое шествие по залу, задевая людей и лежащие на полу сумки. Вскоре он скрывается за колонной, и я теряю его из виду.

Я окончательно просыпаюсь. Все тело замлело и ноет, а кроме того, я порядком вспотел, и от этого мне неудобно. На коленях у меня жиденький рюкзачок, постукиваю по нему ладонью, убеждаясь, что он за время моего сна не опустел совсем.

До поезда еще полчаса. Терпеть не могу ждать.

В кресле напротив расположился толстяк в шляпе. Поднимаю на него глаза и вздрагиваю. Толстяк спит, запрокинув голову (как только шляпа держится?), толстые ладони сплетены на саквояжике, рот широко открыт. По щеке, приближаясь к пышным седым усам, пробирается жирная черная муха. Замирает, делает пару мушых своих шажков и снова замирает, словно боясь разбудить.

Я брезглив. Если бы по мне спящему — да даже если и по мне мертвому — ползла муха, я бы хотел, чтобы ее смахнули.

Муха двигается к усам толстяка, а всем вокруг плевать, и никто этого не замечает. Рядом с усачом сидит, насупившись, его жена — тучная дама неприветливого вида — и читает что-то пестрое.

— Простите, — говорю я ей.

Не слышит.

— Я прошу прощения.

Дама медленно поднимает глаза.

Показываю пальцем на толстяка. Муха уже уперлась в ус и робко трогает его лапкой.

Дама, хмурясь, медленно поворачивает голову, медленно кривит губы и тыльной стороной ладони шлепает супруга по щеке. Муха взмывает, а толстяк вздрагивает,

распахивает веки и смотрит на жену с таким непониманием, что мне его становится жалко.

Жена уже продолжает чтение, не обращая никакого внимания на мужа, ни на меня. Толстяк что-то бормочет в усы и выуживает из саквояжика пачку сигарет. Хлопает по карманам и, поняв, что чего-то в них недостает, толстым указательным пальцем осторожно касается плеча благоверной. Та, не отрываясь от журнала, выдергивает откуда-то длинную сияющую зажигалку и сует мужу. Муж благодарно крикает, поднимается и семенит к выходу на перрон.

Меня опять клонит в сон. Чтобы не проспать, решаю оставшееся время провести на воздухе. Медленно встаю, накидываю на плечо рюкзак и иду вслед за толстяком.

На перроне гуляет ветер, стучит вдалеке стройка, по небу перекачивается пух облаков. Ох, как же хорошо дышать.

Справа, у самых путей, топчется толстяк. Он судорожно тянет дым в себя и судорожно же выплевывает наружу. Ловит мой взгляд и смущенно отворачивается.

Я прохожу вперед, к лавкам, воткнутым в самую середину перрона. Людей вокруг — раз-два и обчелся.

Сажусь на холодную лавку и раскрываю рюкзак. Вещей по минимуму, сверху устроились книга и завернутый в бумагу Вовкин дурак.

Достаю книгу, пытаюсь читать, но мешает ветер — хватается за страницы, дергает, мнет. Ветру невдомек, что человек, по слову Бродского, есть продукт чтения, ему не объяснишь, что рвать порядочные издания — нехорошо.

Уступаю.

Откладываю книгу и достаю дурака. Разворачиваю, смотрю в добрые его глаза. Воспоминания обрушиваются с грохотом, сливаются с приснившимся, кружат в вихре. Ветер треплет воспоминания, как трепал страницы, вьет из них узоры, разворачивает перед моими глазами причудливую вязь.

Помню, Вовка дернулся резко, встал из-за стола, чуть не повалив его. Сунул руки в шкаф по локоть, что-то схватил, протянул мне.

— Держи. Дарю.

В ладони у него — один из дураков, смотрит на меня, ручки в стороны разводит.

Я, помню, усмехнулся.

— На кой он мне?

— Обижает.

Что я, Вовку не знаю? Как напьется, бывало, раздаривает дураков. Я и взял.

Вовка тогда пил без продыху. Жена ушла, с работой не складывалось, вот и повелю. Стал друзей звать — что ни вечер, полна горница народу. А потом и друзья приходиться перестали — не из презрения, а просто так, как-то само собой все расплодилось, позабыли друг друга. Теперь вот снова соберемся. Да.

— Что за дурак? — вырывает меня из объятий памяти скрипучий голос.

Смотрю — тот самый дед, что в меня фонарем светил. Стоит, смотрит заинтересованно, пятерней бороду чешет.

— Да так, — говорю, — подарили. А чего дурак-то?

Дед фыркает.

— А то я дурака не узнаю? Вон, — тычет пальцем, — глаза глупые какие.

Пауза.

— А добрые, — говорит.

— Ага, — киваю. И начинаю дурака в бумагу заворачивать.

Но у деда другие планы.

— Подари.

— Не могу, — вздыхаю я и заталкиваю сверток в рюкзак.

- Жлоб? — интересуется дед.
- Жлоб, — улыбаюсь. — Самому подарили, говорю же.
- Ну и ладно.

И смотрит обиженно.

А сам — ни с места. Я смотрю вдаль, мне неловко. Даль ясная, солнечная, там птицы поют, деревья шумят.

- А на фонарь поменяешь? — начинает снова.
- Извините, — говорю, — не могу. Подарок друга.
- А друг хороший?
- Хороший.
- Ну и ладно тогда. Фонарь всяко нужнее.
- Согласен.

Дед замолкает и тоже смотрит вдаль.

- Ты кем служишь? — спрашивает.
- Журналистом.
- Ну и дурак.

Молчу. И дед замолкает. Потом садится рядом со мной вполоборота, придвигается и заговорщически шепчет:

- А я — машинист.

Какой забавный старик.

- Машинист? — переспрашиваю.
- Точно, — козыряет грязной ладонью. — Сейчас постою с тобой чутка и дальше поеду.

И машет вдаль.

- А куда поедете?
- Как куда? — удивляется. — Знамо дело, за гроб.

Вздыхаю.

- Понятно, — говорю.

Все понятно. Больше и пояснять ничего не надо. Но почему-то спрашиваю:

- А поезд где?
- Хех, — усмехается. — Слепой ты, что ли?

И кивает себе за спину.

За спиной у него опустевший перрон, даже толстяка не видать. Вокзал смотрит важно, под самой крышей у него красуется: «1902».

- О, — говорю, — точно. И как это я не заметил такого поезда?
- Это потому, что ты невнимательный и поверхностный.

Точнее некуда. Может, вернуться в зал ожидания? Там можно выпить кофе, можно выбрать газету. Но почему-то продолжаю задавать вопросы:

- А что везете?

Дед оглядывается. Задумывается.

— Так-то много чего. Все мое, — кивает так, словно я его заподозрил в краже. — Жизнь, она, брат, во какая длинная, всего понабрал, — разводит руки. — А в основном — грехи.

Сколько еще ждать? Еще приложит чем-нибудь — тем же фонарем. Сажусь вполоборота, чтобы быть начеку, смотрю старику в глаза.

- Ну, чего ты так смотришь? Легко, думаешь?
- Не думаю, — отвечаю.
- Вот видно, что не думаешь. Как зерно возят, видал?
- Видал.
- Вот. А я так грехи везу.

— А чего, — говорю, — вы их везете? Бросьте — и налегке.

Дед вдруг захохотал, прямо-таки затрясся от смеха. Смеялся долго, запрокинув голову и демонстрируя полный набор желтых квадратных зубов. Потом долго не мог отдышаться.

— Как же я вагоны отцеплю? Мог бы — понятно, давно уже бросил бы. Да только тут не моя воля.

— А чья?

Старик делает серьезное лицо и многозначительно поднимает к небу указательный палец.

Я молчу. А потом опять спрашиваю. Что ж такое со мной сегодня?

— А ваша воля где?

— А моя воля была, когда копил. Копил-копил, а вот теперь приходится всю эту дрянь на себе волочить.

— А что, — говорю, — тяжело волочить-то?

— Ну, ты деревня, — фыркает. — Знамо дело, тяжело! Знамо дело, тяжело! — Взгляд его вдруг становится серьезным. — Но что уж тут.

Слева слышится грохот. Он нарастает, наваливается на перрон — и перед нами возникает поезд. Мой. Подполз, раззявил двери — на перрон посыпался народ.

Пора. Встаю. И старик встает.

— Подари дурака.

— Ох, отец, — говорю, — дался он тебе.

— Дался, — говорит. — Глаза больно добрые.

Ну вот, а почему, собственно, и нет? Вовке он все равно ни к чему, а у доброй Вовкиной матери наверняка один-два в коробке запрятаны.

Достаю сверток, протягиваю.

Дед аж заискрился, борода расплзлась в разные стороны, только что не заплакал от радости.

— Спа-си-бо, — берет дурака и прячет за пазуху. — Хороший ты малый. Только глупый. Бог в помощь.

— И вам не хворать, — говорю.

Старик поворачивается спиной и принимается шаркать по перрону.

Я подтягиваюсь к вагону, вручаю проводнице билет. Она смотрит в спину шаркающему машинисту и говорит мне доброжелательно:

— Это машинист, что ли? Вы не обращайтесь внимания... Он тут ко всем пристаёт.

Старик, словно услышав ее, оборачивается:

— Журналист!

Поднимаю руку.

— Во всех грехах раскаяться можно! Кроме одного! — козыряет и удаляется.

Остаюсь стоять с поднятой рукой.

— Да ничего, — говорю я проводнице.

Она пожимает плечами и возвращает билет:

— Десятое место.

— Спасибо.

Прохожу по вагону, задевая рюкзаком шторы. У одного окна останавливаюсь, вижу, как по перрону бредет куда-то прочь от вокзала мой старик. В руке фонарь. Бледное, едва заметное пятно света скользит по заплыванному асфальту.

Захожу в купе — пустое. Опускаюсь на полку, заталкиваю под голову рюкзак. И не дожидаясь, пока поезд тронется, засыпаю.

Снится мне Вовка. Вовка часто мне снится.

Он сидит у железной дороги на валуне, в руках у него пластилин. Подхожу, сажусь рядом — на траву.

- Дураков лепишь?
- Дураков.
- Ну, лепи, дело неплохое.

Вовка пыхтит, старается, но пластилин слишком мягкий, слишком податливый, так нельзя. Вовка весь раскраснелся, ерзает. Я вижу, что по его щеке ползет черная муха.

- Вовк.
- Не мешай.
- По тебе муха ползет.
- Пускай.

Никаких «пускай». Легонько хлопаю Вовку по щеке. Он вскакивает.

- Ты чего дерешься?! Отдавай дурака!
- Вовк, я муху согнал.
- Все равно отдавай!

Я унижаться не намерен, хлопаю по карманам. Вспоминаю, что дурака у меня нет.

- Нет у меня твоего дурака, Вовк.
- Куда дел?
- Старику отдал.
- А и ладно, — Вовка садится на камень и продолжает возиться с пластилином. —

Я еще налеплю.

Сижу и смотрю. Пальцы у Вовки ловкие, все перепачканы, под ногтями глубоко черно.

- Ты обиделся, что ли? — спрашиваю.
- На что?
- Ну, за дурака. Что я его отдал.
- Нет, — отвечает Вовка, и я вижу, что там, где была на его щеке муха, блестит слеза.
- Я ж его тебе вез. Правда. Да уж больно старик чудной.
- Понял, — сухо отвечает Вовка.

Сидим молча. За моей спиной закат. Над Вовкиной макушкой небо густо-оранжевое. Вокруг — сухое и желтое поле.

- Вовк, — решаюсь я наконец.
- Что?
- А ты зачем?
- Что зачем?
- Самоубился зачем?

Вовка поднимает глаза. Пару секунд смотрит молча. Потом открывает рот и начинает быстро-быстро что-то говорить, еле сдерживая слезы.

Но в этот самый момент справа возникает поезд, он несется, ревет, гремит, я не слышу ни единого Вовкиного слова. Воздух пропитывается каким-то смрадом — невозможно дышать; над рельсами мелькают один за другим серые грузовые вагоны. Вонь идет от них.

Я смотрю на Вовку, он что-то тараторит, но ничего не разобрать — слишком громыкает.

Поезд исчезает вдаль, я просыпаюсь.

Полка мягко покачивается, колеса уверенно выстукивают свой несложный ритм. Мимо закрытых дверей проплывают шаги — удаляются, исчезают.

---

---

Надя ДЕЛАЛАНД

## РАССКАЗЫ

### КОЕ-ЧТО

#### 1.

Он по-пингвиньи оттопырил руки, вспорхнул на низенькую шаткую ограду и даже сделал несколько продольных шагов — ему хотелось быть с ней юным сорванцом. Так он себя и чувствовал. Солнце затопило колодец двора, и сиренево-розовато-серые голуби, несмотря на громоздкость прилагательного, определяющего их цвет, легко скользили в пыльных лучах, то усаживаясь нотами на провода, то спускаясь к черепаховому люку, на котором с миром покоился внушительных размеров кусок черствого позеленевшего хлеба.

Она улыбалась. Или это закатное солнце со всем воздушным подводным искрящимся августом проникало внутрь нее и озаряло изнутри.

— А! — коротко с кнаклаутом выдохнул он, спрыгивая с опасно покосившейся от его спортивного азарта оградки на лысый участок усыхающего цветника. — Я хочу провести вас двором, где растет *то* дерево.

Они свернули в новый проулок, а выделенное голосом *то* так и осталось радостно раскачиваться воздушным шариком объединяющей их тайны.

Он взял ее за руку — слегка влажную, теплую, доверчивую — и, как написали бы в женском романе, «ошутил волну желания». Но он не читал женских романов, поэтому стал просто ласково перебирать ее пальчики, гладить ноготки. И когда сердце совсем уже бешено заколотилось, а они поравнялись с внезапной архитектурной пещерой, он остановился, развернул ее к себе, убрал налетевшие волосы с ее улыбающегося, чуть побледневшего лица и неловко нежно поцеловал. Приступ счастья остановил на память сердце, дыхание, звуки машин и листьев, летящих голубей и читающую на скамейке беременную женщину в алом палантине. Когда все снова было запущено, они оба повернулись к тому — тому самому — дереву и молча наблюдали его свет и трепет.

Это было тогда. Давно. А теперь он стоял в прихожей, сжав до белых пальцев телефонную трубку, и чувствовал, как внутри него опускается прозрачный лифт с только что услышанным. Ему хотелось положить трубку на тумбочку и отойти, но рука словно приклеилась к телу, и ноги не планировали сдвинуться с места, а, наоборот, пускали корни в темноту охватившего его оцепенения.

---

Надя Делаланд — кандидат филологических наук, преподавала в Южном федеральном университете, окончила докторантуру Санкт-Петербургского госуниверситета. Работает в отделе интеллектуальной прозы издательства «Эксмо» и арт-терапевтом в психиатрической клинике «Преображение». Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Новая юность», «Литературная учеба», «Вопросы литературы» и др. Стихи переведены на итальянский, испанский, немецкий, эстонский и армянский языки. Родилась в Ростове-на-Дону, живет в Москве.

## 2.

Она открыла большим неповоротливым ключом верхний замок, а вот нижний заперся, только если она надолго куда-то уезжала. Последний раз — год назад в горы (и еще в озера и немного в лес).

Маленький бесполезный ключик от нижнего замка жалобно звякнул, когда она положила всю связку красивым машинальным движением на ротонду.

В сумрачном зеркале прихожей маслянисто и дымчато скользнуло ее отражение. Она завернула на кухню, нажала на моментально покрасневшую клавишу электрического чайника и проплыла в комнату, снимая через голову тихо-салатное платье. Легкий золотой крестик из Иерусалима подался было вместе с платьем вверх, но потом ловко выскользнул и лег в блаженную грудную выемку.

В это время я как раз поднималась по лестнице, разговаривая с национализированной жителями подъезда кошкой Яшей. Яша семенила рядом, иногда немного меня обгоняя, потому что знала дорогу и нетерпение, и отвечала серьезным и искренним мямр на мои глупые сюсюкающие подначки. Кажется, я изумляла ее своим скудоумием, но в ней было довольно кротости и доброты, чтобы повторять мне одно и то же — одно и то же — на разные лады. Последний пролет мы миновали молча — между нами установилась та незамутненная ясность, которая случается между добрыми друзьями после рюмки-другой. Мы обе знали, что прелюдия к порезанной кубиками «Докторской» колбасе и крышечке молока исполнена, и со спокойной радостью входили в фугу.

## 3.

Когда он вышел из подъезда и остановился передохнуть, тяжелая входная дверь все еще медленно и страшно закрывалась. Он затылком чувствовал ее обратный зевок, отнимающий у него что-то важное. Дверь глухо цокнула.

Внезапно стемнело, и рухнул дождь. Они рассеянно топтались друг перед другом — дождь мелко вытанцовывал шотландский народный танец, иногда против правил заступая за козырек подъезда, а он просто переминался с ноги на ногу, не решаясь ни вернуться домой, ни шагнуть под воду. Так мы их и оставим минут на десять, не меньше.

## 4.

Она же продолжала свой путь во вчерашнем дне, прислушиваясь к моему гулкому голосу на лестничной клетке и эху Яшиного припева. Ей казалось, что стены пропускают теперь не только звук, но сделались проницаемы для всякой вещи и больше не защищают.

Натянув домашнее трикотажное платье, она вернулась на кухню и плеснула незакипевшей воды в кружку с утренним зеленым чаем. Весь этот год прошел так, словно бы время остановилось и внутри нее выключили свет. Воспоминания были ярче реальности, они смещали ее в область неважного, замещали собой.

Она пыталась сформулировать то, что с ней происходило, но не знала ни аналогов в своем опыте, ни слов в вокабуляре. Ее окружал Солярис внутри и снаружи, она погружалась в себя и тонула там. Было стыдно сходить с ума, хотелось прекратить это безобразие, но оно умело прекратиться только вместе с ней. Она вспомнила, до какой степени точно в романе Лема описана зависимость Хари от Криса, чей мозг по-

родил ее от океана. Когда надо крепко сжимать подлокотники кресла, чтобы не броситься вслед за любимым. Когда, кажется, прорвешь все металлические двери, только чтобы оказаться рядом.

Как так вышло с ней? Она не знала. Когда она увидела его, ничто ей не подсказало, что он для нее значит. Но он постепенно проступал внутри, пока не стало ясно, что он был там всегда. Просто раньше она не знала, как его зовут, а теперь знает.

Этому всему, превосходящему ее и ее понимание, оказалось совершенно невозможно сопротивляться. Вот есть ли у ворот гаража возможности противостоять нажиму электронного ключа? Они просто поднимаются, так они запрограммированы. Разве только сломать их...

Уже год она не виделась с ним. Было нельзя, невозможно. Он попросил ее об этом — не звонить, не писать. В воображении она выстроила много стройных и абсурдных теорий, объясняющих его внезапное решение порвать с ней, но все они по отдельности и скопом не помогли ей перестать думать о нем каждую секунду, он был постоянным фоном всего, что с ней происходило. Она столько всего перепробовала: и ходила на холотропное дыхание, и на всякие психологические практики, якобы позволяющие отпустить и справиться, и плакалась подружкам, исповедовалась и причащалась в храме. Иногда казалось, что прошло, помогло, рассосалось. Ан нет, и с новой силой все начиналось опять, делая ее беспомощной и беззащитной.

## 5.

Яша вежливо доела последний кусочек, отсела в сторонку и принялась обстоятельно и где-то слегка остервенело умыться. Я всегда запускала ее в квартиру, чтобы она могла побыть здесь столько, сколько ей хочется, а потом выпускала. Но не разрешала себе считать ее своей — в моем возрасте уже нельзя позволить себе роскоши, чтобы кто-то зависел от тебя. К сожалению.

Вдруг Яша перестала тереть щеку и, не опуская лапы, удивилась левым ухом, а потом и правым, а потом сорвалась с места, бездонно заглянула мне в глаза, подбежала к двери, снова метнулась ко мне и снова к двери, уткнулась носом в предполагаемую щель и страшно зарычала.

Это было так неестественно, что мне понадобилось несколько секунд, чтобы немного прийти в рассудок, сделать пару нетвердых шагов, протянуть руку к замку. И в этот момент я услышала звук падающего предмета — что-то тяжелое рухнуло на пол в квартире над нами, я уже открывала, уже выходила... Яша выскочила, понеслась по лестнице вверх, и скоро я ее уже не видела, но когда, задыхаясь от космических перегрузок собственного веса, добрела до одиннадцатого этажа, нашла у двери Лиды. Лида, Лида, милая девочка, женщина, она всегда приветливо здоровалась и сразу же отводила взгляд. Пожалуй, мы говорили с ней толком всего раз за семнадцатилетний стаж сосуществования в одном доме. Год назад. Она уезжала куда-то отдыхать и попросила меня поливать цветы. Мы зашли к ней домой, она все показала, объяснила, а потом мы сели пить чай, и она неожиданно откровенно рассказала мне о том, что влюблена.

## 6.

Дождь понемногу слабел, забывался. Уже можно было выйти под него и, шатаясь от долгого ожидания, одолеть двор. Скрюченные длинные мысли волочились за ним по пыльному асфальту, подскакивая на неровностях. Иногда он заглядывал в их мерт-

вые лица, но сразу отворачивался, стараясь наполниться любой подробностью размываемого вертикальным пунктиром города.

В детстве ему сложно было поверить, что вообще возможно пройти обратно той же дорогой, что и туда. А тем более в разное время одной и той же. Было совершенно очевидно, что в считанные минуты, стоит только отвернуться, ландшафт полностью меняется: вырастают новые дома, старые радикально меняют цвет и пропорции, все дышит — растет и уменьшается. В этой оптической нестабильности приходилось полагаться на запахи, звуки и сложно осознаваемую способность помнить ногами. Было непонятно, как справляются с этим остальные. Допустить, что бывает иначе, в голову как-то не приходило. С возрастом это немного сгладилось, к тому же он научился придавать значение мелким приметам вроде свисающего со второго справа балкона куска желтого пластика. Пластик оказывался позже розовым, но угол, под которым он пытался упасть, все еще сохранялся и спасал. Но даже теперь иногда, когда он шел по улице и нечаянно оборачивался, ему казалось, что хитрые белки предметов запоздало отскакивают на прежние места, пойманные с поличным.

## 7.

Лида почувствовала страх и жар в солнечном сплетении. Она попыталась поменять позу, вздохнуть, но стало больно. Где-то в воображении возникла и поплыла к ней сияющая огненная планета, в которую нужно было просто шагнуть. Страх сменила радость. Не понимая, что происходит, Лида мысленно повторяла: «Ну наконец-то! Наконец-то!» Она встала навстречу приближающемуся шару, бросающему ей на лицо и грудь отблески, и ноги у нее подкосились. Падая, она смахнула со стола кружку с нежной пасторалью и особенно внимательно на прощание рассмотрела кроткие лепестки стилизованных ромашек и юную руку — о, уже отколовшейся девушки.

## 8.

Он пытался вспомнить вчерашний день, но не мог нащупать точку отсчета — хоть какое-нибудь событие. Нет. Провал. Он попробовал зайти с черного хода позавчерашней встречи с сыном — последнее, что он отчетливо помнил. Нет. Вчерашний день ускользал, выворачивался, его словно бы и не было. «Это старость, — привычно подумал он. — Это старость и смерть».

## 9.

Я позвонила в дверь, прислушалась, постучала. Где-то в глубине квартиры мне почудились движение и тихий стон. Ни на что не надеясь, я нажала на дверную ручку и потянула на себя. Дверь легко отворилась. Яша мышью прошмыгнула напрямик на кухню. Уже из прихожей было видно, что на полу в неестественной позе лежит Лида. Сняв со стены трубку радиотелефона и подходя к Лиде, я набрала номер «Скорой». Линия была занята. Поставив на автодозвон, я попыталась оценить ситуацию — Лида тяжело дышала и была без сознания, никаких видимых повреждений на ее теле я не заметила. Как оказать ей первую помощь, не представляла. Яша внимательно и сосредоточенно обнюхивала ножку стола. Было видно, что она совершенно перестала волноваться и просто осматривается на новом месте.

## 10.

Лида чувствовала, что кто-то вошел в квартиру, потом ощутила, как ее погрузили на носилки. Иногда ей удавалось приоткрыть глаза — совсем немного, но сквозь щелочки она видела, что ее спускают вниз, грузят в карету «скорой помощи», везут, видела, как покачивается капельница в такт поворотам и остановкам, как беспрерывно тошнотворно подрагивает в ней прозрачная жидкость. Звуки расходились гулким эхо, неуловимой и невнятной радугой, она вроде бы слышала слова, но не понимала их. Потом ее оставили в коридоре больницы, и она бесконечно долго лежала там на приятном сквозняке. Никто не обращал на нее внимания. Постепенно она почувствовала, что к ней возвращаются силы. Не открывая глаз, она приподнялась и села. Голова не кружилась, кажется, все совсем прошло. Лида открыла глаза и обнаружила себя в пустом больничном коридоре. Она встала, ощутив ступнями прохладный кафельный пол. Да, в самом деле, все было в порядке. Она прошла по коридору, надеясь увидеть кого-нибудь из персонала, но никого не встретила. Тогда она вышла на улицу. Подполковник в отставке, коротающий себя на вахте, прихлебывая одноразовый чай из жестяной кружки, мельком глянул на нее, но ничего не сказал. Вечерело. Лида была в своем домашнем салатном платье, вполне пригодном для того, чтобы пройти по улице, не обратив на себя внимания, но босиком. Наверное, было бы правильнее вернуться, дожидаться хоть кого-нибудь, но ей невыносимо захотелось уйти. Да и чего ждать? Чувствует она себя отлично. Про нее, скорее всего, забыли. Вообще, она старалась по возможности никогда не задерживаться в больницах. Она пошла по остывающему грубому асфальту, испытывая обновленное наслаждение от движения, от воздуха, от того, что все обошлось и она живая.

Лида поняла, что идет не домой, а к дереву — тому, у которого они стояли год назад. Ноги сами привели ее. Было уже совсем темно, но дерево немного светилось серебристой изнанкой листьев. Она села на искаленную лавочку рядом и стала просто смотреть.

Он подошел неслышно и присел на краешек лавочки. Она почти не удивилась. Некоторое время они сидели молча. У нее было столько вопросов к нему, что они погибли под своим весом.

— Почему ты босиком? — спросил он. Он говорил медленно и тихо, как будто преодолевая плотность среды. Так бывает во сне и под водой с движением. Убежденная совершенным им усилием в его доброй воле, она придвинулась к нему ближе. Все, что было нельзя, в одно мгновение сделалось можно.

— Я сбежала из больницы. Меня привезли туда по «скорой», никто не мог позаботиться обо всем, тем более о босоножках... Мы так давно не виделись. Почему?

Он наклонил голову, немного пожевал губами приготовленный ответ. Она знала, что он скажет, но это не было ответом на ее вопрос.

— Я быстро старюсь, я старик...

Лида видела, что это так. Он действительно сильно сдал за этот год, но сделался еще симпатичнее. Она необыкновенно остро почувствовала, что никакие изменения, никакие открывшиеся факты не могут испортить ее отношения к нему. Они сидели рядом, и она слушала распускающуюся внутри тишину, ощущала открытость и защищенность. Только здесь ей и надо было находиться, не было никакого другого места на Земле, другого такого же правильного.

Она легко погладила его безответную руку в профиль и услышала:

— Я провожу тебя, уже поздно.

Они шли по темным улицам, держась за руки, как тогда, давно, никогда. Она не приглашала его словами, но было ясно, что они поднимутся к ней вместе. Надо было зайти к соседке, у которой был запасной ключ от ее квартиры. Лида нажала квадратную кнопку звонка и почти сразу услышала синкопу открывающегося замка. Старушка Анна Семеновна, которая жила под ней, открыла дверь и широко отступила. На ней были оранжевая майка с шестикрылой стрекозой, напоминающей витрувианского человека Леонардо да Винчи, и черные лосины.

— Лида, дорогая, — растерянно произнесла Анна Семеновна, — как ты? Как ты себя чувствуешь? — Она смотрела на Лиду заботливо и подчеркнуто не обращала внимания на ее спутника.

— Анна Семеновна, спасибо, все в порядке. Хорошо. Вот удрала из тюряги босиком, — Лида весело кивнула на свои ноги. Завтра позвоню им, что все нормально. Там не дожدهшься ж никого. Можно у вас мой ключ попросить, а то меня так увезли...

— Конечно-конечно, Лидочка, — Анна Семеновна засуетилась и принесла ключ. Вот. Я сама сегодня заперла дверь.

— Хорошо, Анна Семеновна, спасибо вам. Мы пойдем!

— Спокойной ночи, Лидочка.

Все это время он молча стоял рядом, а потом послушно, как тень, двинулся за ней на следующий этаж.

В квартире было темно, только из окна на кухне наивно и деловито светил уличный фонарь.

Вдруг какая-то вещь, забытая на стуле, заворочалась и мягко спрыгнула на пол. Лида улыбнулась.

— Это Яша! Ты здесь как?.. Яша-Яша, — позвала она другим специальным голосом. Открыла холодильник, достала оттуда вчерашнюю курицу, угостила кошку. Яша не побрезговала. Лида налила и поставила ей воду, повернулась к нему.

— Я бы тоже чего-нибудь съел.

Лида засмеялась и достала из холодильника сыр, абрикосы, пакет клюквенного морса и красное полусухое. На столе лежал немного подсохший лаваш, все пригодилось.

Потом они лежали в темноте на неразложенном диване, она чувствовала обнаженной кожей сухие крошки и посеянную три дня тому флешку под левой лопаткой, а всем телом — тесноту, но встать и перейти на кровать в спальню было слабо. Она прислушивалась к его дыханию, не специально подстраивалась, совпадала, соскальзывала в сон, но тут же выныривала и снова слушала, как он дышит. Было ли когда-нибудь по-другому? Всегда было так.

Острый приступ счастья перешел в хроник, она улыбалась в темноте с закрытыми глазами и выглядела со стороны внутриутробным существом, плавающим в окоплодных водах ночного воздуха.

## 11.

Утром она тщетно пыталась дозвониться в больницу, из которой удрала. Но все равно, наверное, по-хорошему нужно было бы туда подъехать. Не завтракая, они собрались и вышли. Яша решила тоже прогуляться. Погода испортилась, было понятно, что сегодня будет гроза. У подъезда им снова встретилась Анна Семеновна. Они поздоровались, но Лиду на этот раз немного задело то, что соседка упорно игнорирует ее спутника.

— Яша сегодня ночевала у нас, — сказала Лида весело.

— Да-да, я не смогла ее выманить из квартиры, она затаилась где-то, — улыбнулась Анна Семеновна. — Видимо, решила, что надо охранять.

— О, у нее прекрасная сигнализация! Стоит только слегка до нее дотронуться. Тебе не мешало, как она мурлыкала? — спросила Лида у него, чтобы как-то ввести его в зону внимания.

Анна Семеновна глупо помаргивала. Она по-прежнему смотрела только на Лиду.

— Мне помогало, — сказал он.

Лида засмеялась.

— Колыбельная?

— Кошки ужасно уютные, — сказала Анна Семеновна. — Береги себя, Лидочка.

И она пошла к подъезду, сильно припадая на левую ногу.

Лида заглянула ему в грустные глаза.

— Иосиф, — сказала Лида, — Иосиф.

## 12.

Конечно, он любил ее. В таком возрасте все как-то иначе — острее, жалобнее, трагичнее. На грани исчезновения, в последний раз. Как падающий с обрыва хватается за выступ, он пытался этой нечаянной любовью удержаться внутри вечно продолжающейся и такой мимолетной жизни.

Она ему казалась ребенком. Нежная, полупрозрачная, хрупкая. У нее еще все было впереди. Он старик — а она... а у нее... Он видел, что она нравится другим мужчинам. «Только полный идиот может не захотеть вас», — повторял он ей. Грязный безумный старик. Да что говорить? Он стремился просто побыть еще — еще немного. И да, он не планировал, даже не мог предположить, что она так крепко втрескается. С ужасом представил вдруг, что все может затянуться и перейти в отношения, в которых он успеет так одряхлеть, что станет ей в тягость. Будет ловить ее взгляд, наполненный жалостью, а вдруг — и отвращением... Нет-нет, этого он точно не мог бы вынести. Зато он мог исчезнуть, пока до этого еще не дошло. Так будет лучше всем. И он исчез. Написал ей, чтобы она забыла, жила дальше, чтобы не искала его. Затаился в себе, перетерпел. Было тяжело, неприятно, но, впрочем, если разобраться, то вполне выносимо. А иногда и вовсе хорошо. Он выходил на балкон, жмурился от утреннего солнца, вдыхал прохладный воздух, выкуривал первую сигарету. Затем одевался и отправлялся в маленькое кафе, где милая пышногрудая барышня в очаровательных веснушках с опущенными ресницами подавала ему кофе и теплый круассан. Вытирая со стола, она как бы невзначай задевала его рукавом, наклоняясь за чашкой, рыжим локоном касалась плеча, восхитительно краснела, и жизнь снова наполнялась смыслом, расцветала и обещала. Всем своим существом он приветствовал простые радости. Поэтому некоторое время спустя он пригласил барышню на ужин, она осталась у него и вполне оправдала ожидания, он был доволен, но сразу же утратил интерес к этому кафе и перебрался в небольшую пекарню с тремя стеклянными столиками и божественным яблочным штруделем.

Когда ему сообщили, что Лида попала в больницу, лежит без сознания, может умереть, он собирался в гости к своему старинному другу. Все кубарем вспомнилось и ошеломило силой и свежестью. Ему казалось, что это давно не так живо, забылось, поросло, сгнуло. Он долго стоял потрясенный не только новостью, но и своей реакцией.

## 13.

По дороге в больницу Лида и Иосиф завернули в какую-то забегаловку, оказавшуюся вполне уютной. Лида то щебетала, не сводя с него восхищенных глаз, то замолкала и задумывалась, расфокусировав зрачки и уставившись на растопыренные

в центре столика салфетки. Они заказали два кофе и сырники со сметаной и свежей малиной. Официант почему-то поставил заказ Иосифа не ему, а кому-то третьему, не сидящему напротив. Лида изумилась, одарила смуглого юношу испепеляющим взглядом и мгновенно сама переставила все как следует. Ей не хотелось отвлекаться от беседы.

— А-а-а, я поняла, — радостно захлеб говорила она, — ты испугался, что со мной ты потеряешь всех своих многочисленных любовниц. Но это не так — мы могли бы с тобой мирно дружить и не расставаться, а ты бы продолжал общение с ненасытной толпой.

— Да нет же, ты слишком хорошо обо мне думаешь... толпой... я не смог бы перетрахать такое количество.

— Ну... постепенно, не сразу... Глаза боятся, как говорится, а руки делают...

— А, ну руками мог бы, да.

Лида хохотала, Иосиф улыбался. Вдруг она погрузилась.

— Как ты мог так долго быть без меня? Ты меня не любишь? Ты совсем не скучал? Тебе не было меня жалко? — ее голос стал прозрачным от слез.

— Все не так. Просто я уже старый, мне семьдесят лет, — он долго и внимательно смотрел на нее, — просто меня уже нет.

— Гёте в восемьдесят сватался к Урсуле, и ничего...

— Все по-разному чувствуют себя... — он опустил глаза.

— Ты не любишь меня и не хочешь, — с детской прямоотой констатировала она. — Я расплачусь, мне надо разменять деньги.

Она подозвала официанта и попросила их рассчитать.

Лида вышла первой, ее волосы торжественно и победоносно развевались. Она не верила в то, что говорила.

#### 14.

Когда Лиду забрала «скорая», я подумала, что надо сообщить ее родным или друзьям. На кухонном столе лежал ее сотовый, я внимательно изучила список контактов, это были имена и фамилии с пометками, не наводившими ни на какие мысли о родстве или близости. Только один контакт был помечен звездочкой избранного. Я даже помнила это имя, оно звучало на том нашем единственном чаепитии. В контакте было два номера, я выбрала домашний и с домашнего же, не откладывая, набрала.

После второго гудка ответил пожилой спокойный голос.

— Здравствуйте, Иосиф, — сказала я, — это вас беспокоит соседка Лиды Анна Семеновна. Лиду только что по «скорой» забрали в больницу. Мне показалось правильным сообщить вам об этом.

— Господи... что случилось?

— Боюсь, что все довольно серьезно, она была без сознания, и врач сказала, что хорошо бы ее вообще довести...

— А в какую больницу? Хотя что я — тут одна... В какое отделение?

Голос был взволнованный.

Я не знала, в какое отделение.

— Думаю, там на месте определят. Возможно, в реанимацию. Вы не знаете, кому можно еще позвонить — родители, подруги?

— Нет, я не знаю. Спасибо!

— Да не за что.

В трубке послышались нервные гудки. Я еще раз придирчиво перечитала список, начиная с «аварийной службы» и заканчивая «я СПб», никем не прелестилась и оста-

вила телефон там, где и взяла. Надо было выпустить Яшу, она забилась куда-то наверх, когда приехала «скорая». Сначала я просто звала ее, обещая много вкусного. Потом, взгромоздившись на табуретку, я попыталась пошуровать там, но чуть не свалилась. Нет, и себе вызывать «скорую» мне сегодня уже не особенно хотелось. Ладно, в конце концов, пусть посидит здесь, завтра я ее выпущу, когда приду поливать цветы.

### 15.

Когда они пришли в больницу, их там долго мурыжили, посылали в разные кабинеты, но потом все-таки приняли Лиду, осмотрели, написали какое-то заключение и отправили с богом.

— Покажи-ка, — протянул Иосиф руку, — что там тебе написали.

Он бережно взял вдвое сложенный листок и пробежал глазами. Аккуратно свернул его и вернул Лиде.

— Иосиф, — сказала Лида, — можно я попрошу тебя о чем-то? Это очень важно для меня, а для тебя совсем не имеет никакого значения.

— Можно.

— Я помню, что ты хотел бы, чтобы после смерти ничего не было, но если там все-таки что-нибудь будет, постарайся подождать там меня.

— Ладно.

### 16.

Вернувшись домой, я обнаружила, что дверь бросила открытой — не настезь, а так, похлопывающей с небольшой амплитудой и ритмическими переборами. К старости я совсем перестала бояться, что кто-то может меня ограбить. Нет, когда я уходила, то по привычке запирала дверь, но могла бы и не делать этого. Во-первых, если бы кому-то внезапно пригодилось что-то из моих вещей, меня бы это только порадовало. Во-вторых, во мне крепло ясное осознание того, что ничего просто так не происходит. Осознание это было получено опытным путем на протяжении собственной уже практически прожитой жизни. И хотя со стороны у малознакомых людей и случались события, выглядящие кощунственно и несправедливо, моя собственная жизнь и жизни тех, кого я знала близко, являли собой пример замысла и воплощения либо какого-то тотального неповиновения законам физики.

После смерти мужа я переехала в наш маленький городок и жила по внутреннему распорядку. Просыпалась рано, как будто что-то ударяло меня в грудь. Читала утренние молитвы и две главы из Евангелия, съедала кусочек подсушенной просфоры и запивала глотком святой воды. Потом садилась работать. Часам к одиннадцати меня начинало клонить в сон, и я ложилась. Часа через два просыпалась снова, завтракала в обед и совершала всякие хозяйственные подвиги вроде уборки, мытья посуды, разглаживания горы белья, которая не переводилась, потому что стирала я часто. Вечером гуляла и снова садилась работать. Много и с удовольствием ела перед сном, потому что разрешила себе толстеть. И толстела.

### 17.

Иосиф сгорбившись сидел рядом с кушеткой, на которой лежала Лида. Она была подключена к каким-то приборам и капельницам, ее маленькое тело обвивали прозрачные трубочки и проводки. На экране что-то вспыхивало и гасло. Он смотрел на подрагивающие ресницы, на слепо перемещающиеся под веками глазные яблоки

и пытался представить, что она сейчас видит. А она в это время усадила его на лавочку в парке, потому что видела, что он устал. Ей не нравилось, что он побледнел, она то и дело пробовала рукой и губами его лоб, но лоб был хороший, тогда она начинала щекотно перебирать тонкими пальцами у основания кисти в поисках пульса, считала, сбивалась, начинала заново. Он покорно терпел.

Рядом прошли бабушка с толстым внуком. Мальчик пялился на Лиду, а потом громко сказал бабушке:

— Смотри, баба, тетя целует лавочку.

Иосиф становился все бледнее и бледнее.

— Господи! — воскликнула Лида громко, — да помогите же хоть кто-нибудь, не видите — человеку плохо!

К ней подбежала девушка, стала спрашивать, что с ней, доставать телефон.

— Да не мне же — ему! — закричала в отчаянии Лида, показывая на Иосифа, которому на глазах делалось хуже, он совершенно обмяк и еле-еле с огромным усилием мог приоткрывать глаза.

— Лида, не надо, — сказал Иосиф. Левая сторона рта у него почти не двигалась. — Перестань, меня уже нет. Разве ты не понимаешь этого?

— Надо вызвать «скорую», — плакала Лида, — ну что же вы стоите, вызывайте, он умирает!

Лида попыталась выхватить у замешкавшейся девушки телефон, но та вовремя сообразила, что к чему, и стремительно удалилась. Лида стала рыться у себя в сумочке, но у нее так тряслись руки, что она ничего не могла разобрать, вытаскивала и снова засовывала обратно ненужные сейчас предметы, потом стала просто выбрасывать их рядом с собой на землю. Телефона не было. Она плакала, понимая, что теряет драгоценное время, что никто не может помочь ей, что Иосиф умирает. А в это время Иосиф взял лежащую без сознания Лиду за руку, положил голову на свою руку, в которой лежала ее рука, и замер. Если бы кто-то сейчас выглянул из-под кровати и посмотрел на него, то увидел бы, что глаза у него открыты, а изо рта течет слюна. Лида посмотрела на него — он сидел, сильно покосившись влево, приоткрывая свежую надпись, нацарапанную на спинке скамейки. Можно было прекращать поиск телефона. Она медленно опустилась рядом с ним. Сил больше не было. Машинально она достала из сумки листок, сложенный вдвое. Долго не могла понять, что это за листок. Наконец сосредоточилась и прочла о том, что у нее констатировали смерть. Все поплыло у нее перед глазами. Противный писк заглушил все остальные звуки. Она закрыла глаза и на какое-то время отключилась.

## 18.

Когда она открыла глаза, то увидела белый ровный потолок и солнечные блики, шушукающиеся о чем-то детском. В комнате было прохладно, она поежилась и поняла, что обнажена, нашарила рукой и натянула на себя простынку. Повернула голову — у окна стоял Иосиф, он курил. За окном в сине-зеленом захлебывались чириканием и свистом. Легкие белые занавески, выдыхаемые проточным сквозняком, были то парусами, то крыльями.

— Где мы? — шепотом спросила Лида.

Иосиф повернулся. Он был совсем молодым. Она никогда не видела его таким, но сразу узнала. Как будто монетка звякнула о дно колодца.

— Мы дома и сейчас идем гулять, — объявил он. — Но сначала... — Иосиф подошел и лег рядом, — сначала я должен кое-что сделать.

## ЗЕРКАЛО

Когда я, шелестя и похрустывая, сдернула с зеркала вошеную бумагу и водрузила его в ванной на месте прежнего, треснувшего около месяца назад и лежащего теперь на помойке, я сразу почувствовала разительную перемену. Зеркала, конечно, все немного разные: одни слегка вытягивают отражение, другие сплющивают, одни отражают четко, другие более размыто, одни светлее — другие темнее... Но это зеркало пронзило меня какой-то особой, я бы даже сказала — посмертной, ясностью. Оно как будто собирало и доносило своим отражением каждую мелочь, оно было реальней отражаемой им реальности. Глядя в это зеркало, я вдруг нашла свою потерянную самую удобную на свете заколку для волос, на которую давно уже плюнула. В общем, вопреки примете, мое старое зеркало вышло из строя, не принеся мне особых несчастий, напротив, даже вот обрадовало совершенством зеркала, приобретенного ему взамен.

Сегодня я пришла домой почти в полночь. Был ужасный день — на работе завал, совпадения какие-то дурацкие, домой шла, завернула в магазин, не заметила стеклянную дверь и в кровь расшибла нос... Да, это было даже смешно, а в довершение всего мой давнишний, с самых тех, еще университетских, времен, приятель предложил мне выйти за него замуж. Полный бред, мы знакомы почти сорок лет. К чему портить дружбу двум добрым старым хрычам, не понимаю. В общем, не день, а хрен знает что. Слава богу, он закончился! Жаль только, что при моей затворнической жизни мне даже некому было пересказать все его нелепые дикие перипетии. Да и спать хотелось невыносимо. Умывшись (расквашенный нос заложило, и дотрагиваться до него было больно), я отняла руки от лица и почувствовала, что ослепла. На секунду. Это не успело стать мыслью, я быстро поняла, что просто эти идиоты опять отключили электричество. Целую неделю одно и то же! Или это все-таки перегорела лампочка? Нашупывая в темноте влажной рукой ускользящую железную щеколду и открывая дверь, я подумала о том, что внезапная слепота — это такой лейтмотив моих кошмаров. Помню, мне снилось даже, что я пришла в ванную умываться, вытащила, значит, глаза и, ничтоже сумняшеся, сожрала их. Или надкусила просто, не помню, врать не буду. Но факт, что пользоваться по назначению стало ими уже затруднительно. Я пришла в ужас, осознав во сне, как меня подставила внезапно напавшая на меня прожорливость, и, не приходя в себя, проснулась. Вспоминая всю эту историю и уже практически раскрыв дверь, я задним числом сообразила, что зеркало немного светится. Я закрыла дверь. Зеркало тихо светилось. Этого света было недостаточно, чтобы что-то освещать, но само оно определенно светилось. Едва заметно, утробно, внутренним светом.

Свет исходил из краев зеркала, как это бывает, когда за плотно закрытой дверью находится освещенная комната и ее свет протекает в щели. Я провела по рамке растерянным пальцем — она была неожиданно теплой и слегка дышала. Кроме того, я почувствовала робкий сквознячок, дующий отсюда туда.

Немного выждав, чтобы привыкнуть к происходящему, я прикоснулась пальцем уже к самой зеркальной поверхности — он моментально был втянут темной теплой водой зеркала, как воронкой, в которую утекает вода из ванны. Без усилия я вернула палец обратно, он был сухой и несколько секунд слегка светился, зараженный свечением зеркала. По всей вероятности, в зеркале не водились бешеные волки. Я просушила в него кисть руки, руку по локоть, затем по плечо. Глупо хмурясь, я пошевелила ей и поразмахивала, чувствуя кожей тепло и движение воздуха, как если бы за зеркалом светило солнце и перебирал свежие листья весенний ветер. Немного поколебав-

шись, я вернула себе руку — зеркало отпустило ее с легкой неохотой. Приблизив к зеркалу лицо, я стала различать слабые звуки, а в мой страдальческий носовой резонатор чудом просочился смешанный запах каких-то цветов и ягод. Зажмурившись, я всем лицом окунулась в зеркало, пустив по коже расходящиеся круги дрожащей теплоты и упругости. В ту же секунду я задохнулась от свежего воздуха, и яркий свет сделал мои веки полупрозрачными красными витражами.

Когда я наконец решилась открыть глаза, то увидела, что моя голова оказалась в комнате, которая была освещена непрямыми солнечными лучами, рассыпавшимися из распахнутого окна. Окно то на вдохе испуганно втягивало в рот белую тонкую ткань занавески, то выдувало из нее бульбумовский пузырь. Мебели было немного, и вся она была из того же светлого дерева, что стены, пол и потолок. На столе стояла тенистая ваза с желтыми листьями, веточками вербы и яркой рябиной. Одна из стен была полностью обнесена книжными полками. Самого беглого взгляда было достаточно, чтобы я узнала их все — это были мои книги, те произведения тех авторов, вышедшие в тех изданиях, что я когда-либо читала.

Наверное, моя голова на стене выглядела этаким безрогим охотничьим трофеем. Стараясь держать его как можно устойчивей в этом солнечном мире, в мире потухшей лампочки я с изрядным усилием подтянулась на руках, которые не смущала царящая в ванной тьма, встала ногами в скользкую раковину и всем моллюском вылезла из зеркала. То есть, конечно, залезла, но в итоге все равно — вылезла. Наступив влажными домашними тапочками на прочную тумбочку, которая стояла специально под двероподобным зеркалом, я легко соскочила на пол и осмотрелась. Мне нравилась тотальность восприятия, вдруг открывшаяся во мне. Я стояла посреди комнаты, и все происходящее принадлежало мне, было мной. То ли все предметы обладали здесь какими-то особенно чистыми цветами и линиями, то ли качество моего зрения стало иным от этой перемены мира, но я видела очень четко каждую мелочь, каждая мелочь была важна.

Я обошла комнату по периметру, двигаться было легко, как будто я долгое время ходила с двухкилограммовыми гириями, навешенными к рукам и ногам, а теперь их сняли. Нос, кстати, тоже перестал болеть. Из окна был виден осенний разноцветный лес. Я легла животом на подоконник и свесилась вниз головой — до земли было метра четыре, значит, в доме должен быть еще первый этаж. Выйдя из комнаты, я вприпрыжку спустилась по неширокой заворачивающейся лестнице, намертво задавив в себе внезапное желание съехать вниз по перилам. Здесь было что-то вроде столовой: в центре стоял стол, окруженный послушными стульями, у стены добродушный посудный шкаф, у стены напротив — оранжевый диван. Плотные шторы, посуда в шкафу, абажур — все было такого же веселого оранжевого цвета. В углу из громадного пупырчатого оранжевого горшка росла пихта. Я подошла к ней и проверила землю — влажная. Открыла буфет и сразу разглядела баночку с мандариновым вареньем. Такое получается, когда длинно и тонко нарезают кожуру, а потом варят недолго вместе с соком, мякотью и сахаром.

Когда я вышла из дома, то оказалась на пляже — под ногами песок, впереди бескрайние морские просторы, солнцепек, соленый гладкий воздух, справа по курсу оазис с яркими тропическими цветами и чудаковатыми деревьями. Бесшумно припадая на оба крыла, мимо меня провздыхала большая желто-фиолетовая бабочка. Я сделала несколько шагов, набрав полные тапки обжигающего песка, остановилась и стала вытряхивать его, зажигательно поднимая ноги и аплодируя себе подошвами по пяткам. Солнце светило яростно, с полуденным максимализмом. Так и обгореть недолго. Все-таки тут, выходит, лето... Хотя это странно, потому что из комнаты мне почудилось,

что стоит осень. Я решила выйти к тому лесу, который заприметила из окна, повернула за угол и моментально оказалась в другом времени года. Да, здесь была осень, все, как должно быть осенью: температура воздуха, запах, цвета. Ошеломительный покой падающих листьев. Я завернула за следующий угол, и у меня перехватило дыхание от холода. С этой стороны была зима, вдали виднелась подбеленная кардиограмма гор. Недалеко от меня с когтистой сосновой лапы мягко ухнул припадочно искрящийся снег, в дупло занырнул голубоватый хвост белки. Мороз, однако. Без унт — или как их там? — в тундре, однако, неуютно. Я завернула еще, и на меня обрушилась весна. Оглушительно щебетали птицы, прямо мне в бай хуэй капала вода с крыши и проникновенно стекала за шиворот. По краям парковых дорожек, выложенных седыми плитами разной геометрической формы, через каждые несколько метров стояли удивленные скамейки. Я подошла к ближайшей и вкрадчиво села. Событийно все это должно, конечно же, напоминать мне сновидение, но по ощущениям, по их ясности и глубине, по степени моего присутствия каждую секунду и осознанности — это никак не могло быть сном. По крайней мере, моим сном. Обычно мне снятся приглушенные сероватые сны, где я не я или не совсем и не всегда я, в них я не пугаюсь страшного и никогда не смеюсь, двигаться в моих плотных тягучих снах бывает тяжело, как в воде, а вынырываю я из них сомнительно отдохнувшей. Особенно последние десять лет. Возможно, это просто началась старость...

Пока я размышляла о природе происходящего, в глубине дорожки показалась человеческая фигура. Сначала я не поняла — приближается она или удаляется, потому что она как-то немотивированно меняла свой размер, а может, так просто казалось. Но потом она, уже точно увеличиваясь, приближалась. Я уже видела, что это длинноволосый старик, видела его длинную белую бороду, темная морщинистая рука сжимала посох, он был облачен в длинные светлые одежды. Когда он подошел достаточно близко, я поняла, что он невероятно высокого роста, метра три. Я поднялась ему навстречу.

— Здравствуй, Лиза, — произнес он, присаживаясь на скамейку и жестом приглашая меня сделать то же самое.

— Здравствуйте, — ответила я. Вокруг старика ощущалось сильное тепловое поле, как будто он был огнем в камине. Меня зовут не Лиза, но мне не хотелось ему возражать. Тем более что с этим именем у меня было кое-что связано. В детстве оно мне не то чтобы нравилось, а я смотрела на себя в зеркало и чувствовала, что оно подходит мне больше, чем что бы то ни было. Я даже обещала родителям, что когда буду получать паспорт, непременно возьму его взамен придуманного ими. Конечно, я ничего такого не сделала. Но однажды был странный случай. Странный по тому впечатлению, которое на меня произвел. Я шла под дождем на урок бальных танцев, было мне лет тринадцать, наверное. И вот, выходя из подземного перехода, я вдруг услышала, что кто-то зовет: «Лиза! Лиза!» Я подняла глаза и увидела старенького дедушку, протягивающего ко мне руки: «Лиза!» — повторил он жалобно. Я растерялась и поспешила пройти мимо, а он все просил меня быть ею вслед так, что я долгое время еще чувствовала себя виноватой в том, что не была той, кого звали «Лиза».

Поэтому сейчас возражать мне не захотелось. Тем более что и тогда, и сейчас где-то в глубине души, втайне от себя, жила у меня уверенность, что это не ошибка, что обозначились совсем другие люди, много других людей, а эти — узнали.

Некоторое время старик сидел молча, распространяя вокруг себя молчание и тепло. Сначала я просто слушала его молчание и грелась, потом постепенно его молчание передалось мне, я перестала думать, и мы какое-то время (вне времени) сидели в абсолютной тишине. Птицы молчали, как рыбы, эволюция шла вспять. Мне даже показалось, что у меня остановилось дыхание, но старик заговорил.

— Ты очень давно не приходила. — В его голосе не было осуждения. Но он сожалел — обо мне.

— Прости, — сказала я, совершенно естественно перейдя с ним на «ты». После нашего молчания расстояние между нами сделалось исчезающе маленьким, сократилось до нуля. Практически я просила прощения у себя.

— Теперь ты можешь приходить сюда часто, — он посмотрел на меня глубоко.

— Я буду, — пообещала я искренне.

— Ты можешь не уходить отсюда, — сказал он тихо.

Я молча кивнула. Я знала об этом. Чувство возвращения домой становилось все отчетливей.

— Я умерла? — спросила я без тревоги. Я вдруг ясно представила, что в ванной валяется на полу бледная ружлядь моего тела, темнота проникла внутрь него, а лампочка, возможно, горит. И будет гореть еще очень долго.

— Ты не умерла, — улыбнулся старик. — Но теперь ты знаешь, что у тебя есть куда умереть.

— Кто ты? — спросила я зачем-то, запашиво добавив: — Что это за место? Почему я сюда попала? И почему я сюда попала только сейчас?

— Неужели тебе здесь плохо? — не ответил старик.

— Хорошо... Это ведь и подозрительно. Понимаешь, я давным-давно, когда была ребенком, засыпая, представляла, что у меня есть в стене тайная дверь, ведущая в другой мир, в котором есть маленький домик, окруженный с четырех сторон света четырьмя временами года. Потом я забыла об этом, но сейчас вспомнила. Тут все, как я когда-то мечтала.

— Все? — он как будто хотел мне что-то подсказать.

Я задумалась. В общем, это невысказанное счастье — жить в мире, созданном тобой же. Или что-то тут недооволощено из моих мечт? Или чего-то я недомечтала?

— Я здесь поэтому? Потому что узнай я о каком-то тайном изъяне моего мира после смерти, я не смогу его исправить?

Старик кивнул. Я вдруг заметила, что за время нашего разговора он сделался меньше. То есть он был по-прежнему высоким, но все-таки не таким великанским, как сначала. Осталось в нем, наверное, около двух метров.

— Но я не знаю, что это за упущение. Надо подумать, побыть здесь подольше.

— Тебе лучше побыть тут одной, — сказал старик хитровато. Он поднялся. Длинные одежды волочились по земле. Двух метров в нем, конечно, не было. Хорошо, если он был чуть выше меня. Я смотрела, как он удаляется, волшебным образом не путаясь в белых складках. Что-то изменилось в его походке, я не сразу поняла, но она стала какой-то более подвижной, что ли? Она стала — женской?! В этот момент старик обернулся и посмотрел на меня новым лицом. Старым знакомым, все еще женским, лицом. Тем самым, которое каждый день смотрело на меня из зеркала.

«Да, — подумала я, со всей безысходностью понимая, что оставила сигареты дома в сумке, — это в самом деле серьезно. Одиночество, конечно, для меня дело привычное, но обречь себя на него на всю жизнь после смерти — надо десять раз подумать». Мне захотелось вдруг подумать с другой стороны зеркала. Без особых приключений вернувшись в темную ванную, я пошла в спальню (на электронных часах было зеленое без трех минут двенадцать, идиоты электричество не отключали, надо бы в ванной лампочку поменять), соннамбулически разделась и легла. В шесть часов пропичал будильник.

Стоя в подрагивающем поезде метро, я чувствовала, что изменилась. Ночное перемещение оказалось тем главным пазлом, благодаря которому мое представление

о жизни и смерти начало складываться во что-то осмысленное. Мне стало страшно остаться навечно наедине с собой, погрузиться в себя, сослать себя без права переписки. Это как сойти с ума. Сумасшествие всегда пугало меня сильнее всякого физического уродства и урона. Но что делать с моим врожденным одиночеством, с моей неспособностью нуждаться в людях, любить людей так же, как времена года, оранжевый цвет и мандариновое варенье — я не знала. Я никогда не умела пустить в себя другого человека, зная, что окажусь совершенно беззащитной на своей территории. Пустить в себя, разобрать баррикады, расслабиться: «А, пусть делают, что хотят», наблюдать, свидетельствовать?.. Странно, кажется, теперь я могла себе это позволить.

Дикторский голос патетически объявил мою следующую остановку. Кто-то из вошедших уверенно пихнул меня в бок, но я удержалась на ногах, более того, я ближе продвинулась к двери. Несколько человек поменялись между собой местами, я стала совсем удобно, посмотрела на несущуюся ночь подземелья в окне, помаргивающие отражения пассажиров и увидела старика из зеркала. Он сидел в своих длинных одеждах, держа посох между колен, и смотрел на меня в упор. Поймав мой взгляд, он улыбнулся. Я резко обернулась. Старик спал, приоткрыв рот, покачиваясь в такт движению поезда. На нем была черная кожаная куртка, кашне, волосы и борода были достаточно короткими, но все-таки это был он. Я снова посмотрела в стекло окна, но в это время поезд выехал из тоннеля на воздух. Когда мы вернулись в тоннель, старик в стекле уже не отражался. Но что-то еще было не так. В стекле не отражалась я. Я дотронулась до его поверхности, и она знакомо поддалась.

### ЗРЕНИЕ

Зрение стало уходить от нее кусками спектра, по дороге ослабляя четкость пока не тронувшихся красок. Кинескоп ее телевизора садился, вечер начинался теперь с утра.

Иногда цвета возвращались к ней, но без форм, а просто раскрашивая собой воздух, зависая в нем косыми лучами неотступно заходящего солнца.

Она выходила на улицу и, как обычно, шла через парк, с опасливым вниманием глядя себе под ноги. Путь, который раньше занимал у нее три минуты, преодолевался теперь за полчаса. Она напрягала глаза, но не умела понять, идет по газону или по дорожке. Она вроде бы видела дорожку и вроде бы сходила с нее... Однажды ей сделал замечание праздный охранник, скрывающийся под суровостью мундира свой выходящий за рамки должностных обязанностей интерес к женщинам. Давно готовая к этому позорному окрику, панически ожидавшая его все это меркнувшее время, она ускорила шаг, оступилась и упала, попытавшись спастись кустом шиповника.

Сначала пришлось оставить работу. Несколько месяцев она в сопровождении матери ходила по врачам. Врачи давали надежду, капали белладонну, от которой мир радужно расплывался, словно лужица машинного масла на солнце, смотрели глазное дно, брали кровь на анализ, прописывали разноцветные таблетки и назначали инъекции. Проходили дни. Врачи холодно пожимали плечами и посылали к другим врачам, которые задавали Марине много вопросов, назначали ей инъекции и прописывали бледнеющие и теряющие очертания таблетки. Проходили недели. Врачи холодно пожимали плечами.

Марина целыми днями сидела в полутемной комнате, иногда вставала и стояла. Потом снова садилась... Подглядывавшая за ней мать зажимала ладонью рот и так доносила жалобы и плач до телефона, по которому срывающимся шепотом говорила с подругами.

Зрение уходило.

А может быть, переходило в сны, становясь более внутренним, усиливая внутреннее. Снов было много, они спотыкались друг о друга всю ночь, торопясь распахнуться перед ней именно сегодня. А завтра начинали сниться с того самого момента, на котором прервались пробуждением. С каждым разом пробуждение все менее резко вмещивалось в их ход. Оно наступало, но сон продолжал сниться, затмевая собой все более робкую явь.

Отчаявшись получить действенную помощь от врачей, мать повела ее к знахарке. Та поводила руками, покачала головой и ушаркала на кухню погреть посудой, включить и выключить водопроводный кран. Знахарка вернулась, неся в руках пластиковую приталенную бутыль. Бутыль равнодушно и страшно зевнула Марине прямо в лицо плезиозавром вымершей этикетки, булькнула и влажно нырнула к ней в ладони.

— Встань, дочка, на рассвете, повернись лицом на восток, помолись Господу и попроси, чтобы забрал у тебя твою хворь. Спаси тебя Господи, дочка, — знахарка перекрестила Марину.

— Вы думаете, поможет? — обреченно спросила Марина. Ее голос почему-то обзавелся от этой комнаты плоской хрипотцой и показался самой Марине совершенно чужим. Он отразился от серванта с прозрачными створками, протиснулся между мутной шторой и подоконником и выпал в форточку. Несколько секунд спустя внизу сыто и сочно каркнула ворона.

— А вода? — сообразила уточнить мать. Она мелко помаргивала, стараясь не замечать откровенно не впечатляющего вида знахарки, а сосредоточиться на предваривших их визит восторженных рекомендациях одной хорошей (а ее — шапочной) знакомой ее знакомого, которую она случайно (а случайностей не бывает) встретила на рынке. Знакомая поведала ей несколько исторических фактов из жизни сына своей соседки, которого знахарка за несколько сеансов (или как там это у них называется?) исцелила от болезни, которую соседка соседки, округлив глаза, шепнула бедной матери рядом с ухом. Будучи не сильна в медицинских терминах, мать Марины изрядно впечатлилась сакральным звучанием недослышанного латинизма и, не мешкая, записала адрес и телефон чудо-старухи.

— А воду — пить можно...Брызгать можно, умываться ею. Глаза умывать, да, глаза — утром и на ночь. Пусть прямо наберет в ладошку и поморгает, — знахарка пожевала тонкими губами, излучавшими вертикальные морщинки. — Если верует — то поможет, — повторила она убежденно.

Когда зрение ушло от Марины совсем, она почувствовала, как над ней опустилась крышка гроба, и странно было находиться в нем живой. Ужас и паника, уставая, перемежались периодами апатии, но восстанавливали силы и снова принимались за нее. В ней накопилось много боли. Марина — роптала. Упреки вращались вокруг своей оси, притянутые огромным непониманием, создавая вокруг ее головы кольцо Сатурна. Кольцо сжимало голову, словно кому-то было необходимо, основательно закрепив Марину в тисках, поработать над ней — подкоротить, обтесать, распилить. Сделать подходящей.

Когда работа была завершена и спутники разлетелись, отпущенные волей Мастера, Марина погрузилась в молчание. Она сидела в темноте и распространяла тишину, как расширяется вселенная. Росла и становилась никем. Достигнув в этом предела, она остановилась, наткнувшись на свои края и на какое-то время потеряв дыхание.

В тишине и темноте к ней пришел голос. Вдохнув, как первый раз, она открыла в себе возможность новой жизни. Темной, но звучащей, обостряющей слух. В безопас-

ности утробного уюта она доверилась голосу без борьбы. Может быть, он ей снился, но сейчас она уже не отличала яви от сна, и, в общем-то, это было безразлично. Она сидела, выпрямив спину, допуская, что сходит с ума, и слушала голос, улыбалась, слушала голос и, до смерти пугая мать, отвечала ему.

— Ты любишь ездить в общественном транспорте? — спрашивал голос.

— Терпеть не могу! — отвечала Марина. — Но сейчас мне, в общем-то, особенно и не надо никуда ездить...

— Мне сейчас уже тоже, — смеялся голос. — Но однажды, когда я ехал в маршрутном такси, я видел кое-кого, кто еще сильнее, чем мы с тобой, не любил это дело.

— Не может быть, — улыбалась Марина. — И кто же это?

— Кот.

— Кот? Кот Бегемот?

— Кажется, его звали Мавром. Правда, очень удачное имя для черного кота? То есть для кота, а тем более — черного.

— Да, звукоподражательное, — улыбалась Марина.

— Ну вот, этот Мавр, которого посадили в клетку, как птицу или тигра, так надрывался, что глупая хозяйка не находила ничего более утешительного для них обоих, чем приговаривать ему торопливое «кис-кис-кис». Несчастное животное не могло выйти на этот зов ни из клетки, ни тем более вырваться из маршрутки, увозящей клетку в неведомые дали, и терзалось все громче.

— Ты считаешь, что я похожа на этого кота?

— Да, а я на глупую хозяйку...

— Нет, на глупую не похож совсем.

— Хорошо, — улыбался голос. — Но я думаю, что, в общем-то, мы все иногда похожи на этого кота. Когда боимся неизвестности. Когда нам кажется, что нас посадили в клетку и везут куда-то, а мы не только не можем вырваться, но и слышим, как кто-то или что-то зовет нас, а ведь тогда сидеть спокойно и ждать конца путешествия делается совсем невыносимо.

— Да, — соглашалась Марина. — Но самое смешное, что везут-то кота всего лишь, чтобы подлечить левое ухо, которое он сам себе разодрал.

— Какого кота? — напряженно спросила мать. Она уже с минуту стояла в дверном проеме и теребила половую тряпку, скрученную в бараний рог. Поседевшие волосы были растрепаны, глаза неестественно блестя.

Марина перестала улыбаться. Ее лицо как будто выключили, как лампочку.

— С кем это ты разговариваешь? — продолжала мать. Она вошла в комнату, села на диван рядом с дочерью и уложила тряпку себе на колени. — Мариночка, Маруся, ты же знаешь, меня очень пугает, когда ты так... — мать подавила восьмибальный всхлип.

— Она очень любит тебя, — сказал голос.

— Да, я знаю, — ответила Марина.

— Давай поговорим, я ведь всегда рядом, всегда с тобой, Мариночка, — мать убрала влажной холодной рукой прядь волос со лба Марины. — Поговори со мной.

— Ну что — Мавр сделал свое дело? — уточнил голос испытующе.

— Да, — улыбнулась снова Марина.

— Вот и хорошо, — обрадовалась мать. — Мне, кстати, сегодня утром тетя Женя звонила. Представляешь, Сережка в субботу женится. На светленькой такой девочке, помнишь, мы их как-то с тобой видели, еще в октябре? Она беременная, на шестом месяце. Говорят, будет дочка.

— Я сочинил для тебя песенку! Про тебя! — радостно сообщил голос.

— Здорово! — восхитилась Марина.

— Щас спую, — сказал голос голосом наевшегося мультфильмовского волка (или пса?).

— Да, я тоже так рада за них, — подтвердила мать, действительно не помнящая себя от радости, потому что она уже давно не разговаривала с дочерью так долго и успешно. — Так рада...

— Спой, — поощрила Марина. — Мне еще никто не посвящал песен.

Мать, открывшая было рот, закрыла его резко и как-то некоординированно, как кукла из «Улицы Сезам».

— Господи, Господи, — горько прошептала она, поднялась и, прижав к груди задремавшую тряпку, ушла плакать.

Голос помолчал, а потом тихо запел.

Постепенно, чтобы пощадить мать, Марина научилась отвечать ему мысленно. Они говорили непрерывно, срастаясь все плотнее в бесплотности речевого акта, их диалог монологизировался, и становилось все сложнее отделить друг от друга их мысли. Голос приподнимал Марину и летел с ней над самым небом ее памяти. Ощущение полета отсылало ее в детское счастье качания на качелях.

...Мама накрутила ей волосы на шелковые ленточки — на них было нежестко спать, и когда их снимали, локоны получались такие упругие, что делали длинные волосы короткими. Но скоро расхотелись и становились совсем чудесны. Марина всю ночь спала на ленточках, чтобы майским утром идти с отцом на праздник. Ей пообещали флажки и воздушные шары, нарядили и выпустили из дому — ждать. И вот она вышла во двор, оглушительно пахнущий весной. Все вокруг просто разрывалось от солнца и щебетания птиц, сердце у Марины заколотилось набирающим скоростью поездом. Она стала на дремучие качели красными лаковыми туфельками и принялась раскачиваться так высоко, что едва не касалась расцветающих веток большой вишни. Секунды невесомости в крайних точках полета были особенным занывающим восторгом. Распушенные волосы металась по ее лицу, она щурилась от них, от ветра и света, от смеха и от удовольствия. И оттого, что ей не нужно было ни на что смотреть, ничего видеть. Марина была слепа и счастлива...

Марина была слепа и счастлива. Если бы она знала, что потеря зрения станет для нее источником любви и радости, она бы сама ослепила себя. Когда ее счастье стало невыносимым, когда она переполнилась им, то просто вышла за свои пределы. Из тесноты и мрака. «Кис-кис-кис», — подумали они оба и засмеялись.

Она шагнула в свет, хлынувший со всех сторон, и зависла в воздухе невесомостью крайних точек полета на детских качелях. На руках и на платье, образывавших ее «стеклянный» контур, светящийся и прозрачный, расплзлись, исчезая, чернильные осьминоги смерти. Пронзенная светом, Марина почувствовала, что, погружаясь в него, расправляется, как сине-зеленые водоросли, которые она любила доставать из реки, превращая в бесформенный плотный комок, и снова окунать в воду, любуясь оживающей шевелюрой. Она дышала (дышала? дышала без вдоха и выдоха?) всей собой и, кажется, видела не глазами, а лицом. Нет, головой... Всем телом. Зрение стало ее сутью, она превратилась в зрячесть. На диване в полуразвалившейся позе сидело ее мертвое тело, похожее на небрежно снятые в темноте усталые колготки. Слепота осталась — в нем, оказавшись непроницаемой шторой зеленоватых открытых глаз, остановившихся много раньше сердца. Маленький черный зрачок был воронкой, черной дырой, втянувшей весь видимый мир в себя и не пропускающей света. Марина всматривалась в старое удивленное лицо — такое чужое, едва заметно намекающее на их знакомство и совсем уже незаметно на родство. Рядом с оставленным телом,

одновременно с оставленным телом Марина увидела свой «голос», такой же светящийся, дышащий светом, как она. Она обняла его, и это было очень тепло и глубоко. Все предметы в комнате мерцали и прозрачнели, медленно прогорали, помогая проступить сквозь себя другому — особенному — свету. Тому. Свет нарастал и наконец вспыхнул так ярко, что все прежнее исчезло.

Марина вышла и — ушла. Как солнечный зайчик уходит вместе с солнцем.

\* \* \*

Мать, убитая горем (потому что полагающая свою Марину мертвой, вот этой мертвой Мариной), похоронила исхудавшее тридцатипятилетнее тело одиннадцатого апреля в два часа пополудни.

Удивительно, что в этот же день и час из их подъезда вынесли и поставили неподалеку с Мариной другой гроб. Гроб не открывали, и рядом с ним никто не плакал. Мария Тимофеевна пояснила потом Татьяне Ивановне, что умер юродивый — как бишь его? — Феликс, тихо доживавший свои дни в соседней квартире. А гроб не открывали, потому что он умер-то уже не пойми когда, ведь одинок был, и никто к нему толком не заживал. Тихий был, глухонемой.

### СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ

Искрящееся море всасывало себя сквозь голливудский оскал прибрежной гальки и снова с размаху насакивало мне на ноги озабоченным пуделем тети Зины, давно ослепшим от старости, но не утратившим интереса к прохожим конечностям. Я шлепал, подкатив джинсы, периодически и поочередно бултыхая из забывчивой руки бесполезные сланцы, легко поднимал их, истекающих морем, оглядывался на закат, понимая заново что-то очень веселое, превращающееся от произнесения в патетическое, улыбался сам себе и шлепал дальше. Коктебель, который я полюбил еще ребенком, был, что называется, «уже не тот»: набережная, на которой стоит дом Волошина, утыкана кабаками, усыпана мусором, извергаемым отдыхающими с невероятной плодовитостью, оглушена дрянной музыкой. Но здесь — когда забредаешь подальше оттуда — все еще по-прежнему.

По колено в воде я завернул за утомительно входящую в море скалу и моментально увидел дом — такой особенный, начисто лишенный несущих стен. Жилые дома, вообще-то, почти никогда так не строят, но этот был жилой, и фактические стены его были из стекла. Вокруг дома ярко росли осенние цветы, а над ними висели, подрагивая, словно марионетки, засыпающие бабочки. Засыпающие здесь, а где-то там просыпающиеся китайским философом Чжуан-цзы, не могущим спросонья спастись, кто он: человек, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которая во сне видит себя человеком. Одна из призрачных стен этого строения, выходящая на обращенную к морю террасу, была гостеприимно приподнята. Поскольку даже символически постучать было некуда, я, робко потоптавшись холодно высыхающими на ветерке и наконец пригнанными сланцами, зашел вовнутрь. Вошел, как к себе домой.

Комната была огромным сложносочиненным гибридом кухни, гостиной и библиотеки. Мое внимание сразу же привлекли высокие, в потолок, книжные стеллажи, и я бы наверняка, охамев окончательно от простоты, с которой сюда проник, загляделся на них подробнее, но невнятно ощутил движение в просвечивающем в другую комнату проеме.

Приблизившись к проему, я остановился в некотором замешательстве — не столько не решаясь прервать происходящее там, сколько от глуповатого изумления. Картина была в самом деле комична: человек примерно моих лет увлеченно полемизировал о чем-то с нелепо состряпанным из электрического чайника в вязаной шапке и разного другого многопонятого хлама и тряпья подобием собеседника. «Собеседник» был предельно учтив и лишь изредка позволял себе слегка усомниться в разворачиваемых перед ним многоярусных сентенциях едва заметным наклоном чайника влево, так что со временем, вероятно, он бы таки потерял голову.

Они оба сидели в исполинских креслах друг против друга, и человек, поглядывая в ноутбук, покоящийся на круглом столике, разделяющем кресла, интенсивно пояснял:

— ...в общем-то, атеист — это крайнее выражение космического юмора. И вместе с тем атеист — это божественный триумф. Игра с самим собой в прятки. Он так хорошо спрятался, что не нашел сам себя, превзошел сам себя! Вот! — человек подъял указующий перст, повернул голову и бородато посмотрел прямо мне в глаза. Я смекнул, что трагически опоздал с тем, чтобы ретироваться незамеченным, и пришибленно кивнул головой, тщась произнести что-нибудь разъяснительно-оправдательное в свою честь. Но успел только предварительно помычать и поразводить руками. Человек, похоже, несколько не удивился, увидев меня в своем доме. Наверное, к нему часто заживали случайные путники, хотя домик, в общем-то, стоит основательно на отшибе.

— Вот! — повторил человек, поднимаясь из кресла и глядя на меня многозначно. — Вот вы и пришли. А! — аффективно вскрикнул он, порхнув ладонью в сторону своего недавнего приятеля. — Не берите в голову — одиночество, знаете ли, уединенность, так сказать... То в шахматы сам с собой, то вот, простите, рассказ... Как это? «Слушателей нужно духу поэта, будь то даже бараны», — он залихватно захихикал, идя мне навстречу и протягивая руку:

— Александр, — представился он с весомостью.

— Александр, — ответил я, стараясь интонационно скомпенсировать возникшую тавтологию и параллельно удивляясь его радушию. Может, он принял меня за другого. Ждал кого-то визуально, может быть, незнакомого, а тут я...

— Я тут гулял по берегу и забрел в ваши края... у вас открыто было... и я так бесцеремонно... извините...

— Да что вы, Александр, в самом деле! Проходите. Я сейчас. — Он засуетился, схватил чайник в шапке и резким брезгливым движением скинул обезглавленное тело с кресла на причудливый паркет. — Присаживайтесь, Саша (можно так вас называть?), я самовар вот поставлю нам и приду... Чувствуйте себя, — он сдавленно гоготнул и снова сделал серьезное учтливое лицо, — как дома.

Станный Александр вышел, наедине с собой я пожал плечами, выполнил еще несколько мимических движений, высвобождающих мои чувства, и осмотрелся. Комната была большая и многоугольная. Кроме того проема, в который вошел я и в котором же скрылся Александр, я насчитал еще четыре выхода. Три из них светились сильнее, по-видимому, выходя в застекленные комнаты. На стенах висели в рифму проемам светящиеся картины, казавшиеся окнами в другой мир. На одной колыхалось море. Я подошел к ней вплотную и различил летящую на фоне распаленного солнца чайку. Солнце все еще не зашло. «Так», — подумал я и заинтригованно направился к другим «картинам». Проходя мимо ноутбука, я с чувством запретного взглянул было в текст, но экран в ту же секунду невинно сморгнул, и на голубом глазу поплыли рифовые рыбки.

На кухне что-то звякнуло и покатилося. Я поспешно приблизился к светящемуся изображению пустыни и с пристрастием принялся его изучать. Ветер где-то вдалеке

самозабвенно валял по барханам скучные нолики верблюжьей колючки. На широкополой раме лежали аккуратные горстки песка. Тарахтя чайными принадлежностями, хозяин выкатил густо уставленный двухэтажный квадратный столик.

— Я так рад гостям, — сказал он, слегка задыхаясь, как будто после пробежки, и рачительно составляя чашки и вазочки с квадратного на круглый.

— У вас удивительные штуки тут висят. Это что-то электронное?

— А, это... Да, чудеса техники.

Я мигом охладел к ним и поместился в кресло.

— Вы только не подумайте, что я сумасшедший, там, какой-то... то есть сумасшедший, конечно, но ведь любой от одиночества свихнулся бы. Даже он...

— Он? — переспросил я, придвигая к себе чашечку, на которой была набезобразная какая-то стилизованная китайская камасутра.

— Он, — подтвердил он.

Я глубокомысленно хлебнул сложного травяного чаю, отчетливее всего в букете которого проступала все-таки мята... да, мята и липа... и... и выбрал в синей вазочке золотистое печенье, усыпанное мозаикой из поджаристых орехов.

— Я почитаю вам кое-что, — признался он, недоверчиво на меня поглядывая и помешивая в чашке отсутствующий сахар. — Вы не против?

Я энергично, даже с каким-то избыточным энтузиазмом кивнул и поперхнулся печеньем. Наверное, этим подсказывая в зрительный зал, что я не люблю слушать графоманов.

— Нет-нет — после, вы ешьте спокойно... пейте чай, — произнес он, грустно наблюдая за тем, как я откашливаюсь. — Чай с мятой и липой и ... — он поскреб ногтем обнаженное бедро узкоглазой красавицы на чайнике, устраняя несуществующее пятнышко, — и печенья очень вкусные.

Мы немного помолчали. Я запихал в рот большую конфету, оказавшуюся курагой в шоколаде, привычно сложил фантик в маленькую книжную закладку и еще раз придирчиво оглядел чашку.

— Красивый сервиз, — одобрил я, имея в виду пошлую красавицу. — Китайский?

— Японский.

Мы снова помолчали. На лице Александра читалась некоторая досада. Он сидел, опустив глаза, и явно ждал, когда же я перестану есть.

— И часто к вам забредают случайные путники? — спросил я туповато, дожевывая очередное печенье, действительно очень вкусное.

— Случается, — улыбнулся Александр, кого-то сильно мне напомнив. Я даже перестал мысленно примеряться к новому печенью, так меня это озадачило. — Только они не такие уж и случайные. — Он посмотрел на меня внимательно, и мне сделалось неловко. Я залпом допил подостывший чай.

— Ну что, — сказал я бодро, как Дедушка Мороз на утреннике второго января, — почитаем?

— Да, да, конечно, — он снова засуетился, отодвигая чашку, придвигая ноутбук. — Может быть, еще чаю? — уточнил он неискренне. Я отрицательно мотнул головой и со смирением наклонил голову, готовый к слушанию, как тибетский покойник. На самом деле было даже что-то симпатичное в том, как ему не терпелось, этакая детская непосредственность.

Александр разбудил монитор и углубился в молчаливое чтение. Все-таки он кого-то очень сильно напоминал мне... Я вдруг понял — кого: моего дядю, который сошел с ума и вскоре умер. Мне было тогда около восьми лет, и мы мало с ним общались, но я отлично помню эту его манеру закидывать голову, когда читаешь, и много других мелких недоступных описанию черт. Минут, наверное, двадцать Александр изучал,

покусывая губу и пощипывая бороду, то, что собирался озвучить, пока я не привлек его внимания зычным щелчком затекших суставов. Тогда он встрепенулся, вспомнил обо мне и, прочистив горло надсадным рыком, начал.

Когда он закончил и молча поднял на меня глаза, в которых еще бежали строчки, я с расстановкой произнес:

— А почему так однобоко? Почему именно писатель, а не, скажем, режиссер-драматург-актер? Или архитектор-черточка-генетик? Смотрите, как продуктивна метафора с демонстрируемым фильмом, светом от кинопроектора, находящимся сзади от зрителя и требующим обернуться, чтобы можно было осознать иллюзорность происходящего. Помните знаменитую притчу о пещере, которую Платон использовал в своем диалоге «Государство»?

Александр приподнял кучерявые брови.

— Ну, если в двух словах, то там Платон уподобляет человеческое существование ситуации, в которой группа людей оказывается в подземной пещере. Они жестоко прикованы к земле и могут видеть только то, что находится прямо перед ними. Позади них пылает огонь и находится низкая стенка, над которой кукольники показывают марионеток: людей, животных, всякую утварь. Узники погружены в созерцание теней на стене, и они совершенно не осознают истинной природы ситуации. Платон также предполагает, что узники верят в то, что отголоски звуков, идущие сзади, в действительности производятся тенями. В случае с кинопроектором то же самое. Без восьмидесятиградусного финта наивный зритель воспринимает дурацкую фильму как реальность, актеров держит за их персонажей, вовлекается в это дело по самые ослиные уши...

— Да, с фильмой хорошо, но все-таки — писатель, потому что все, что у него, — это он, потому что творит — из себя. Он нуждается в нас ничуть не меньше, чем мы в нем. Кто больше кому был нужен — автор произведению или произведение автору? Мир построен на взаимности. В общем-то, он совершенно гениален.

— Мир?

— И мир тоже. Только вопрос в том, насколько он был свободен, создавая мир. Был ли у него выбор? Это не я, это еще Эйнштейн спрашивал.

— А не противный он какой-то выходит? Так вот, пусть не ради развлечения, пусть от безысходности кромешной, но устроивший всю эту мясорубку? Смерть, болезни, войны. Не жалко ему людей-то?

— Но это все он сам. И да — не ради развлечения, а от тоски и, главное, одиночества, чтобы было кому прочесть то, что написал. И ведь не проверишь же на прочность написанное, оставаясь самим собой. Приходится соблюдать правила игры, забывать себя и заново изумляться своему творению как чужому. А в апофеозе этой игры — не верить в свое существование. И это ее триумф. Его триумф. Ведь вы же не поверите так запросто, что мы с вами один человек? А напрасно. Вот вы думаете, что это я здесь живу, что это я читал вам только что свой рассказ. А ни фиги! Читал я его сам себе или, если хотите, вы — сами себе.

— Ну, это старая история — про то, что все мы — одно, и на самом деле ничего не существует...

— Еще как существует, только, вы совершенно верно заметили, границы внутри этого всего значительно условней, чем мы привыкли думать.

— И созданы только для того, чтобы самому себе сказать «Ай да Пушкин...», делая вид, что это кто-то другой?

— Становясь — другим. И не всегда таким уж детски восторженным. Вот вы же, несмотря на то, что вы — я, не ошалели от экстаза, выслушав мой рассказец.

— Ну, почему же — не ошалел? Очень даже ошалел, — сказал я, натянуто улыбаясь, чувствуя, что мне уже изрядно надоело общество моего тезки, так назойливо претендующего на еще большую общность между нами. — Мне, пожалуй, пора постепенно двигаться восвояси.

— Смешно это, право... всякий раз я отказываюсь верить в то, что я — это я. — Он тихо засмеялся, глядя в сторону. Потом яростно заорал, дико тараща на меня глаза: — Куда ты пойдешь? Некуда тут больше идти. Никого тут, кроме меня, нет. Кроме тебя, нет.

— Всего доброго, — сказал я, решительно поднимаясь.

— Вот что это за триумф, спрашивается? Смех один. Да нет здесь больше никого! — Он постучал себе третьим пальцем в лоб. — Ты сейчас разговариваешь сам с собой. И это уже не игра, а махровая клиника. Просыпайся. Очнись, ну? Давай, давай!

Он подошел ко мне вплотную и принялся наотмашь хлестать меня по щекам. Было очень больно, из носа хлынула кровь, но я не сопротивлялся, а, напротив, впал в какое-то бесстрастное оцепенение, закрыл глаза и ждал. Наконец удары прекратились. Для верности я посидел с закрытыми глазами еще несколько секунд, потом выдохнул и с усилием разлепил веки. Лицо горело. В бороде запекалась липкая кровь. Я с отвращением вытер ее с губ детскими фиолетовыми колготками, вывалившимися из тулупьего тела «собеседника». Во рту чудовищно пересохло. «Надо поставить чайник», — подумал я вяло, взял электрическую голову, захлопнул крышку отключившегося ноутбука и вышел в проем.

---

---

Евгений ВИТЧЕНКО

## ИЗ ЦИКЛА «ЗНАК МНОГОТОЧИЯ»

\* \* \*

Магический возраст! Как был он к лицу мне,  
Магический возраст.  
Кустарник, полжизни отцветший впустую,  
Занозист-занозист.

Колючки, иголки, шипы — весь набор для  
Шитья ярко-алой,  
Как будто из шелка, одежды бегоний.  
Как для карнавала.

Какое богатство: от стянутых, узких  
И до расклешенных  
Цветков, наподобие девичьей блузки!  
Какие еще мне

Оттенки и краски откроются, только  
За угол сверну я  
И буду стоять, как ударенный током,  
К замочной вплотную?!

Как странно, что дверь эту раньше не видел  
Цветущего сада.  
Спасибо за место с открыточным видом:  
Такое и сам я

За тридцать три лета коротких не в силах.  
Спасибо за время,  
Которого ровно на маленький выдох  
Осталось, наверно...

---

Евгений Витченко родился в 1983 году в Караганде. Окончил факультет истории и политических наук Тюменского государственного университета. Публиковался в литературных журналах «Нева» (Санкт-Петербург) и «Новая Юность» (Москва). Живет в Тюмени.

НЕВА 9'2018

### ВЕНЧАНИЕ

Михаила Архангела,  
Ленина, двадцать два.  
Перекрашена на́бело,  
Словно кистью крыла:  
И впотьмах выделяется,  
Как бы вне темных сил.  
Если грешники каются  
И хватает белил,

Наступление полночи —  
Только смена числа.  
Здесь венчались мы. Помнишь ли,  
Как ты сердце несла  
К алтарю! И горела вся  
Изнутри, как в чуму!  
И клялась в своей верности!  
Я не знал, почему

Так бывает, но чувствовал:  
То сгорает душа-  
Одиночка. И лучше нам  
Наблюдать не дыша,  
Как две тени отдельные  
Превращались в одну.  
Был канун понедельника...  
...И я знал почему.

\* \* \*

«Я маленький и пьяный человек» —  
Так говорил Евгений Блажеевский...  
И нарезал на части черствый хлеб  
Под водку. И выпархивал в блаженстве  
На улицу московскую одну,  
Где поджидал поэзию саму.

Музы́ку. Му́зыку (верней, ее мотив  
Улавливая в воздухе столичном),  
На сквозняке перила обхватив  
И бормоча невнятное на птичьем,  
Переводил, как медиум, в слова.  
И в тех словах — где чижик, где сова.

Где щебетание. Где уханье. Где крик  
О помощи. Морозный и нетрезвый.  
И лес, который только что возник,  
Вдруг обступал непроходимым лесом.  
И сам поэт у входа в пустоту,  
А с виду, что на каменном мосту.

\* \* \*

Русский лес, из которого ну никак.  
Комариный реквием. Куст малины.  
Ты останешься в дураках,  
Потому что рядышком дом Мальвины.  
Пряничный домик, с подпольем и с  
Лестницей словно к иным пределам,  
Под которую долго катился вниз  
Вместе с яблоком перепрелым.  
Сколько лет прошло, а тебя почто,  
Как воришку, помнят недоброй славой?  
Ну, залез в чернильницу. Хорошо.  
Ну, отвадил псов с ментовской облавой  
И лисой Алисой. До слез смешно.  
А при чем тут кукла? Кусок полена?  
Человечек, азбуку и еще  
Устный счет не знающий? Где таверна,  
Где твои попутчики из блатных  
Угощались водкой на все, без сдачи?  
А всего и было пять золотых,  
Под язык заложенных наудачу.

\* \* \*

В сухих, как философия, стихах  
Все запятые вид осенних листьев  
Вдруг принимают, с дерева опав  
Охапкой всей, как в час самоубийства,  
На стол в кровоподтеках и плевках.

И двери распахнутся впопыхах  
Усилием поднявшегося ветра.  
Зацокает на быстрых каблуках  
Жена теперь моя, а не Эвтерпа  
С французскими багетами в руках.

И музыка, срывавшаяся с двух  
Когда-то флейт, растерянно смолкает,  
Почти неразличимая на слух,  
Лишь отзвук оставляя мне на память,  
Как невесомый лебединый пух.

Ну вот и он, как маячок, потух.  
В такую ночь-то и вступают скрипки  
В финале фильма: нарастает звук  
Все громче, громче перед тем, как титры  
Дадут и флейта выпадет из рук...

---

---

Елена ЛЕВАНОВА

# ЧУЖОЙ МУЖЧИНА В МОЕМ ДОМЕ

## Рассказ

День не задался с самого утра. Мама ушла на работу очень рано, и будить Таню заявился этот Валерий. Он был для нее чужим человеком, и девушка предпочитала делать вид, что его не существует. Поэтому все слова, мол, надо вставать, нельзя опаздывать, Таня пропустила мимо ушей.

Она окончательно проснулась, когда на часах была половина девятого и первый урок в школе уже начался. Быстро натянула синие узкие джинсы, вязаную голубую кофту и подошла к зеркалу. Там отражалась высокая, худая, кареглазая девушка-подросток. Каштановые волосы на прошлой неделе были подстрижены в стильное каре. Пухлые губы, прямой нос и маленькая родинка на правой щеке нравились Тане больше всего.

Таня привыкла быть всегда лучшей. Отличница, самая красивая девочка в классе, дружит с парнем — старостой, спортсменом. У нее модные вещи и золотые украшения. Недавно папа подарил серьги с бриллиантами, которые Таня теперь не снимает. Все было хорошо в ее жизни, пока не появился — он, ненавистный чужак.

Валерий гремел посудой на кухне, поэтому завтракать Таня не стала. Выгребла из копилки в кошелек последние карманные деньги, решила, что купит что-нибудь в школьном буфете.

На дворе середина октября, и для этого месяца погода стоит холодная. Но Таня продолжает носить короткую черную кожаную куртку. Шапку она не надевает принципиально, не собирается портить укладку. Мать давно перестала уговаривать Таню одеться потеплее. Дочь только дерзит: я большая, мне лучше знать.

Год назад мать привела в дом этого Валерия и сказала, что он будет жить с ними. Таня эти слова не восприняла всерьез. Как такое возможно? Это дом ее, мамы и папы. Чужого дядьки здесь быть не должно. Мама — еще красивая, худенькая, хрупкая, пышноволосая, сероглазая, кандидат медицинских наук. Что у нее общего с этим типом, который даже высшего образования не имеет?

Тане Валерий казался громилой. Корявым, неповоротливым, с огромными волосатыми руками. У него вообще волос на теле было как у неандертальца. Шевелюра черная, густая и еще усы. И он курил. Работал мастером на заводе. Да разве это профессия для настоящего мужчины?

Вот папа был совершенно другим: подтянутым, стройным. У него своя компания по продаже строительного крепежа. Папа никогда в жизни не носил усов. Зачем они вообще нужны человеку — чтобы пачкать их во время еды?

---

Елена Ивановна Леванова родилась в 1986 году в городе Краснослободске, Республика Мордовия. Окончила Российский государственный университет туризма и сервиса по специальности «психология». В 2017 году окончила курсы Creative Writing School (мастерская Ольги Славниковой). Имеет несколько научных публикаций. В настоящее время проживает в Москве.

НЕВА 9'2018

Первое, что не понравилось Тане в Валерии, — это соус на усах во время первого совместного ужина. Мама засмеялась и убрала своей салфеткой жирный потек. А Таню от вида этого безобразия чуть не вырвало.

\* \* \*

Хорошо, что сегодня из школы Таню забирает папа. Она любила проводить с ним время. Папа с мамой временно разъехались, но от этого они не перестали быть одной семьей. Раньше они все вместе ходили в зоопарк, в цирк, в кино, с каждым годом все реже и реже, но все-таки. Когда появился этот Валерий, мама с папой уже никуда вместе не ходили.

Сегодня папа был какой-то нервный. Не спросил, как обычно, что нового в школе. Не щелкнул Таню по носу и не ущипнул, любя, за щеку. Все время оглядывался по сторонам, словно ждал кого-то. Тане было все равно. Она перед кино решила перекусить в любимом кафе.

В глубине души Таня мечтала, чтобы мама с папой снова стали жить вместе. Она давно уже не верила в Деда Мороза, но если бы была хоть малейшая вероятность его существования, девочка написала бы сотни писем с просьбой, чтобы ее семья вновь стала полной.

Когда папа вдруг перестал ночевать дома, мама сказала, что он уехал в командировку. Но Таня понимала, что это не так. Каждый раз из командировки папа привозил дочке подарок и магнитик. А в тот раз магнитика не было. А подарок был дорогой, даже слишком дорогой.

Позже родители сообщили Тане, что папа устроился на хорошую высокооплачиваемую работу, но ему нужны тишина и покой. Поэтому он поживет отдельно, но по первому звонку будет приходить к Тане. И действительно, всякий раз, когда Таня болела или у нее возникали проблемы в школе, папа прибегал. Сначала Тане даже понравился такой новый распорядок. Раньше родители часто ссорились, и Таня в свои одиннадцать понимала, что крики и взаимные обвинения ни к чему хорошему не приведут. А теперь дома стало тихо. Все было хорошо. Втайне Таня мечтала, что папа зарабатывает много денег и вернется. А тут появился этот Валерий и испортил всю ее жизнь.

После основного блюда Таня заказала себе шоколадные пирожные. Это мама следила за правильным питанием, а папа баловал свою дочурку и позволял ей многое. Но тут к столику подошла незнакомая женщина. Папа вскочил, подал ей руку. Незнакомка была высокая, темноволосая, совершенно непохожая на маму. Таня поперхнулась куском пирожного и сильно закашлялась. Папа испуганно отпрянул от женщины и бросился к Тане, принялся стучать по ее спине слабым кулаком.

— Все будет хорошо, все будет хорошо, — приговаривал он.

Прокашлявшись, Таня искоса глянула на женщину. Заметила округлившийся живот. Не от сладкого точно. Столько сладкого не съесть.

— Познакомься, Таня, это Марина. Марина, это моя дочь Танюша, — заговорил отец с натянутой улыбкой.

Таня переводила взгляд то на папу, то на женщину с большим животом и все ждала, когда же они скажут: шутка, мы пошутили. Но они продолжали молчать и улыбаться. Тогда она, не сказав ни слова, схватила свою куртку и бросилась к выходу.

\* \* \*

Дома Таня попыталась скрыться в своей комнате, но в прихожей ее уже ждали мама и этот Валерий. Мама выглядела растерянной, а Валерий крепко держал ее за руку.

В черных растянутых трениках и мятой майке навывпуск, он показался Тане еще более неуклюжим и неприятным.

— Это ты, это ты во всем виноват! — выкрикнула Таня в лицо чужому дядьке. — Мама с папой были бы вместе, если бы не ты!

Мама уже знала, что случилось в кафе: отец звонил ей несколько минут назад.

— Танюш, нам надо поговорить, — произнесла она мягко, осторожно подбирая слова. — Папа от нас ушел давно. Это был его выбор.

Таня еле сдерживала слезы.

— Неправда. Папа не уходил, он просто жил отдельно, потому что у него работа нервная.

Мама оглянулась на Валерия, ища у него поддержки.

— Да, мы так тебе сказали. Но у папы давно другая семья.

— Неправда, ты все врешь!

— Татьяна, ты должна выслушать мать... — вмешался Валерий. Он редко заговаривал с Таней, только по самой большой необходимости или в присутствии мамы, чтобы поддержать беседу. Сейчас по голосу его Таня поняла, что у него заканчивается терпение. — Мама желает тебе добра...

— Если бы желала, то тебя бы здесь не было! — выпалила Таня. — Убирайся, видеть тебя здесь не хочу!

— Он здесь живет и будет жить, — мама выглядела испуганной, но говорила твердо. — Я боялась сделать тебе больно, избегала конфликтов. Да, я создала тебе иллюзию, что у нас с папой все хорошо. Но одна ложь тянет за собой другую. Я надеялась, что ты повзрослеешь, поймешь. Танюша, тебе уже пятнадцать лет! Мы с Валерой вместе, и мы счастливы. Пора смириться.

Таню затрясло.

— Пока этот здесь, — Таня ткнула указательным в сторону чужака, — ноги моей в этом доме не будет!

Она выскочила на лестничную площадку и изо всех сил грохнула дверь квартиры.

\* \* \*

Таня почти бежала по улице. В груди бушевал гнев. Ей хотелось кричать во весь голос и крушить все, что попадает на пути. Она зло пнула валяющуюся на тротуаре стеклянную бутылку из-под кока-колы, бутылка отлетела к бордюру и разбилась на острые осколки. «Вот так разбилась моя мечта о воссоединении семьи», — подумала Таня.

До нее вдруг дошло, что не все ее желания будут исполняться. Однажды она смотрела на Ютубе ролик известного психолога, который учил правильно мечтать. Он предлагал загадать желание и вспоминать его каждый вечер перед сном. А потом представлять, что желание уже исполнилось, и жить с этим как с данностью. Таня упражнялась целый месяц. Воображала, что у нее снова полная семья. Теперь она горько подумала, что мечта сбылась в двойном объеме. Стало целых две полных семьи: отдельно мамина и отдельно папина.

Почему взрослые такие эгоистичные? Почему они думают только о себе? Зачем женились и заводили детей, если затем разведутся?

Таня шла долго, пока не поняла, что ноги окончательно промокли. Темнело, дождь все не кончался. Надо было отыскать какое-нибудь пристанище. Таня и раньше подумывала уйти из дома, но на этот случай она всегда представляла, что будет жить у папы. А мама начнет искать, придет за ней и останется навсегда. И снова они будут

крепкой, дружной семьей. Но теперь путь к отцу закрыт. Перед глазами Тани стояла беременная женщина, совершенно непохожая на маму.

К подружкам тоже нельзя: у них родители будут искать Таню в первую очередь. К своему парню не пойдешь — они встречаются меньше месяца. Как объяснить его родным, что делает чужая девочка в их доме?

Глупо получилось. Угораздило сбежать из дома без денег и без четкого плана действий. «И почему я не пошла в сторону метро, там торговый центр, хоть бы отогрелась», — корила себя Таня.

Но на пути попадались только жилые дома и детские площадки. Потом Таня долго брела по парку, который казался ей голым. Листья давно облетели, и мокрые ветви мерзли, качались под ветром.

Выйдя из парка, Таня уперлась в деревянный забор, огораживавший какую-то плохо освещенную территорию. На стенде значилось: «Дом под снос».

Таня остановилась. «Надеюсь, ночью этот дом не будут взрывать», — подумала она.

Забор только с виду казался крепким, на деле доски шатались, и пролезть на территорию не составило труда. Старая панельная пятиэтажка доживала последние дни среди мусора и изувеченных кустов. Измазанная глиной деревянная плаха вела в разбитое окно первого этажа. Таня приставными шажками поднялась по этому шаткому мостку и спрыгнула в комнату.

Внутри было темно и пахло тухлятиной и сыростью. По стенам ветвились трещины. Тут и там свисали отяжелевшие куски рваных обоев, с потолков сыпалась побелка. Таня не стала подниматься выше первого этажа. Вдруг дом обрушится, и она не успеет спастись. А здесь, внизу, многие окна разбиты, можно выбраться наружу, даже если завалит входную дверь.

Таня шла медленно, делая маленькие шаги. Под ногами то и дело скрипели доски, скрежетали битые стекла, в промокших ботинках хлюпало. Таню пробирала дрожь, не то от холода, не то от страха.

Остановилась Таня в комнате, которая раньше служила детской. Сломанная деревянная кровать, изрисованные обои с мультяшными персонажами, в дальнем углу сдувшийся мяч. Здесь было немного теплее, чем в других помещениях. Батареи, конечно, давно отключили, но, по крайней мере, не дуло. Оконное стекло пересекала толстая радужная трещина, но кто-то заслонил ее фанерой и подложил тряпок. От этого в комнате было темно, но и тепло.

\* \* \*

Таня не осознавала, сколько времени прошло с тех пор, как она попала в заброшенный дом. Заряд на телефоне показывал тридцать процентов, и постоянно включать фонарик было нельзя. В темноте Таня сняла мокрые ботинки и носки, а на ступни натянула кожаные перчатки. Было неудобно, зато сухо. Ладони Таня прятала в карманы джинсов и очень жалела, что не надела куртку подлиннее.

В углу комнаты Таня нашла заскорузлое тряпье и собрала его в одну большую кучу. Зарывшись в тряпки, она немного согрелась, зубы перестали выбивать дробь. Поколебавшись, она включила телефон. На дисплее высветилось тридцать девять пропущенных вызовов от мамы, тридцать вызовов от папы и еще пятьдесят звонков с незнакомых номеров. Таня горько ухмыльнулась: «Пусть теперь переживают, раз раньше не ценили».

Чтобы как-то скоротать время, Таня стала фантазировать. Заброшенный дом представлялся ей заколдованным стариком. Он был дряхлым, больным и покинутым. Давно, когда его только построили, он радовал людей. В нем хотели жить, за ним

ухаживали, берегли. Но с годами силы покидали дом, хозяева меняли его на лучшие условия, забывали, уезжали. Брошенный дом, как брошенный человек, умирает тогда, когда о нем забывают.

Вдруг послышался шорох.

Таня вскочила на ноги. Включила фонарик в телефоне и направила на источник шума. В дверном проеме стоял страшный мужик в оборванной одежде, заросший дикой бородой до узких маленьких глаз. Нельзя было определить, сколько ему лет. Таня знала, что бомжи могут выглядеть на семьдесят, а по паспорту, если он есть, окажется сорок или около того. От человека пахло, как от мусорного ведра. В любой другой ситуации Таня за километр не подошла бы к этому существу. Но куда ей идти на ночь глядя? Сколько еще таких людей она встретит на улице?

— Уходи отсюда! — крикнула Таня, стараясь, чтобы голос прозвучал требовательно, без дрожи. — Я первая нашла этот дом. Он мой!

Человек шмякнул на пол какие-то неопрятные пакеты и, не глядя на Таню, пробурчал:

— Когда на свой дом заработаешь, вот тогда и будешь командовать. А пока ты в любом доме гостя. Заткнись и забейся в угол, чтобы я тебя не слышал. А то выгнать на улицу под дождь.

Таня замолчала. В доме, где почти все окна были разбиты, ясно слышались порывы бешеного ветра и тяжелый шум ливня. При мысли вновь оказаться под открытым небом Тане стало зябко. Она съежилась и обхватила руками колени. Так было немножко теплее.

Бомж, почесываясь, вышел и через минуту вернулся, волоча железную бочку, закопченную и пропахшую гарью. Поставив странное сооружение на середину комнаты, он накидал в нее веток, обломков мебели, вытащил откуда-то из глубин своей вонючей одежды спичечный коробок. Скоро в бочке заплясали языки, от огня пошел едкий розовый жар.

— Иди к костру, грейся, — хрипло позвал бомж.

Таня не хотела приближаться к противному соседу и его бочке, но очень было холодно. Переступив через гордость, Таня поднялась на затекшие ноги, медленно подошла и протянула ладони к огню.

— Почему ты не выгоняешь меня? — спросила она.

В ответе бомжа не прозвучало ни злости, ни гнева. Скорее усталое равнодушие:

— Ты видела, что на улице творится? Да в такую погоду даже паршивую собаку на улицу не гонят.

Тане стало не по себе. Ведь именно сегодня она хотела выгнать Валерия из дома, и ей было все равно, какая погода за окном.

Бомж покопался в своих пакетах, один целлофановый постелил на пол и на него стал выкладывать свою сегодняшнюю добычу. Полусгнившие бананы, надкусанное зеленое яблоко, мятая банка горошка и почти целая пачка дешевого печенья. Сам он вцепился зубами в кусок ветчины, заедая ее засохшим батоном. Затем бомж зыркнул на Таню и предложил:

— Будешь?

Таня брезгливо покосилась на помойную провизию. Живот предательски заурчал. Есть хотелось сильно, но Таня решила, что скорее умрет, чем проглотит что-то из предложенного.

— Спасибо, я не голодная.

Мужчина пожал плечами и продолжил уплетать свою ветчину:

— Мне больше достанется.

Они больше получаса просидели в тишине. Мужчина поел, остатки пищи спрятал в пакет и стал считать пустые стеклянные бутылки, принесенные в черной тряпичной сумке. Таня не знала, что ей делать дальше. До утра еще очень долго. Закрывать глаза было страшно: неизвестно, чего ждать от незнакомого человека в грязной одежде.

— Как вас зовут? — спросила она наконец, не выдержав долгого молчания.

Бомж, продолжая брякать стеклотарой, буркнул:

— Чинарь.

— А меня Таня.

— А мне все равно, — отозвался бомж, укладывая сосчитанные бутылки обратно в черную сумку.

— По имени вас как? — Таня попыталась поддержать разговор.

— Я же сказал: Чинарь, — с раздражением бросил грязный мужик.

— А по паспорту?

— Паспорта у меня нет, поэтому имени другого нет, — грубо оборвал ее бомж и поволок свои сумки вон из комнаты.

\* \* \*

Таня больше ничего не спрашивала. Она погрузилась в мысли о себе, о маме, о папе. Как же она не замечала, что родители много ругались, когда жили вместе? Плохие воспоминания стерлись из детской памяти, остались лишь добрые, где они были втроем. Но таких было очень мало, а Тане хотелось, чтобы их стало больше. Может, именно из-за этого она мечтала, чтобы папа с мамой вновь стали жить вместе. Ей не хотелось верить, что ее семья неполноценная. Что она сама часть чего-то неполноценного.

Незаметно Таня задремала. Глаза ее почти закрылись. Но вдруг резкий деревянный скрежет заставил ее вздрогнуть всем телом. Бомж, стоя к ней спиной, доламывал детскую кроватку.

— Не трогайте! — закричала Таня, вскакивая на ноги.

Она сама испугалась звука своего голоса. Чинарь замер с вывороченным обломком в темной лапе. Таня сама не понимала, что на нее нашло. Вид грязного мужика, крушившего кроватку ребенка, вызвал у нее жуткое чувство.

— Почему? Греться чем будем? — прохрипел Чинарь, недовольный тем, что его напугала приبلудная девчонка. — Или ты пойдешь на улицу за досками в такой дождь?

Таня замялась.

— А в других комнатах ничего нет?

— Иди поищи сама, — отозвался Чинарь, с треском ломая через колено перила кроватки.

Таня съежилась. Ей вновь стало холодно и страшно.

— Почему вы живете в этой развалюхе? — спросила она.

Еще недавно она дала себе слово не заговаривать больше с этим диким человеком, от которого ужасно пахло. И вот опять пытается вступить с ним в диалог.

— А где мне жить? — Чинарь, не глядя на Таню, криво ухмыльнулся.

— У себя дома.

— А если у меня его нет?

— У всех есть дом.

— Так почему ты сейчас не у себя? — с издевкой спросил Чинарь, покосившись на Танины ноги, похожие в перчатках на лапы обезьяны.

— Я там лишняя. Мое место заняли, — печально ответила Таня и вдруг поняла, почему так невзлюбила этого Валерия с первой же минуты.

Валерий пришел, чтобы забрать внимание мамы, предназначенное только для Тани. Даже когда мама и папа жили вместе, Таня знала, что она номер один, центр их общего мира. А теперь появился кто-то претендующий на отдельное место в маминском сердце. Таня не собиралась ни с кем делить свою собственную маму. Так же, как не готова была делить любовь папы с будущим братом или сестрой. Да, Таня хочет быть первой всегда, лучшей во всем и даже больше — она хочет быть единственной. Единственной для мамы, единственной для папы, центром вселенной для своих родных, чтобы там была она одна и никого больше.

Тане стало стыдно. А может, стыдиться нечего? Все говорят, что эгоисткой быть плохо. Но что если этот эгоизм — часть твоего «я»? Ты не можешь измениться. Либо принимаешь и любишь себя целиком, либо обманываешь всех и себя в первую очередь, пытаясь казаться другим человеком.

Бомж, не склонный к душевным разговорам, доломал перила кровати в щепу и бросил дрова в остывающую бочку. Огонь вновь разгорелся, жар прошел по комнате волной. Потом Чинарь нагреб с пола тряпья и картонок, по-звериному зарылся в этот мусор, и скоро из кучи послышался клекочущий храп. Остаток ночи Таня просидела, глядя то на костер, где, казалось, догорали последние обломки ее детства, то на грязного мужика без своего дома и имени. Она так и не узнала, почему Чинарь живет в заброшенном доме, а он так и не услышал, почему Таня эту ночь провела не в своей постели.

\* \* \*

С первыми лучами солнца Таня выбралась из своего ночного укрытия. Дождь прекратился, но сырость была повсюду. Ботинки и носки так и не просохли. Таня мечтала побыстрее переобуться и погреть ноги в горячей воде. Выпить теплого чая, забраться с головой под одеяло и забыть этот жуткий заброшенный дом.

По дороге домой Таня несколько раз повторила про себя то, что она скажет маме и Валерию. Мать обрадуется, а что почувствует Валерий, Таню по-прежнему не волновало. Но если мама счастлива рядом с этим мужчиной, Таня будет терпеть.

Таня дернула входную дверь — она была не заперта.

В квартире стояла неестественная тишина. Хотя все шторы на окнах были раскрыты, казалось, будто наступили сумерки. Мать сидела одна. Глаза ее опухли, на белом лице проступили красные пятна. Таня хотела что-то сказать, даже открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Мама посмотрела на нее без всякого выражения и хрипло произнесла:

— Теперь это твой дом. Его больше нет, как ты и хотела.



бое другое время дня один-единственный крик «Мама!» будил весь дом. Потому что это непременно был крик о помощи. На него сбегались к окнам мамы, бабушки и некоторые папы. Но ближе к восьми вечера даже групповое выкрикивание этого божественного слова не давало результатов: мамы отдыхали и не спешили звать на мультфильм.

\* \* \*

Саше нет и девяти. Она гуляет одна во дворе дома на улице Судостроителей. Их много гуляет. Почти у всех мамы, бабушки и даже папы уже дома. Но дети на улице. В Сашином дворе — единственный на весь район «городок». Деревянная детская площадка с каруселями, массивными качелями в форме сонливых крокодилов, песочница и огромная башня в три, а то и четыре детских роста. Все сделано из добротных бревен и толстых цепей. И этот новгородский посад появился в самом страшном дворе самого страшного района. Благодаря городку в Сашин двор сбегаются со всей округи дети, в основном школьники, но иногда появляются даже пятилетние. Это хулиганы и беспризорники — приличные семьи пятилетних детей в чужой двор не отпускают — у приличных семей семилетние гуляют в своем дворе.

Стоит декабрь. В восемь часов уже темно и холодает. Саша догуливает вечер. Уже промокли от частого забегания в подъезд валенки. На шерстяных мохеровых штанах выросли ледышки. Она подтягивает их грязными окоченевшими руками — весь вечер они с Анькой лепили из снега торты. С ними вместе копошились еще несколько маленьких девочек. Анька только что убежала домой. Она живет через дорогу, и ей из Сашиного двора не видно, когда мама и папа возвращаются домой. Сегодня они торговали на рынке. Их не было две недели, они ездили в Турцию за кожаными куртками и сумками и теперь их продавали. Анька боялась пропустить их возвращение. Она уже бегала вечером домой, хотела узнать, много ли родители продали. Каждый раз, когда мать с отцом приезжали с рынка расстроенные, Анька радовалась: ведь если они так и не продадут свои куртки, то не уедут больше в Турцию. И в Польшу не уедут. А вот Саша от этого расстраивалась. Не уедут, значит? Хотя Анькины родители любили ее, она все равно при них стеснялась — уж очень в их квартирке было тесно. Без родителей к Аньке всегда можно было пойти, а когда дома родители, уже неудобно. Вот если бы они сейчас были в Турции, Саша сразу бы пошла к Аньке, а не ждала в темноте. Детей во дворе стало еще меньше, Саша замерзла, а домой идти страшно.

Рядом на кроватях прыгали девочки постарше. Это основа для кровати из сетки рабица. Чьи-то родители заботливо вынесли одну во двор и приставили к развалившейся скамейке. Через день появилась другая кровать. На них прыгают, как на батуте. Сейчас на кроватях две большие девочки. Саша их всегда немного побаивалась, но когда Анька убежала, Саша передвинула свои игрушки к ним поближе, и другие маленькие сделали точно так же. Одну из старших Саша знала и боялась — это Алсу, сестра Гули с четвертого этажа. Алсу уже ходила в школу, курила и дралась. У Алсу мать была красивой, статной татаркой. Уже немолодая, она часто приводила домой молодых и таких же круглолицых татар и отправляла дочек коротать вечер на улице. Алсу уже разрешали гулять по всему району, ее и в десять часов можно было встретить за железной дорогой. А сестра Гуля в сумерки плохо видела. Она носила толстые очки и вечером не выходила на улицу — Гуля бегала в коридоре. Там была своя компания, свой круг детей, которые почему-то почти не гуляли на улице и целыми дня-

ми носились по всем восьми этажам. Но и Гуля, и Алсушка все равно были лучше мальчиков.

Мальчики на Лесобазе — это всегда зло и страх. Мальчиков раньше отпускают гулять одних. С трех лет они весь день во дворе. К пяти это чистые звери, которые гуляют до поздней ночи — их никто не зовет домой. Однажды Саша даже спросила маму: «А почему у алкоголичек рождаются только мальчики?»

Мальчиков девочки боятся. Потому что мальчики могут отобрать что угодно, они громко ругаются, умеют материться и часто дерутся. Когда во дворе появляется сразу несколько мальчиков, у Саши стынет внизу живота. Она их не различает, не запоминает. Они все кажутся чужими, не поймешь, из какого пришли двора. Из мальчиков она знает только соседа Костю, к которому часто ходит в гости, и рахитика Димку. Ему уже пора в школу, а он ростом с двухлетнего. Димка живет с ней на одном этаже. Он редко гуляет на улице — его выпускают на прогулки в коридор. Там он катается на трехколесном велосипеде. Туда-сюда, туда-сюда. Пятнадцать квартир в одну сторону — пятнадцать в другую. Поздно вечером Димку зовет домой мать. Всегда в одном и том же халате и с одним и тем же большим животом, она все время что-то варит, прогорклый запах ее варева пропитал весь коридор. У нее есть другие два сына и муж-пьяница. Их почти не видно: они всегда сидят дома, на тринадцати квадратных метрах. А Димка весь день ездит на своем велосипеде. Димка задиристый, наглый, голодный. Его выпускают на самовыпас. Еще у Димки был очень сиплый голос. Как и большинство мальчишек Лесобазы, он сипел прямо с пеленок.

Остальных мальчиков с их улицы Саша по именам не знала. Для нее это был коллективный, без лица, портрет врага. В школе, куда ходили дети из других дворов и с других концов Лесобазы, мальчики лучше. С ними можно было поиграть. Некоторые даже не ругались. А один, тоже Димка, подарил Саше ромашку и рассказал, что если рядом ударит молния, нужно просто ее перепрыгнуть.

К восьми во дворе обычно оставались только мальчики, Алсушка с подружками и сиплая Саша из дома напротив. Остальных детей родители старались звать немного пораньше, чтобы те успели до мультфильмов помыть руки и поесть. Во всех их пяти однотипных домах, которые называли болгарскими пансионатами, потому что их в конце 70-х строили болгары, было два вида комнат — по девять и тринадцать квадратных метров. Семьям с одним ребенком, семьям без детей или матерям-одиночкам давали девять квадратов. За второго ребенка добавляли четыре. Нередки были в пансионатах перекрестные миграции, когда семье после рождения очередного младенца увеличивали площадь, а разведенке за ушедшего мужа ее урезали. Тогда счастливая семья менялась с несчастливой местами.

У Саши с мамой было сначала девять квадратов, но потом к ним из Казахстана приехала бабушка с младшей дочерью Ириной, Сашиной тетей. На них добавили квадраты, и вся семья переехала в комнату через стенку, где жили сантехник и его жена Лида. А сантехника отправили в Сашину комнату, потому что их сын после училища получил распределение на север и выписался.

Вскоре тетя Ира вышла замуж за военного и уехала с ним в Германию, но успела до отъезда получить на двоих с бабушкой еще одну комнату. Бабушка уехала к среднему сыну. А Саша с мамой остались на королевских тринадцати квадратных метрах вдвоем. В этой комнате помещалась настоящая квартира: там была прихожая примерно метр на метр, туалет с раковиной и висячим душем. В комнате стояли две кровати, кресло, мебельная стенка, телевизор, швейная машинка, кухонный стол и плита. Еще у них была большая лоджия. Но главное, что в их с мамой девичьей комнатке был отдельный кухонный островок. Некоторые семьи жили в таких комнатах четвером

и даже впятером, у них обеденного стола не было совсем или был откидной. Если кто-то садился есть, пока другой смотрит телевизор, оба друг другу мешали. Нельзя было и убрать посуду. Если ребенок не успевал поест до мультиков, его не кормили до конца передачи, потому что иначе мама будет мельтешить у него перед глазами.

Первыми убегали на «Спокойной ночи, малыши» дети, которые дома никому не мешали. Вслед за ними звали домой тех, кто из-за тесноты мешал своим мультиком ужинать. За ними шли те, у кого был дома отдельный стол и от кого дома хотели отдохнуть, — из звали к самому началу «Спокойной ночи, малыши» и тут же накрывали на стол. Самыми последними кричали домой детей загульных одиноких матерей, детей из совсем уж больших семей, не помещавшихся даже на тринадцати квадратах, и детей дебоширов — в общем, всех тех, кто дома страх как надоел и от кого всегда хотели отделаться. В половине девятого на улице оставались только дети трудогикиков и дети алкоголиков. У первых родители еще не вернулись с работы или ушли в ночную смену. Вторые про детей просто забывали. Песочница смирно ждала до первой мамы. До первого «Началось!» или «Пора!». Дети из плохих семей после восьми умолкали: не прослушать бы, как зовут на мультики детей из семей хороших. И прорваться домой нелегально, до срока. Часто кто-нибудь из мальчишек, привыкших коротать вечера на улице и до девяти, и до десяти, вдруг срывался домой в восемь.

«Эй, ты куда?» — кричат ему друзья.

«Меня мама позвала!» — отвечал он на бегу, совершенно ошалевший от радости, если мама сегодня и впрямь позвала его раньше. А бывает, что не зовет никто мальчишку, и тогда он сам себе привирает. Бежит домой, перепрыгивая через ступеньку, колотится, задыхаясь, в дверь:

«Ма-а-а-а-м, ты меня звала?»

Но мама не открывает дверь:

«Рань еще! Гуляй»

Мальчишка поправлял вдруг нелепо съехавшую набок шапку, вытирал грязной размокшей варежкой нос и возвращался на улицу. Он так хотел домой, что не дожидаясь, когда его позовут, и шел хотя бы провожать друзей, которых наконец кричали домой их мамы. Провожал то одного, то другого, проходя раз за разом этот желанный путь и обязательно заходя домой: ведь могло же так стать, что пока он поднимался на четвертый, шестой или даже восьмой этаж, мама все-таки его позвала. Он снова стучал в свою дверь, и снова дверь не открывали.

Сейчас, наверное, почти половина девятого. Уже зовут нормальных детей из девятиметровых комнат. Позвали домой даже Светку Пашенку, а ведь у Светки дома новый папа, и в такие вечера мать зовет ее на мультики поздно. Саша обычно в это время была уже дома, но сегодня мама задержалась. Она или опоздала на автобус, или на квартиру. Пятнадцать лет Сашина мама стояла в очереди на квартиру. В каком доме эта квартира, на каком этаже и какая именно, они давно знали, но заехать не могли, потому что стройка тянулась без конца. Они часто ездили с мамой на другой конец города, чтобы посмотреть на дом. Сейчас его почти достроили и обещали даже начать выдавать ордера, но все почему-то не давали. Зато разрешили потихоньку делать в квартирах ремонт. Вот Сашина мама его и делала. Именно что потихоньку, заезжая на квартиру после работы. Но сегодня мама ехать туда не собиралась. Отчего же ее нет?

У Саши не было часов, но были у Аньки. Анька убежала домой в половине восьмого. Саша стала отсчитывать в уме время, чтобы, если мама не придет и Анька не вернется, пойти к ней ровно в восемь тридцать. У Аньки квартира в пятиэтажном до-

ме, на первом этаже, до нее бежать недалеко. Саша живет на восьмом, и их дом гораздо страшнее Анькиного. На каждом этаже у них очень много квартир, на некоторых этажах нет света, вечером по коридорам бегают мальчишки, ходят пьяные. Один такой лежал на площадке между третьим и четвертым этажами еще несколько часов назад. Саша видела его, когда относила домой портфель. Хорошо, что у них две лестницы в разных концах коридора. На второй вообще никогда нет света, дети по ней не бегают, но если на первой лестнице лежит пьяный, то можно проскочить и по темноте. Вернее, прокрасться. Пролететь. Саша придумала это слово еще совсем маленькая. Если «улепетывать» — это убежать быстро, то «пролепетать» — пройти медленно. Например, по темной лестнице, вжимаясь от страха в подпорки поручня. Пролететь по лестнице — уходить от беды, от опасности, едва переставлять ноги, вслушиваться в каждый звук. Когда на пути у тебя лежит пьяный или снова идет вдоль стены окровавленный муж дворничихи, то приходится бежать в другой конец коридора и шагнуть на темную лестницу. Муж дворничихи на восьмом, а нужно на первый. Четырнадцать пролетов, сто двадцать шесть ступенек, которые приходится пройти на ощупь и ощупывать не только лестницу, но и звуки, запахи — их много и из-за них может выскочить кто угодно.

Саша не хотела подниматься домой одна. Она решила, что пойдет к Аньке. Анины родители знали, что Сашина мать работает допоздна, и привыкли, что ей одной страшно. Они любили Сашу, к ним всегда можно было пойти, если дома никого нет. Да, она так и делает. Но не сейчас. Сейчас рано и неудобно. У Аньки в квартире совсем мало места.

А другие дети кричали мам. Первым не выдержал совсем маленький мальчик с пластмассовым совком и в цигейковой шубке. Это третий мальчик, которого Саша знала. Шура Ксенофонтов, он живет на втором этаже, а его мама работает в садике воспитателем и даже ходила в гости к Аниной маме, тоже воспитательнице. Шура деловито отряхнул свой совочек и подошел к окну.

«Ма-а-а-а-м!»

Мама молчала.

«Маааам!»

Его окно не отвечало. Мальчик стал крутиться на маленьком пяточке, как бы раздумывая, что дальше делать. Потом он почему-то подошел вразвалочку к ним, девочкам, сказал вдруг: «А у нас кошка родила!» — и снова побрел к окну. Саша боялась его, как и других мальчишек, хотя этот точно был младше и не походил на хулигана. Но Саша все равно ничего ему не ответила и даже немного испугалась.

Шура мялся возле девочек и не знал, кричать ли в третий раз. Вдруг его мама сама высунулась из окна. Он сразу увидел в темноте ее силуэт, заслонивший собой теплый, оранжевый с подпалинами, свет из их комнаты. Саша подбежал к окну, вернее, к своей лоджии.

«Жди папу, папа сейчас придет с Тосиком», — спокойно сказала мама.

И правда — сразу же из подъезда появился Шурин папа. Тосика Саша увидела впервые — это собака такса. Она тут же отметила, что Ксенофонтовы живут хорошо, если у них и кошка, и собака. В основном в их пансионате старались не держать даже кошек — самим было тесно. Кошками лесобазовские дети вволю любовались на улице.

А Сашина мама? Теперь уже понятно, что мама задержалась на работе. Саша откопала из сугроба кусок фанерки, на которой каталась с горки. Она набрала на нее побольше снега и запрыгнула с ногами на лавочку так, чтобы видеть дорогу от оста-

новки. Она уминала руками снег на фанерке, делала из него большой гладкий каравай и каждую секунду смотрела на дорогу. Любая тень, любая фигура на мгновение перехватывали у нее дух — мама? Нет, это была не мама. Автобус приходил раз в полчаса. И каждые полчаса тянулись к их домам от остановки несколько уставших понурых людей, которые забирали с улицы своих детей. Если мамы в этой группе не было, следующие полчаса можно на дорогу не смотреть. Но Саша все равно смотрела: а вдруг мама зашла по пути в магазин и отстала? Но Саша уже сбегала к магазинам, когда мамы не оказалось в семичасовой порции родителей, промышленный магазин был закрыт, а продуктовый закрывался. Она, испуганная, вернулась домой: если мама не придет и на следующем автобусе, надежде больше не за что будет зацепиться. Разве что мама уснула по дороге? Такое один раз уже было. У них в те дни отключили воду. Они носили воду с колонки. Мама — в большой белой бочке с ручкой на завинчивавшейся крышке. Бабушка, которая жила тогда с ними, носила ведром. Саша — ведром. Анька тоже помогала, ей было интересно, потому что в их доме воду давно не отключали. Они тогда носили воду до глубокой ночи, а потом мама стирала Шашину школьную форму. И на следующий день уснула в автобусе.

А вдруг и в этот раз? Ночью у них на этаже шумели и один раз даже пнули в их дверь. Наверное, пинали долго, но когда Саша с мамой проснулись, то услышали только один пинок и за ним знакомый ор: «Где моя законная жена?» Было страшно, но не очень: «законную жену» они с мамой знали. Так они звали постоянно пьяного мужика с нижнего этажа. Когда он напивался, жена пряталась у соседей и муж ходил по квартирам. «Где моя законная жена?» Они с мамой давно его не боялись, знали, что он постучит-постучит в двери, да и мирно уснет. Когда засыпал, жена приходила за ним с маленьким сыном и утаскивала к себе домой.

Может, мама не выспалась из-за него? Саша повыше вытянулась над скамейкой. Автобус давно пришел, и люди уже разбежались по домам, но вдруг мама от них отстала? Саша подпрыгивала, всматриваясь в кусты, которые росли с двух сторон их тропинки. И тут на дорожке появилось темное, едва различимое пятно. Мама? Мама! У Шаши сжалось от радости сердце, и в центре ее что-то не застучало, а как будто заклокотало и захлюпало. В книжках пишут, что от волнения у людей стучит сердце, а у Шаши там, где сердце, пульсировала кровь. Какая-то большая тугая артерия, которая от радости или волнения так билась, что перекрывала Саше воздух.

Неужели мама? Пятно очень быстро приближалось и вот уже замаhalo руками.

Мама! Мама!

А почему такая маленькая? Уже не пятно, а пятнышко. Чем ближе оно подбегало, тем понятнее было, что это никакая не мама. Анька! Саша не в секунду, а в какую-то даже долю секунды заревела. Это Анька — не мама...

Анька совсем уже запыхалась. Она что-то говорила Саше наверх, но ничего не было слышно: рот Аньке закрывал уже растрепанный и намокнувший от дыхания шарф. Значит, родителей еще нет. Так заматывала Аньке рот только бабушка — родители знают, что еще тепло, а бабушке всегда мороз. Это хорошо. Хорошо, что родителей нет — можно прямо сейчас идти к ним домой.

Анька дернула Сашу за ногу:

«Слазь!»

А что слезать? Что Анька ей скажет? Понятно ведь, что никто не приехал.

«Я к пятиэтажке ходила. Пойдем вместе? Скоро автобус. И мама твоя, наверное, на нем придет. Моих еще дома нет».

Значит, Анька побежала смотреть родителей и не добежала до остановки. Анька всегда была смелее Шаши. Это, наверное, потому, что Аньке приходилось мень-

ше бояться: у нее есть еще бабушка да есть настоящий и всегда трезвый папа, а мама только недавно стала работать — до этого она сидела дома с Анькиной сестрой. И дом у них был чистый. И этаж первый. Если бы Саша жила так же, она бы ничего не боялась, а Анька все равно кое-чего боится. Например, ходить одна до остановки. Саша все еще стояла на своей скамейке и думала.

«А который час?»

Анька задрала рукав теплой куртки, отодвинула рукавицу и подчеркнуто внимательно всмотрелась в часы. Потом еще раз.

«Не вижу».

Саша наклонилась к ней сверху и тоже стала смотреть на циферблат, но ничего не могла разобрать.

«Ты притворяешься!» — догадалась она и слегка толкнула Аньку в плечо.

«Слазь и посмотри сама, а то не скажу!»

Анька тоже хотела побыстрее увидеть маму. И папу. Получается, что она хотела в два раза сильнее. Но Анька была лишь чуть-чуть, на самую капельку, смелее Саши и одна никогда бы не пошла на остановку. Видно было, что Анька начинает злиться. Она обхватила Сашу за ноги и стала раскачивать.

«Слазь! Слазь!» — Анька шатала Сашу из стороны в сторону.

«Слезай, а не «слазь», — без злобы поправила Саша. Ей тоже хотелось побыстрее встретить маму. Да, она боялась пойти на остановку, но очень хотела, чтобы Анька смогла ее уговорить. И Анька уговорила! Саша еще чуть-чуть подумала и прыгнула со скамейки. Потом она подтянула сползший под валенком носок, заправила обледевшую штанину шерстяных гетров внутрь валенка и рванула вперед. Анька за ней. Они пробежали по идущей от Сашиного дома дорожке, обсаженной низкими кустиками, выскочили на тротуар вдоль большой дороги и посмотрели по сторонам. Фонари здесь, у магазина, снова были выключены. Стояла темнота, и любую машину было бы видно издали. Они взяли за руки и перебежали дорогу. Потом выскочили на другой тротуар, который уже вел к остановке. Было темно. До включенного фонаря оставалось чуть-чуть. Нужно было перейти еще одну небольшую дорожку и подняться на крутую горку. Сегодня на всю Лесобазу горели только два фонаря: возле Сашиного дома и возле пятиэтажки. Кругом была темнота. Им стало страшно, Саша уже пожалела, что дала себя уговорить. Они хотели взяться за руки, но обе были в толстых варежках. Тогда Саша вцепилась Аньке в руку пониже рукава, но Анька быстро перехватила ее и взяла Сашу под локоть.

«Давай! До фонаря!» — крикнула Анька. Она все же была не так труслива.

Обе они пробежали по густой темноте шагов пятьдесят, а, может, и больше — Саша сбилась со счета. Было очень темно. Светло зимой от больших сугробов, а на дороге снег грязный, где-то под ним виднеются голая земля и асфальт. Этот снег не светит, а только поглощает последний свет. В такой темноте можно было не заметить даже маму.

«А у Шуры Ксенофонтова кошка родила», — сказала вдруг Саша, пока они бежали последние шаги.

Анька даже не услышала. Она хотела зацепить варежкой край шапки и оттянуть его, чтобы лучше слышать, но в варежке не получалось. Да и Саша все равно говорила ей в другое ухо. Она хотела повторить про кошку, а потом подумала: зачем? Ведь Анька даже не знает про Ксенофонтовых.

Но Анька добежала первая до фонаря, сняла варежку теперь уже с левой руки, отодвинула от уха резинку, на которую бабушка приматывала к Анькиной голове шапку, высунула из-под шапки ухо и переспросила:

«Что?»

Саша повторила тихонько, стыдясь нелепости и неуместности своих слов:

«У Шуры Ксенофонтова кошка родила».

«А сколько котят?» — сразу поинтересовалась Анька.

«Я не знаю. Наверное, пять. Наша Василиса ведь тоже родила летом пять. И когда мы кормили возле садика кошку, у нее тоже было пять котят».

Анька радостно согласилась:

«Да, хорошо, если пять. А покажешь? Я хочу котенка. Полосатого. Я назову его Томом. Как Том и Джерри. Мне папа на день рождения обещал».

Саша хотела спросить, кто это Томиджери. И еще хотела сказать, что она еще не видела котят и никогда, наверное, их не увидит, потому что ни разу не была у Шуры. И что Анькин день рождения в августе и до августа котят раздадут. Все это закрутилось у нее в голове и слиплось в какой-то большой ком. Она еще не поняла, почему больше не говорит и не спрашивает про Томиджери. Почему она замолчала и Анька тоже молчит. Она даже не сразу поняла, что вокруг шум и будто сверху над ее головой бьют железной колотушкой по железному ведру. Анька уронила снятую только что варежку, хотела поднять ее, но поскользнулась и почти упала. Она схватилась двумя руками за столб, но руки в теплой куртке были у нее слишком короткими, обхватить столб не получилось, и Анька снова почти упала. Она во второй раз попыталась схватить столб и опять упала, уже до конца. Саша смотрела на Аньку, видела, что та скользит на пяточке вокруг столба, что надо схватить ее, дать ей руку, но ничего не могла сделать. В ведра над ними снова застучали. Саша задергала головой, будто бы в поисках выхода. Но где выход, она не знала — этот сбивающий с ног, раздавливающий звук шел отовсюду. Она смотрела вниз, вверх, по сторонам и ничего не могла разобрать. Фонарь освещал лишь небольшой островок под ним. На этом островке стояли они, Саша с Анькой, а вокруг ничего не было видно и все гремело. Саша шарилась по этой темноте глазами и вдруг зацепилась за светлое пятно где-то вверху. Она прищурилась и увидела, что сразу в нескольких окнах на втором или третьем этаже горит свет. Из окна высывались какие-то люди, они пьяно гоготали и жгли бенгальские огни. Они кричали что-то то ли сами себе, то ли им, детям, но Саша ничего не могла понять: крики с балкона — и мужские рыки, и женские веселые взвизгивания — сливались в какое-то одно длинное неразборчивое слово. Саша только поняла, что кричали весело. И видела, что несколько человек были как будто в милицейской форме. Они кричали, а над головой Саши разорвались новые грозовые залпы. Наконец она поняла: из окон стреляли.

Она сразу метнулась в сторону. Не упала, не поскользнулась, а быстро побежала прочь. Раздалось еще несколько выстрелов. В нее! Ведь стреляют в нее! Как раз в выходящие она смотрела дома кино с Еленой Яковлевой, где расстреляли черную собаку. Сейчас она, Саша, также бежит в своей черной шубке по освещенному фонарем пятну, и в нее стреляют. Да и куда бежит? Не в ту сторону! Она бежит к остановке. Мама не придет. Мама не придет! Если мама проспала, никто ее на остановке не встретит. И люди в фуражках застрелят ее, эту маленькую подвижную мишень. Снова выстрел. Со всем рядом. Погас свет. Столб! Попали в столб! И Саша, уже ничего не замечая и не понимая, заметалась по кругу. Снова выстрел. И еще, и еще. Она только услышала, как из окна кричали: «Давай! Давай!» И громко смеялись женщины.

Саша вскрикнула, побежала вперед. Снег под ногами был мокрый и плотный, он забивался в валенки, с каждым шагом бежать становилось все труднее. Она уже не бежала, а протаранивала ногами дорогу. И не успела даже закричать. Не посмотрела на Аньку. Она бежала в сторону дома. Вот уже выбралась из сугробов на дорогу. Ее бы перебежать, а там еще чуть-чуть — и поворот во двор. Но дорога обледенела, спуска

к ней нет — можно только скатиться вниз. Она была здесь днем и помнила, что единственный расчищенный участок дороги есть у библиотеки. Далеко. Саша даже не посмотрела по сторонам, прыгнула вниз и покатила на проезжую часть, но ровно на середине дороги остановилась. Вся в снегу, в обледенелых валенках, в сбившейся меховой шапке и с руками, стянутыми за лопатками резинкой от варежек, она ворочалась по льду на спине, как жук. Пыталась перевернуться на левый бок, на правый. Ничего не выходило. Прохожих не было, только у железной дороги, где свет всегда горел, виднелись убежавшие фигуры. Кричать им вслед Саша боялась. Дикий страх останавливал от крика и подпирал горло огромным грозным кулаком откуда-то из живота. Крикнешь — застрелят. Да и кому кричать? Незнакомым людям, которые зимним вечером бредут понуро домой, в свои комнаты-клетки? Но ведь они же, знакомые взрослые, только что стреляли по ним с Анькой.

Анька... Анька. Саша, так и не сумев подняться на льду, стала отталкиваться от дороги ногами и доехала до тротуара на спине. Анька?.. Саша кое-как отползла к небольшому заборчику, огораживавшему палисадник. Схватила за него и встала. Анька!

Крикнуть сил не было. Посмотреть туда — ТУДА — не хватало смелости. Казалось, что убийцы затаились и ждут, когда она взглянет на них. Чтобы увидеть ее глаза и выстрелить. Саша зажмурилась и побежала домой. Уже на бегу она поняла, что больше не стреляют. Но остановиться не могла — слишком страшно. Тело кричало ей: пока стоишь — ты мишень, а когда бежишь — дичь, поэтому еще можешь спастись.

На узком скользком тротуаре вдруг появились частые прохожие — это возвращались домой новые порции мам. Автобус приехал!

«Мама!»

«Ма-а-а-а-а-ма!»

На Сашу никто не обращал внимания. Одну женщину она отерла слегка рукавом шубы. Тетка остановилась, схватила Сашу за шиворот. Это была жена бывшего дворника. Та самая, которая жила на втором этаже и тоже всегда была пьяная. Она поднесла Сашу к своему красному рыхлому лицу и серьезно спросила: «Ты совсем о...ла, м...?» И развернула спиной туда, к пятиэтажке. Саша дрыгала ногами и пыталась нащупать землю. Надо было пнуть красномордую тетку в колено и бежать, но воли не хватило. Она продолжала, оледенев от страха, висеть на теткой руке, пока та не бросила ее на землю. Саша тут же ползком ринулась прочь, в другую сторону, но запуталась в сползшем валенке и совсем завалилась на бок. Тетка не обернулась.

Саша в первый раз за эти минуты посмотрела туда. Туда! Там все было тихо. Да и минуты ли прошли? Она выскочила из-под фонаря, пробежала вдоль трех подъездов, скатилась на проезжую часть, переметнулась к тротуару, врезалась в тетку. Все? Могло пройти секунд двенадцать. Ну пятнадцать. А Саше казалось, что уже пришла ночь.

Она осмотрелась. Со стороны железной дороги подходили с остановки новые люди. Один человек вышел из библиотеки. Все спешили мимо — к ней, Саше, никто не спешил.

«Анька!» Саша встала, зашла за другой, неработающий, фонарный столб и оттуда осмотрелась. Аньки нигде не было видно. Глаза уже привыкли к темноте и стали различать очертания фигур, деревьев. Аньки не было. Они же вместе побежали, Анька не могла бежать за железную дорогу — она тоже обязательно бы помчалась домой. Обогнала? Проскочила в библиотеку? Может, Анька убита? Надо бы пойти и посмотреть, но не оторваться от столба. Бросить его и бежать домой сил тоже нет.

Саша завидела вдалеке прохожего. Мужчина. Трезвый? Она подождала, пока он подойдет поближе. В полушубке, унтах, облезлой ушанке, лица не видно. Точно такие же знакомые мужчины, но без шубы, стреляли в нее только что. Саша не подошла к прохожему и еще крепче схватила за столб.

Следом появилась женщина. Она быстро перебирала ногами в сапогах на массивных каблуках, в руках у нее была самая настоящая авоська, а в авоське — два огромных кочана капусты. Почему-то очень зеленые. Саша выдвинулась из-за фонаря, встала посреди тротуара и выжидала момент крикнуть. Но не успела, потому что женщина закричала первой. Не останавливаясь, прямо в лицо Саше она вдруг заголосила: «Ты чего стоишь? Бегом домой! Быстрее! Тут стреляют». Она слегка замахнулась авоськой с кочанами, как бы желая придать Саше ускорение. Не остановилась, прошла мимо.

Никого другого на улице не было. «Тетенька большая, в нее первую попадут», — подумала Саша и побежала за кочанами. Она быстро поравнялась с женщиной и хотела было рассказать, что это в нее стреляли. В нее и в Аньку. Что Анька не добежала до другого столба. Но страх еще не отпустил. Саше казалось — если она оттянет от лица свой замерзший и покрывшийся мелкими сосульками шарф, если откроет рот, то ее тут же обнаружат и застрелят. Она хотела быть ниже, тише, незаметнее. И ничего не сказала про Аньку.

Женщина с капустой дошла до Сашиного двора и свернула в дом напротив. В последний дом. Во дворе, несмотря на темноту, еще гуляли дети. Дрались на палках незнакомые парни. Девочки качались на бревне, подвешенном на цепях. Алсу уже не было. На скамейке совсем маленький мальчишка спичкой чиркал по размокшей ленте пистонов. Взрослых тоже не было. Саша стала ходить от одной группы детей к другой. Нигде не нашла знакомых — играли мальчики и девочки из других домов.

Саша не знала, дома ли мама. Вдруг они с ней разминулись? Вдруг мама прошла в той партии мам, которые не остановились? Она сняла рукавицу с левой руки, задрала рукав шубы, но маленьких часиков, таких, как у Аньки, с Микки Маусом, на запястье не было. Она ведь потеряла их вчера! Да! Им с Анькой часы подарил Анькин папа, и Саша свои вчера потеряла.

Саша снова пошла к детям. У компании мальчиков постарше она не своим голосом спросила:

«Не скажете, который час?»

К ней обернулся рыжеватый парень в такой же ушанке, что была на мужчине в унтах. Парень на морозе гулял в легком пальто, верхние его пуговицы были расстегнуты, шарф растрепан.

«Чего?»

Парень просто ее не понял. Саша, будто в записи, повторила:

«Не скажете, который час?»

Парень точно так же отреагировал:

«Чего?»

«Время сколько?» — Саша поняла, что он просто не распознает сложный язык. Про сложноподчиненные предложения им в школе еще не рассказывали, но она сама про них читала и знала, что в речи бывают простые и сложные конструкции, короткие и длинные. Что Светкина бабушка все длинные предложения всегда переспрашивает. И сестренка Аньки, маленькая Женя, тоже. Взрослые и умные говорят длинными предложениями, а маленькие или старенькие — короткими. Парень не был маленьким — он был просто глупым.

Впрочем, нет, скорее, не глупым, а запущенным.

«Рано еще», — ответил он на понятное «сколько время». Имея в виду, что рано проситься на мультики.

Саша уточнила:

«Никого еще не звали?»

«Не-а. Всех позвали, а мы ждем», — хмыкнул парнишка. В его исполнении получалось «э-а». Саша так и не поняла, что это значит — что уже поздно или еще рано?

Саша походила туда-сюда. Надо бы покричать маму — вдруг вернулась? Она подошла к дому и, задрав голову вверх до отказа, тихо и жалобно пропищала:

«Мама!»

Ее никто не услышал. Вообще никто. Она оглянулась — все было по-прежнему, дети играли. Саша повторила чуть сильнее:

«Ма-а-ма!»

Посмотрела на дом. Вспомнила, что кричать из-под самых окон не надо, так хуже слышно. Они жили на восьмом этаже. Саша отошла от дома на расстояние, в котором уместились бы, лежа на земле, этажей пять или шесть. Подняла голову, но не высоко-высоко, а так, чтобы кончик носа смотрел точно в козырек их лоджии.

«М-а-а-ма-а!» — это было уже громко и немного обреченно.

Еще раз, громче! Она оттянула вниз мешавший шарф, поправила шапку, набрала воздуха в грудь... и услышала, что ее «Мама!» кричит кто-то справа. Саша повернулась — маленький мальчик в клетчатом пальто и песочного цвета цигейковой шапке, сложив руками в варежках рупор, кричал в него. Звук получался глухой и тупой.

Саша начала нервничать. Ведь никто сейчас не выглянет. Сбил ей все своими мультиками. Она по делу! По делу!

«Мама!» — настойчиво крикнула Саша.

Мальчишка догадался снять варежки и тут же позвал свою маму. Затем послышался третий голос. По голосу она узнала сиплую Сашу. Другая Саша жила в доме напротив, но окна их выходили в этот же двор. Стоя почти спиной к Саше, эта Саша кричала в свою сторону:

«Маааааам!»

Не дождавшись ответа, девочка зычно спросила:

«Пора?»

Она жила на первом этаже. В ответ на ее крик из противоположного дома раздался стук посуды, как будто кто-то стучал об эмалированный таз ложкой.

Саша повернулась к Саше и сказала:

«Рано еще».

Ее мать была немая. Отец как-то с похмелья разозлился на тетю Любу и отрезал ей язык. Саша говорила, что отрезанное он тут же выкинул в мусоропровод. Саша сразу побежала на улицу, туда, где вываливался из трубы мусор. Она долго искала мамин язык, но не нашла. Отец у них тогда так напился, что целый день не выпускал мать из комнаты. Когда приехала «скорая», которую Саша вызвала все из той же библиотеки, он не открыл дверь. Врачи ушли. Мать в больницу забрал потом сосед, он работал на небольшом грузовике и в те дни возил дыни. Мать умирала.

Ее все же спасли, но с тех пор она без языка не говорит. С Сашей, когда та на улице, мать общается сигналами — колотит что-то по тазу, а дочка знает: «Пора домой!», «Ужин!», «Отец пьяный!». Для мультиков у нее тоже был особый сигнал.

«Рано», — повторила сиплая Саша.

Саша снова повернулась к своему дому. Она оттянула назад шапку, потому что от бега и крика вспотела, волосы выбились и свисали на лицо. Шапку даже хотелось снять — так было жарко. Но возиться с резинкой некогда. Чтобы шапка не слетала и не отходила от ушей, бабушка пришила к ней резинку, которая проходила под шейей и накидывалась на голову. Снимать и надевать эту резинку было муторно. Саша осталась в шапке.

«Ну, ма-а-а-а-м!» — крикнула она.

Свет в ее окне, за остекленной лоджией, горел. Но это ни о чем не говорило — чтобы воры думали, будто дома кто-то есть, они всегда держали лампочку зажженной.

«Ну, мама!» — повторила Саша. На этот раз получилось тише, потому что крик смазался выкатившимися слезами.

Саша переминала ноги в снегу. Захотелось вдруг писать. От волнения она всегда часто писала, из-за чего боялась выступать или отвечать на уроке. Пописать можно было на первом этаже, под лестницей. Или в башне. Заходить в дом она не решилась. Все годы, прожитые на Лесобазе, она всегда боялась своего дома. Пришлось идти в башню. Она обошла башню несколько раз, постепенно уменьшая протапываемую окружность. Убедилась, что мальчишек поблизости нет, и юркнула внутрь. Там долго возилась со штанами — снять с мокрого от пота тела шерстяные в сосульках гетры, подштанники, колготки и трусы было тяжело, тем более что на руках болтались пришитые к резинкам обледенелые варежки. Она широко расставила ноги, чтобы не обмочить валенки, присела и быстро пописала. Разбираться со штанами было некогда, поэтому она рывком натянула верхние гетры, а нижние слои одежды скатались под ними в веревку и застряли. Жутко неудобно, но возиться со штанами в башне в полной темноте еще хуже. Саша выбежала, вернулась на свое «кричальное» место и с разгона, без раздумий, вдруг заорала:

«Аньку убили!»

Двор замолчал. Саша обернулась и увидела, как дети, даже самые большие и грубые парни, вдруг сжались в маленькие комочки, побросали свои лопатки, палочки, пистолетики и кинулись каждый к своим окнам. Оттуда, из лоджий и балконов, моментально высунулись головы.

«Домой!» — закричала половина окон сразу.

«Я боюсь!» — ревом заголосили дети. Кому-то матери пообещали спуститься, кто-то продолжали криком загонять домой.

Из Сашиного окна никто не выглядывал. Мамы дома не было!

Зато высунулась соседка тетя Оля. Она диким голосом заорала:

«Кукую Таньку убили?»

Саша вдруг остолбенела. Надо бы крикнуть, что не Таньку, а Аньку, Аню Вторушину, но голос пропал. Тут к ней подошел тот самый рыжий дураковатый парень в ушанке. Он оттянул от шеи и без того почти спавший шарф, снял варежки и прокричал тете Оле:

«Да не Таньку! Аньку!»

«Не Ракомину?» — тетя Оля высунулась из окна почти по пояс. Даже снизу было видно, как от нее шел пар.

«Аньку!» — крикнул пацан.

И спросил Сашу:

«А какую Аньку?»

«Вторушину», — проплакала, а не проговорила Саша.

Пацан изо всех сил крикнул тете Оле:

«Вторушину Аньку убили. Анну!»

Тетя Оля пропала из окна. Саша надеялась, что она выйдет. Что заберет Сашу, ведь она не может не знать, что Сашиной мамы еще нет, они же с мамой вместе работали. Но тетя Оля не вышла.

Пока Саша ее ждала, детей во дворе потихоньку разбирали. Из их дома тоже приходили женщины, но все они жили на несколько этажей ниже. Можно было попросить их довести себя до двери, но Саша побоялась. Если бы сами предложили, она бы пошла. Или не пошла бы — одной дома еще страшнее, а во дворе всегда кто-нибудь гуляет. Даже когда на втором этаже нашли человеческие органы, на улице все равно оставались неразобранные дети.

Раз в несколько месяцев на Лесобазе кого-то убивали. Едва слышав слово «убили», дети теряли рассудок. Войти в свои грязные черные подъезды восьмизэтажных домов боялись все. Поэтому все звали мам. В тот раз, когда в Сашином доме, в коридоре, появились прикрытые газеткой органы, маленьким сказали, что это кишки коровы. Но Саша видела, как приезжали врачи, милиция и комендант кричала, что ей звонит опять прокуратура.

После этого случая несколько вечеров никто из детей один не гулял. Многие даже не ходили в школу, потому что учились со второй смены. В школе все понимали и не ставили прогулы. Как-то на Лесобазе появился маньяк. В их школе говорили, будто он ловил детей на длинном переходе от Судостроителей до Домостроителей, где стояла школа. Он пускал им по венам мочу и разбавленное водой дерьмо. Как только пошли такие слухи, учителя отменили последние уроки второй смены — чтобы дети возвращались засветло.

Таких случаев было много, и Саша зачем-то стала их все вспоминать. Давным-давно, еще когда они с Анькой учились во втором классе, одну пьяницу загрызли собаки. Вскоре псина из этой стаи убила двухлетнего Сенью Ксенофонтова, брата Шуры. На Сашиной памяти было еще несколько покойников и просто трагедий. Например, в соседнем доме отчим заколол свою падчерицу прямо на ступеньках главной лестницы. Саша видела издали, как грузили в машину труп. Вечером в бане об этом говорили все, а по телевизору сказали, что мужчина нанес девушке двадцать семь ран. Еще был случай, когда с их этажа милиция выносила труп. Соседа положили на большое одеяло, как на носилки. Он был весь серый, но при этом вычищенный, выглаженный, в костюме. А еще, совсем недавно, изнасиловали их одноклассницу Дашу. Было темно, они все вместе шли через замерзшее болото, как вдруг налетели мальчишки из их же класса и стали забрасывать девчонок снежками, валить на землю, засовывать снег под ворота шуб. В сутолоке, визге и беготне Даша потерялась. Отстала. В школу она вернулась только через несколько недель. Кто-то рассказал, что ее нагнали восьмиклассники и долго насиловали, пока сами не замерзли и не побежали домой. С тех пор Даша всегда ходила в комбинезонах, даже летом. А детей, как после любого другого громкого события, пораньше отпускали домой и просили держаться вместе. Так они держались и во дворах, пока всех не разбирали родители. Некоторые гуляли на улице до десяти и даже до одиннадцати — лишь бы не заходить в дом. Сашу мама в такие дни встречала с палкой от раскладушки — выламывала из нее алюминиевую перекладину и шла к школе. Если мама задерживалась, Саша гуляла во дворе. Тех, у кого родители работали в городе и приезжали поздно, было много. Еще больше детей болтались на улице, потому что пьяные или поссорившиеся родители про них забывали. Компания была всегда.

Но на этот раз дети быстро уходили с мамами. Очень быстро на площадке остались только Саша и рыжий в ушанке. Забрали даже сиплую Сашу — ей мать выбросила из окна лоджии веревочную лестницу, как от шведской стенки. Они держали эту лестницу наготове, потому что пьяный отец часто запирали дверь. За одним мальчишкой вышла злая, в подпитии, мать, она выругала сына и повела домой. Даже не взяла его за руку, а только материлась. Но мальчик был счастлив — все же не одному возвращаться.

Рыжий парень подошел к Саше снова.

«Пошли».

«Куда?» — Саша все еще плакала.

«У Вторушиной родители знают?»

Саша закрыла лицо руками. На них почему-то уже были надеты варежки. Все в маленьких налипших круглых льдинках, они неприятно оцарапали лицо и оставили ощущение грязи.

«Я не знаю. Я сразу убежала».

Тут Саша посмотрела на парня и, как лопнувший внезапно воздушный шарик, вдруг выпалила:

«В нас стреляли из окна!»

Стало легче! Она наконец произнесла это вслух. Хоть кто-то узнал об ее беде. Пусть даже глупый парень, который не знает время.

Рыжий от удивления снял шапку.

«Стреляли? Где?»

«У большой пятиэтажки».

«А где Анька?»

«Там осталась!»

«А где она живет? Далеко?»

«Вон там!» — Саша показала ткнула пальцев в дом наискосок.

Парень подтолкнул ее под локоть в сторону Анькиной маленькой пятиэтажки. Пока они шли эти сто с небольшим метров, Саша втягивала плечи и слегка поджимала коленки, будто старалась сделаться меньше. Она боялась, что снова начнут стрелять. А еще она боялась этого мальчишку в старом и — она наконец к нему присмотрелась — уже маловатом пальто. Оказаться рядом с мальчиком всегда было событие. Большое плохое событие, ведь хорошего они, девочки Лесобазы, от парней никогда не видели. Компания рыжего была ей в тягость, но без него остаться на темной улице одной стало бы совсем невыносимо. Поэтому она покорно шла за ним. В животе у нее будто застрял ком снега. От страха, тревоги, одиночества, от черного неба и громкого снежного хруста все внутри холодело и сжималось. Мамы нет, приедет поздно. Тоже пойдет одна по той кошмарной заледеневшей дороге, мимо той пятиэтажки. Саша представила, как над головой мамы раздастся выстрел и она точно так же бежит, застревающая в снегу и не смея звать на помощь. Еще чуть-чуть, и Саша разрыдается...

Но тут ее одернул парень.

«Какой подъезд?»

Она заставила себя сдерживать плач, будто развернула поток слез, от чего они хлынули назад и глаза сильно набухли.

«Второй отсюда».

Они зашли в подъезд и сразу уперлись в дверь Анькиной квартиры. Саша знала, что в это время у Аньки дома были маленькая сестра Женя и глухая прабабушка Тоня. И, наверное, уже вернулись родители. Саша встала перед дверью. Стучать — страшно. Как сказать? Вашу Аню убили, а я убежала? Они попросят показать место. Придется возвращаться, смотреть в те окна. А вдруг люди в фуражках еще не ушли? Вдруг они сидят у окна и готовы снова выстрелить? Сердце у Саши так заколотилось, что она слышала его в каждой части тела — в руке, в ноге, в ушах. В груди стало жарко. Она не могла постучать. Уставилась на дверь и молчала.

Но тут к двери подошел парень. Он снял шапку, выдернул из-под воротника шарф и скомкал все руками. Потом постучал. Как только раздался стук, все как бы оборвалось. Голова у Саши закружилась, ноги вдруг отяжелели и словно распухли, она стала заваливаться на стену. За дверью было тихо. Парень постучал еще раз. Потом еще. Потом развернулся спиной и несколько раз сильно ударил в дверь ногой.

«Я Саня», — не выдержал рыжий и снова забарабанил валенком в калоше.

«Саня. Из сорокового дома», — прокричал он громче. За дверью послышался грохот — это Женька ставит табурет, чтобы дотянуться до глазка. Саша подошла к двери со своей стороны и стала подпрыгивать, чтобы Женька ее узнала, хотя в коридоре было темно.

«Это я», — пискнула она, прыгнув повыше. В глазок смотрели. Женькин глаз закрыл его изнутри.

«Да мы это. Аньку убили».

В квартире по-прежнему было тихо. Саша подпрыгивала. Глазок еще несколько секунд оставался темным, а потом там появился свет: Женька слезла с табурета. Было слышно, как она двигает его вплотную к двери. Они с Саней стояли и слушали. В подъезде было совершенно темно, светилась только крохотная точка в двери Анькиной квартиры.

Мальчик еще раз постучал в дверь.

«Э-э-э, вы че? Аньку убили. У пятиэтажки».

За дверью послышалось шарканье. Это бабушка Тоня вышла из своего закутка. Саша прильнула к замочной скважине. На днях Анька застряла с бабушкой дома, пока родители ездили за товаром. Два дня Анька по веревке спускалась с балкона в школу и магазин, а потом наконец сосед сверху выпилил им аккуратно нижний замок. Дырку вскоре закрыли фанеркой. Саша знала — если приложить ухо к фанерке, в квартире все будет слышно.

И она услышала, как баба Тоня прошаркала в коридор. Саша хорошо представляла, как, глухая, растрепанная, в неснимаемой ночной рубашке и халате, она сейчас устала на дверь и Женьку. Посмотрела на Женькины дикие глаза, на прислоненный к двери табурет. Саша была уверена, что прекрасно слышала сквозь фанерку, как баба Тоня думала и о чем. Вот новое движение. Какой-то рывок за дверью и Женькин голос: «А...» Но крик тут же подавился. Это баба Тоня закрыла Женьке рот рукой. Потом послышались звуки шлепающих ног: Женька убежала в комнату. Еще спустя мгновение баба Тоня начала двигать шкаф.

Анькины родители велели бабе Тоне, как только дети слышат за дверью подозрительные звуки, подпирать ее изнутри шкафом. А если воры начинают вскрывать замки, то убегать с детьми через балкон по той же веревочной лестнице. Квартиры челноков часто грабили, а Анькины родители стали челноками. Однажды, пока они были в челночном рейсе, в квартиру пришли воры. Баба Тоня придвинула шкаф, спустила детей по веревке с балкона, с ними вместе отправила шубу, видеомагнитофон, музыкальный проигрыватель и деньги. Сама вылезти не смогла. Она осталась дома и смотрела, как шкаф изнутри потихоньку расшатывается, как он падает, как в дом заходят два вора. Бабе Тоне было под девяносто, она обычно жила в закутке за мятой зеленой занавеской, напротив Женькиной кровати. Там она и осталась. Села на своей постели и ждала. Воры вошли, огляделись, сразу заметили старушечий закуток и очень удивились. Баба Тоня была глухая, но не немая. Она сразу сказала:

«Я одна. Хочу жить».

Тогда вор помладше, совсем еще парнишка, спустил бабу Тоню с кровати, заботливо надел ей тапочки, отвел в ванную и там запер. В ванной баба Тоня просидела несколько часов, пока Анька наконец не оправилась от испуга и не привела с собой соседей.

Сейчас баба Тоня снова двигала шкаф. Неужели Женька Сашу не узнала?

«Побежали к окну!» — вдруг закричала Саша и кинулась из подъезда. В темноте она наступила на что-то склизкое, ноги разъехались, потом одна подвернулась под другую. Парень топтался вокруг и тянул Сашу.

«Ну давай! А зачем?»

Саша поняла: если баба Тоня стала двигать шкаф, она наверняка сейчас спустит маленькую Женю с балкона.

«Да бежим!» — крикнула она, встала и силой толкнула дверь. В подъезде была абсолютная темнота, но на улице казалось еще темнее. Шагнуть в эту темноту двум маленьким детям, оставшимся в поздний час без родителей, было страшно. Она вышла на крыльцо и встала. На улице, кажется, не было уже никого. Находила метель. Снег и тревожный, раздражающий нутро шум она приносила как раз со стороны железной дороги, откуда должна была прийти с остановки мама. И откуда еще недавно в нее, Сашу, стреляли.

Мальчик Саня первым спустился с крыльца. Он походил немного туда-сюда. Заглядывал в окна. Ни одно окно на первом этаже не светило. Он встал, опустил беспомощно руки. Стоял и смотрел на Сашу. За его головой выкатилась луна. Она выскользнула из-за облака и мгновенно осветила Саню. Саша его разглядела. Потертый, пальто малое. Лицо какое-то нездоровое и как будто выплаканное. Да ну? Не может он плакать! Она смотрела на маленького рыжего Саню, а тот стоял перед ней, перед окнами этого темного чужого дома. Стоял перед всем миром один в своем маленьком пальто с оторванным хлястиком. Такой же одинокий, как Саша, он чем-то все же очень от нее отличался. От маленького Сани исходил какой-то дух отчаяния, безысходности и нашедшего в связи с ними напускного наплевательства и парнишечьей бравады.

Саня... Саня... Где же ты живешь, в каком доме? Он ведь сказал в каком, а она прослушала. Саша вспоминала только, что видела этого мальчишку иногда во дворе. Он неизменно гулял допоздна и всех провожал до квартир. А когда все расходились, что было с Саней? Несколько раз она из окна замечала, как заигрываются во дворе одинокие дети. Даже если мама делала ремонт в квартире и поздно забирала Сашу, после нее на улице все равно оставались дети. Их никто не звал и никто не забирал домой. Наверное, так играл и Саня.

Саша слишком долго в него всматривалась. Мальчик стоял перед ней под лунным прожектором и мям в руках шапку. Долго мям, пока не замерз. Натянув ушанку на голову, он внезапно спросил:

«А тебя почему не убили?»

Саша прислонилась спиной к стене, как будто на такой вопрос с открытой спиной отвечать нельзя:

«Я не знаю».

«А кто ее убил?»

«Я не знаю».

«Но ты же видела?»

«Я не видела. Там стреляли. Я убежала, а Аньки нет».

Саша помолчала немного:

«Надо туда идти. Проверить. Вдруг не умерла?»

«Да подобрали уже», — Санька махнул рукой и потом вытер рукавом соплю.

«Никто не видел. Когда начали стрелять, все спрятались. Одна пьяница только по улице шла. И еще женщина с капустой».

«Так это моя мама! Она сейчас пришла с работы. У нее полная сетка капусты».

«А почему ты не пошел домой?»

Санька уткнулся в пол.

«Не разрешают».

«Кто не разрешает?» — Саша поразилась. На улице стрельба, Аньку убили, а ему не разрешают пойти домой.

Она повторила:

«Ну кто?»

Санька уткнулся глазами в землю:

«Мать сказала до десяти не приходить. У нас новый папа».

«А сейчас сколько?»

Саша заперезживала. Вдруг уже десять? Сколько они стояли и кричали мам во дворе? Сколько стучали бабе Тоне?

«А ты время знаешь?» — спросил Санька.

«Нет, у меня нет часов».

«У меня есть. Ты время знаешь?»

Санька задрал рукав левой руки — под ним, на красном лакированном ремешке, висели смешные часы с Микки Маусом. Саша оторвалась от стены и наклонилась над часами. к Сане.

«Семь пятьдесят».

«Это сколько?» — спросил, немного смущаясь, Саня.

«Почти восемь».

«Так мультики же!» — Саня вскрикнул и тут же вспомнил, что дома его не ждут.

«А ты где часы взял? Это мои часы».

Саня обиделся:

«Да я их нашел!»

«Вчера?»

«Давно нашел! И мне новый папа ремешок поменял».

Да, ремешок был другой. Саша тут же забыла про часы:

«Пойдем Женьку покричим и ко мне. У меня мама на квартире, наверное», — Саша страшно обрадовалась, что не придется одной подниматься домой. К пятиэтажке она все равно бы не побежала — не хватило сил. А мерзнуть до ночи не хотелось. Обычно когда мама задерживалась с ремонтом, Саша ждала ее у Аньки. Но Аньку теперь убили...

Саша даже осмелела и потянула мальчишку за руку. Но тот не сразу сообразил, в чем суть предложения.

«На какой квартире?»

«Да нам квартиру дали! Мама делает ремонт».

«А-а-а... И где дали?» — Саня спросил как будто без интереса.

«Улица Полевая. Дом обороны. Ты знаешь, где это?»

Саня только покачал головой — он не знал.

«Я тоже не знаю, — сказала Саша. — Но я там была. Это очень далеко. Когда мама на квартире, она возвращается поздно. Как раз в десять. Пойдем ко мне. Мы тебя потом проводим».

Саня обрадовался.

«Но сначала к Женьке», — крикнула Саша и побежала на другую сторону Анькиного дома. Луна теперь оказалась за домом, поэтому снова стало темно. Очень темно и страшно. Саша едва смогла отсчитать второй от угла балкон. Остановилась под ним и тихо закричала:

«Женя! Женя, это я».

За окнами было темно.

«Ну Женька!»

Саша не унималась. Она кричала и кричала Женьку до тех пор, пока на балконе не послышался скрип.

«Ты здесь?» — спросила Саша, задирая голову наверх.

С балкона послышался писк:

«Чего?»

«Где тетя Лена, дядя Валя?»

Женька подвинула табурет и высунулась в окно.

«А тебе зачем?»

«Аньку надо искать. В нас стреляли из окна. Мы побежали, и я потеряла Аньку».

Женька молчала. Ее рыжая голова на некоторое время скрылась с балкона.

«Убили ее!» — не выдержала Саша.

«Не убили, — пропищала Женька. — Мама и папа уже знают, к нам милиция приходила, и все потом уехали».

«С Анькой?»

«Аньке отстрелили ногу. Мама с папой поехали в больницу».

«Как отстрелили?» — вздрогнула Саша.

«А ты чего домой не идешь?» — спросила ни с того ни с сего Женька и начала слезать с табурета. Для четырех лет она неплохо соображала.

Саша испугалась, что Женька сейчас закроет окно, затем захлопнет балконную дверь и они с Саней вновь останутся одни на этой темной постылой улице.

«Мамы нету дома... — крикнула Саша в уже закрытые окна и вдруг выпалила: — Жень, я боюсь, можно к вам?»

На балконе все затихло, но потом что-то заскрипело, открылась ставня, и Женька, вернее, ее макушка пропищала:

«Заходи».

Саша кинулась к подъезду. И тут вдруг подал голос Саня, про которого она совсем забыла. Он очень громко крикнул в сторону балкона:

«А у вас телевизор работает?»

Женька подтянулась к окну, чтобы посмотреть на Саню. Но в темноте ничего не было видно.

«Это кто?»

Саше стало стыдно, что она забыла про мальчика.

«Это Саня. Ему до десяти домой нельзя».

Женька ничего не ответила и закрыла ставню.

Саша рванула за угол, Саня побежал за ней.

«Я с тобой. Можно, я с тобой?»

Саше было стыдно. Что подумают тетя Лена и дядя Валя, когда вернуться домой? Вдруг Анька в больнице умерла? У них горе, а дома чужие дети... Но Саню было жалко. Пока они прыгали под балконом, метель совсем разошлась, луна скрылась. Саша посмотрела на свой дом и окна. Горел только один фонарь, но он освещал лишь дорогу. Во дворе было темно. И непонятно, играет ли там кто-нибудь.

«Пойдем. Только сам спроси». Они оба обогнули дом и заскочили в подъезд. Глазок в Анькиной квартире еще не светился, но баба Тоня уже двигала шкаф обратно. Пришлось подождать минуты две, пока она справилась. Наконец в глазке снова прорезался луч света, и вскоре дверь открыли. Баба Тоня впустила их, заперла дверь и пошла на кухню. Саня посмотрел на маленькую Женьку. Он не ожидал, что она такая крошечная. Наклонился к ней и спросил: «Можно у вас мультики посмотреть? У меня сегодня мама... занята».

Женька пригласила их в комнату. Там у нее уже шли мультики — она смотрела как раз «Тома и Джерри». Саня от восторга даже завизжал. Он-то спешил на «Спокойной ночи, малыши», где уже которую неделю подряд показывали старые мультфильмы с чучелами. Тома и Джерри он видел лишь однажды, когда они с мамой ходили

в гости к бухгалтеру с ее завода. У бухгалтера был дома видеомаягнитофон. А Саша никогда еще этот мультфильм не видела.

Саня даже не успел снять пальто — так и сел на полу. В комнате, кроме бабушкиной кровати и Женькиной кровати, стоял разложенный и застеленный бельем диван, но Саня постеснялся садиться на него.

А Саша аккуратно сняла шубу, смахнула с нее специальным веником снег, отряхнула шапку, все повесила на крючок и только тогда зашла в комнату. Дома она тоже могла завалиться у телевизора в шубе, но родители Аньки приучали их к порядку. И после зимней прогулки заставляли снимать на просушку теплые штаны.

Саша посмотрела на свои ноги — поверх колготок на ней были надеты распушившиеся мохеровые гетры. В их ворсинках застряли комья снега и ледышки. Саша сняла штаны и повесила их на батарею за телевизором. Саня это заметил. Он спросил Женьку:

«Можно я тоже разденусь?»

Женька равнодушно смотрела мультфильм. Тогда Саня сам разделся, придвинул стул к батарее, развесил на нем пальто, шапку. Штаны не снял. Наверное, на нем были только одни штаны.

Вдруг Саша поняла, что мультики идут не по видео — это канал «Паралакс». В девять на нем показывали мультфильмы, с десяти — обычное кино, а после полуночи — эротику. Она знала об этом от Таньки Ракоминой — у них была приставка для «Паралакса». Иногда Танька звала Сашу смотреть мультфильмы или сериал «Аптека».

«У тебя часы неправильно идут», — Саша потянула Саню за руку и посмотрела на циферблат: Санин Микки Маус все еще показывал без десяти восемь.

Саша пошла на кухню узнать. Часы висели над дверью, смотреть на них нужно было из кухни. Саша вдруг испугалась. Она всегда боялась бабы Тони каким-то не страхом, а неприязнью. Ей казалось, что баба Тоня ее не любит. И вообще не любит детей, которые отнимали все ее жизненное пространство. Поэтому Саша робко подошла к кухне и заглянула. Баба Тоня ее не видела, но Саша поздоровалась и посмотрела на часы — была почти половина десятого. В животе сразу все заледенело. Мама еще нет! Если бы она вернулась, то уже бы пришла за ней, потому что в такой час Саша может быть только у Аньки.

Вообще, хотелось есть. Они с Анькой пообедали в школе часа в четыре. Саша заглянула бабе Тоне за плечо — та мяла толкушкой в кастрюле картофельное пюре. Снова с луком! На плите грелось молоко. Все то, что Саша так не любила!

Она еще раз поздоровалась с бабой Тоней через ее спину и пошла в комнату. Но бабушка вслед крикнула: «Ужин! Зови рыжего».

Саша зашла в комнату — Саня так и сидел на полу. Только рот теперь разинул и смотрел не мигая, как на экране большой злой пес срывается с цепи и гоняет по двору кота Тома.

«Там есть зовут», — сказала она тихонько. Саня даже не услышал.

«Есть пойдем», — повторила Саша громче.

«Ага», — сказал Саня и не сдвинулся с места.

Саша пошла одна. Баба Тоня уже разложила по тарелкам картошку и разливала молочный суп. Вдруг она поставила кастрюлю, отерла руки о свой несменяемый халат и крепко прижала Сашу к себе.

«Придет мама, придет. Анютку-то нашу увезли. Не пришла домой! А ты хоть пришла, девонька моя. Не плачь, придет мама».

Саша обняла бабу Тоню, уткнулась ей в живот и заплакала:

«Убили Аньку! Убили!» — она не могла поверить, что Анька жива. Если бы Аньке только прострелили ногу, она бы ползла за ней, а Анька не ползла, это Саша точно помнит.

\* \* \*

Баба Тоня, худая, высокая и лысая, как жердь, одной рукой прижимала Сашу к себе, а другой так и гладила по голове, когда в дверь постучали. Глухая старуха услышала стук первой. Своими совсем иссохшими руками она взяла Сашу сзади за воротник платья и спешно стала проталкивать по узкому коридору в комнату. Женька и Саня уже соскочили с пола и стояли, испуганные, в самом дальнем углу. К ним же баба Тоня поставила и Сашу. Молча она подошла к двери.

«Кто?» — крикнула она каким-то чудовищным голосом, как будто стояла не за дверью, а на краю бездны, из которой ее вызывала к себе запоздавшая смерть.

«Кто?» — рыкнула баба Тоня еще раз.

В ответ по двери забарабанили чем-то тяжелым.

«А это кто? А ну открывай? Где дети?»

Саша сразу узнала:

«Мама! Мама!»

Она кинулась к двери. Саня почему-то тоже побежал в коридор и тоже кричал «мама!».

«Это моя мама!» — она подлезла под руки бабы Тони и начала открывать замок. Но старуха не сразу отошла. Сначала она схватила Сашу за плечи, развернула к себе лицом и громко спросила:

«Мать?»

«Да, мама!» — закричала Саша. Только тогда баба Тоня стала отпирать дверь.

Пока она ковырялась с замками, засовом и цепочкой, Саша прыгала и кричала:

«Мама, я здесь! Мама!»

Саня подпрыгивал рядом: то ли он заразился радостью, то ли представил вдруг, что это и в самом деле за ним пришла мама. Он кричал сквозь дверь:

«Мы здесь! Это мы!»

Когда баба Тоня справилась с замками, Саша увидела злое и суровое лицо матери. В руках у нее была палка от раскладушки. Она зашла в коридор, встретила бабу Тоню и немного успокоилась. Она про бабушку почти ничего не знала и, видимо, когда баба Тоня зарычала через дверь, Сашина мама совсем про нее забыла. И очень испугалась этого незнакомого рыка. Но испуг быстро прошел.

«Ты почему не дома?» — мама еще злилась, но уже начала успокаиваться.

Саше так много хотелось матери объяснить. Что на улице темно и не горят фонари, что метель выдувает все внутренности и звенит в ушах тупой тоской. Что нет никого во дворе. Что всех детей за пять минут разобрали родители. Что позвали даже сиплую Сашу. Что она хотела попроситься к тете Оле Ракоминой, но та не спустилась. Что подниматься домой страшно и нет сил. Что совсем недавно в нее, восьмилетнюю Сашу, стреляли и она убежала букашкой по белому снегу.

Но вместо этого она только взвизгнула:

«Аньку убили!»

Мать выглянула в коридор проверить, нет ли там кого. Потом окончательно вошла в прихожую и закрыла за собой дверь.

«А где у тебя штаны? Ты почему без штанов?»

«Сушу. Я сейчас!»

Она забежала в комнату, сдернула с батареи штаны и на обратном ходу кое-как их напялила. Еще десять секунд, и Саша уже надела пальто, шапку и сапоги.

«Спасибо», — сказала она бабе Тоне. И потом — Женьке.

Они уже открыли дверь и вышли, как подскочил Сашка.

«Я с вами», — сказал он очень бодро и резко. Наклонился завязывать на ботинках шнурки и вдруг оттуда, снизу, беспомощно и очень жалко спросил:

«Можно?..»

Мать строго спросила:

«А ты почему не дома? Где родители?»

Саня от пола весело прожурчал:

«А мне к десяти сказали вернуться».

«И всегда ты так поздно гуляешь?»

«Когда у нас новый папа», — уже не столь задорно ответил Саня.

Сашина мать переложила палку из руки в руку, похлопала ею по ладони, как бейсбольной битой, и уже не очень строго спросила:

«И где твой папа? Где ты живешь?»

«Я в сороковом доме. На пятом этаже!»

Саша ахнула. В первый раз, когда Саня сказал, где живет, она не услышала. А теперь поняла, что сороковой дом был за их домом. Оттуда дети к ним во двор почти не ходили, потому что их площадки из окон не видно. Из сорокового дома прибежали обычно только хулиганы и беспризорники. Ненужные дети, за которыми никто не следил. И Саня, значит, ненужный. А еще ужасней, что это был самый страшный дом. Он последний дом, за ним овраг и свалка. Самое страшное место на Лесобазе.

«Ну, пойдем к твоему папе», — строго сказала мальчику Сашина мама, а потом снова постучала палкой по ладошке, будто набивала в руку сил. Ей сорок лет, ее рост метр пятьдесят, и она действительно уснула в автобусе.

Марк АМУСИН

## ДВОЙНОЕ ЗРЕНИЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Говорить и писать об Андрее Платонове можно, очевидно, до бесконечности. Фигура эта, со всеми окружающими ее ореолами и «расширениями», огромна и на удивление многолика. Принято говорить о пушкинском «протеизме». Мне кажется, что через сто лет после Пушкина Платонов явил в русской литературе пример протеизма еще более радикального. Возьмем для начала мировоззренческий, «идейный» план. Революционный энтузиазм, научно-технический и социальный утопизм, исступленная вера в миропасительное значение коммунистического переворота — и трезвейшее осознание того факта, что большевистский проект буксует в трясине российской инертности, а то и вовсе сбивается с дороги. Едкий скептицизм по отношению к реалиям революции, во многом обесцененным бюрократией, догматизмом, некомпетентностью, — и искреннее желание изжить этот скептицизм, соединиться с коренной стихией большевизма, которая — в его понимании — только и обещает обновление человеческого рода, чудовишно поврежденного предшествующей, докоммунистической историей. Платонов сочувствует боли не только каждого живого существа, но, кажется, каждой высыхающей былинки — и призывает (как в публицистике, так и в прозе) к искоренению человеческой души как вместилища индивидуалистических, собственнических чувств и пережитков.

Воистину, самобытно-мятежное, «неправильное», клубящееся дарование Платонова не вмещается ни в какие рамки, которые ставили ему и которые он ставил сам себе. Его носило, метало из конца в конец бескрайного мировоззренческого поля, в нем уживались — но споря, тесня друг друга — ставка на механику, инженерный расчет — и утопизм вперемешку с идеализмом, убежденность в близком и чудесном перерождении жизни — и горчайший пессимизм.

Еще сложнее дело обстоит с художественной реализацией платоновских представлений. В голосе писателя, в «звукоряде» его повествования слышатся то задушевный народный сказ, то интонации плача по потерянной «детской родине», то отрывистый слог плаката, газетной передовицы, то железный лязг гусениц трактора, если не танка, то горький сарказм.

...Когда читаешь опусы критиков, исследователей платоновского наследия, очень редко хочется воскликнуть «Промазал!» или, наоборот, «В десятку!». Чаще всего все куда-то попадают, постигают какую-то грань его многомерного таланта. Пытаться, однако, привести его к общему знаменателю, выявить постоянные векторы его мироощущения и творческие установки — задача безнадежная. Всегда обнаруживается нечто

---

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010), «Огонь столетий» (2015). Статьи публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

оспаривающее свежайденную истину. Платонов ускользает из любых объяснительных «объятий», уворачивается от аналитического скальпеля.

Значит ли это, что нужно оставить любые попытки интерпретировать его творчество и удовольствоваться непосредственным «удовольствием от чтения»? Нет, в том числе и потому, что простое чтение его текстов оставляет, наряду с восхищением, острое ощущение недостаточности. Эти тексты просто взывают к объяснению, к отысканию «золотого ключика», открывающего двери понимания. Но приближение к «истине Платонова» может быть результатом лишь взаимного наложения множества разных подходов, ракурсов рассмотра. Мало пользы приносит, на мой взгляд, как общие рассуждения на тему специфической платоновской духовности и душевности, так и исследования микроскопических извилин его мировоззрения, мотивов, образных конфигураций.

Когда размышляешь о Платонове, часто возникает искушение считать, что он писал «богодуховенно», подчиняясь мощному наитию той или иной природы, — но в любом случае единственно возможным образом, не рефлексивно, не выбирая сознательно стили и средств. Существует и другой соблазн — видеть в его произведениях прямое отображение эпохи. Известная исследовательница творчества Платонова Н. Корниенко пишет, что «сама русская реальность» обрекла «его на миссию летописца жизни в XX веке». Это, пожалуй, не более верно, чем сказать: Гоголь в своих петербургских повестях — «Невском проспекте», «Носе», «Записках сумасшедшего» «Шинели» — был летописцем столичной жизни 30-х годов XIX века. Людям грядущих поколений вольно, конечно, воображать, что автор воплощает в своих произведениях «движущие силы», религиозные ценности, вековые народные чаяния или витающие в воздухе социальные и философские концепции. Но писатель, находясь внутри своей творческой ситуации, стремится прежде всего достичь конкретных целей, добиться с помощью выбранных изобразительных средств определенных эффектов, в конечном итоге — написать «вещь».

Платонов не был ни пришельцем из горних сфер, ни святым, ни мучеником по призванию. Свидетельства (не столь многочисленные) приятелей и знакомых и, главным образом, письма (сведенные в книгу «Андрей Платонов. ....я прожил жизнь». Письма 1920—1950 гг.») представляют его нормальным, хоть и очень ярким человеком, с человеческими страстями, стремлениями, амбициями. Как всякий писатель, он жаждал успеха, признания — со всеми их моральными и материальными следствиями. Он хотел быть понят своей страной, своими читателями и издателями. Другое дело, что дарование его было столь мощным, стихийным и прихотливым, что порой сбивало автора с любых дорог, освоенных предшествовавшей литературой.

В известном письме к жене от января 1927 года Платонов говорил, что «Епифанские шлюзы» написаны «в необычном стиле, отчасти славянской вязью — тягучим слогом». Необходимо ему также было представить в финале палача Перри гомосексуалистом. «Тебе это не понравится. Но так нужно». Писатель сам не объяснял, в чем состояла эта необходимость, но ясно, что он подчинялся каким-то, пусть во многом интуитивным, эстетическим требованиям и импульсам. Это относится, конечно, и к другим его произведениям.

И тут на память мне приходит другое письмо Платонова к жене, написанное месяцем позже, — то, в котором он описывает свой странный, пугающий ночной опыт: проснувшись, он видит себя сидящим за столом и пишущим. «До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня».

В этом галлюцинаторном переживании вовсе не обязательно видеть признак шизофрении, пусть сколь угодно плодотворной в творческом плане. Зато оно напомнило мне вдруг о мироощущении немецких романтиков начала XIX века, которым всю-

ду открывались потайные сферы реальности, виделись двойники, подмены, мороки. Они — Гофман и Тик, Ахим фон Арним и Шамиссо — тщательно следили за эманациями собственного воображения, производящего диковинные образы и ситуации, отмечая и в нем самом склонность к «раздвоению». Замечу, что эти авторы, как и Платонов, были современниками жестоких войн и грандиозных социально-политических потрясений в Европе.

Речь тут, конечно, может идти только о типологическом сходстве. Если Платонов что и «выражал» из интенций коллективного российского сознания своего времени, так это лихорадочную надежду на чудесное изменение всего строя жизни, связанное с невыносимостью наличного положения. Эта «воля к чуду» и стала одним из параметров художественного мира Платонова. А параллельно — острое переживание разорванности окружающей жизни и собственного сознания. Вот что сближает Платонова если не с романтиками, то с романтическим мироощущением.

...Прозу Платонова можно поверять мерилom жанра — и с этой точки зрения она, конечно, исключительно разнообразна. Здесь присутствуют и характерная для того времени научная фантастика («Эфирный тракт»), и реалистические зарисовки провинциальной жизни (рассказы 20-х годов, «Ямская слобода», «Происхождение мастера»), и историческая повесть, и сатира шедринского типа («Город Градов», «Усомнившийся Макар»), и «жесткая» восточная экзотика («Такыр», «Джан»). Во второй половине 30-х годов писатель создавал проникновенные психологическо-бытовые этюды, призванные отобразить новый строй человеческих отношений, рождающийся на новом социальном — социалистическом — базисе.

Но самый плодотворный его период — конец 20-х и начало 30-х годов. Это было время, когда страна, подгоняемая «хлыстом диктатуры», шла бешеным аллюром индустриализации и коллективизации. И в это время Платонов в удивительном темпе создавал самые вдохновенные, самые необычные свои сочинения, стремительно меняя стилевые галсы. Из-под его пера выходили не имеющие прецедентов гибриды, прекрасные и чудовищные жанровые «мутанты». И это в тесном хронологическом соседстве с произведениями вполне нормативными.

Рассмотрим для примера удивительную платоновскую «двойчатку». Повесть «Сокровенный человек» и роман — жанр условный! — «Чевенгур» создавались почти в одно и то же время: 1927—1928 годы. Да и действие их охватывает примерно одинаковый период — конец Гражданской войны и переход к мирной жизни. Платонов изображает в этих произведениях практически одну и ту же российскую пореволюционную реальность. И насколько при этом разнятся они по своей поэтике! (Последнее, очевидно, и стало причиной того, что повесть была опубликована, а роман — нет.)

В «Сокровенном человеке» последовательно выдерживается тональность народного сказа, отчасти балагурного. События — тяжелые, часто трагические — даются в восприятии Фомы Пухова, человека неунывающего, не чтобы легкого, а очень земного, ко всему притерпевшегося, с большим запасом здравого смысла и спасительного чувства юмора. Он подхвачен вихрем революционных событий, активно участвует в них на стороне большевиков — но при этом не забывает о себе и имеет на все собственное мнение.

Его прямой и бесхитростный взгляд на происходящее осложнен «включениями» авторского сознания, дающего лаконичные психологические характеристики персонажам, афористические суждения о сути событий и их направленности: «...красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей, и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности».

Следующие один за другим эпизоды Гражданской войны с участием Пухова выписаны рельефно, с обилием достоверных подробностей (поездка на снегоочистителе, закончившаяся стычкой с белыми, рискованный десант в Крым, бой с налетевшим на город вражеским бронепоездом), хорошо передающих суровую реальность тех лет, как и неумный характер главного героя. Интонация повествования свидетельствует: жизнь, пусть она и протекает среди бед и смертей, всегда «разноцветна», страшное в ней густо перемешано с радостным или смешным. Недаром критик Воронский в письме к Горькому, говоря об этой повести, помянул Тиля Уленшпигеля, героя немецкого и фламандского фольклора и романа Шарля Де Костера.

Когда начинаешь читать «Чевенгур», сразу погружаешься в совсем иную атмосферу. Уже рассказ о дореволюционном детстве Саши Дванова проникнут настроением смутной тоски, горькой интонацией убожества жизни, индивидуального и всеобщего сиротства. Эта тональность преобладает и когда начинаются путешествия Дванова по губернии в поисках «самозарождающегося коммунизма масс». Картины вполне житейски правдоподобные перемежаются эпизодами и образами, в которых реалистические детали лишь оттеняют их фантазийную или легендарно-символическую суть. Разве Копенкин с его «международным лицом», былинных статей конем Пролетарская Сила и поклонением прекрасной даме Розе Люксембург — реальный человек из плоти и крови? Скорее, это современная (Платонову) ипостась Дон Кихота, искателя справедливости, защитника бедных и обиженных, паладина Дульсинеи. Он примерно так же совместим с советской послереволюционной действительностью, как Рыцарь печального образа — с реальностью Испании рубежа XVI — XVII веков.

Но это, конечно, и не чисто литературный персонаж. В фигуре Копенкина Платонов воплотил самое глубинное, стихийно-коммунистическое начало революции, веру масс в благотельность и необходимость переворота. Но ведь подобным умонастроением охвачены и сам Дванов, и другой «рыцарь в доспехах» — Пашинцев, и чевенгурский председатель Чепурный.

Чем дальше, тем больше роман раскрывается как былина о Революции, точнее — о ее народном восприятии и понимании. Это наивное, мечтательное и эсхатологическое восприятие являет сильный контраст рациональным модернизационным устремлениям большевиков, опиравшихся на «западническую», марксистскую доктрину.

«Чевенгур» — именно что не быль, а былина, события здесь подернуты маревом чудесной и часто страшной сказочности. Этот колорит лишь оттеняется врезками удивительно точных эпизодов, вроде описания жизни губернского города, перешедшего от «военного коммунизма» к нэпу. Платонов демонстрирует две стороны революционной медали, но художественное его зрение приковано к стороне утопической, вымышленной, вымечтанной.

Общий тон повествования в романе — намного более серьезный, даже печальный, чем в «Сокровенном человеке». Значит ли это, что «Чевенгур» — более подлинное свидетельство времени? Вовсе не обязательно. «Сокровенный человек», несмотря на пунктирность сюжета, дает очень достоверную, выразительную мозаику эпохи. Здесь не только острые приметы быта, но и яркие зарисовки человеческих характеров, лаконичные эскизы экзистенциальных ситуаций, «переплетов», в которые попадают люди по ходу Гражданской войны.

Содержание «Чевенгура» мало того, что невероятно, — оно вообще имеет косвенное отношение к эмпирике событий. Здесь все «экстраполировано» за рамки действительного. В романе изображается не историческая реальность, а самые крайние, доведенные до предела и абсурда, умопостигаемые выводы из коммунистического проекта. Платонов, можно сказать, занят здесь выкриканием (или заклинанием) «духов» и «демонов» революционной стихии.

Буквального Чевенгура с его людьми (Чепурный, Пиюся, Кирей, другие коммунары и «прочие»), его директивно введенным коммунизмом, поголовным выселением/истреблением «буржуазии» (то есть почти всего населения) и отменой труда не было и быть не могло. Но это — проекция большевистской идеологии и риторики на наивное, ждущее чуда народное сознание. Поэтому «Чевенгур» — не столько роман, сколько ностальгический взгляд, брошенный из реально сложившегося будущего (условно — 1928 года) вспять, к истокам, к изначальной революционной магме, раскаленной, чреватой многими, в том числе жуткими, возможностями. Платонов, с ничтожной исторической дистанции всего в несколько лет, попытался создать миф о революции, в котором социальное сплавлено с природным, а место богов и героев занимают человеческие существа, доведенные историческим движением до полной ничтожности, обезличенности, анонимности — а теперь восставшие. Только странный это миф — с густой сетью прожилок юмора, иронии, трезвого скептицизма...

Говоря о жанровом контрасте «Сокровенного человека» и «Чевенгура», интересно сопоставить картины смерти в обоих произведениях. В повести гибель комиссара Афонина в эпизоде боя у города Похаринска изображается с проникновенным, очень личностным реализмом: «У Афонина три пули защемили сердце, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем... Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина; отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы... Наконец сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность».

А вот — описание в «Чевенгуре» смерти Сербинова: «Симон упал от удара копытом в живот и почувствовал, как сердце отошло вдаль и оттуда стремилось снова пробиться в жизнь... Солдат, нагнувшись, без взмаха разрезал ему саблей живот, и оттуда ничего не вышло — ни крови, ни внутренностей». Не правда ли, создается впечатление, что здесь речь идет именно что о гибели литературного персонажа, а не человека из плоти и крови. Так, несколько условно, ритуально умирают герои сказок.

Запомним это — и обратимся к другой платоновской «двойчатке», которую образуют бедняцкая хроника «Впрок» и повесть «Котлован». Последнее произведение Платонов при жизни даже не пытался напечатать, а публикация «Впрок», как известно, навлекла на писателя длительную и тяжелую опалу. Нас сейчас опять интересует стилистовый и содержательный контраст двух этих текстов, созданных почти в одно и то же время.

«Впрок» — прямой (хоть и с «намеком») рассказ о путешествии героя, «душевного бедняка», по сельской местности Средней России, вступающей в коллективизацию. Это, по сути, серия очерков о том, как в разных местах по-разному реализуется партийная установка на обобществление сельского хозяйства. Очерки эти оживлены обычными у Платонова лексическими сдвигами, сказовым юмором, порой пародийными преувеличениями (которые и вызвали, очевидно, гнев Сталина). В итоге — «Впрок» действительно хроника коллективизации в отдельно взятом российском районе, пусть с сатирическим отливом, с едкими зарисовками головотяпства на местах и несколько декларативными восхвалениями умных и деловитых «капитанов» этого процесса. Да, порой Платонов сбивается на нежеланный ему самому «юродствующий» лад, он не всегда выдерживает тон. Но в целом он дает довольно объективную картину реальных достижений и проблем «колхозного строительства», нарисованную с симпатией, тревогой и интересом.

В «Котловане» люди и события существуют в двоящейся перспективе: исторической и трансисторической. Место действия повести обобщенно-условное: некий город вообще, некая граничащая с ним сельская местность, где организуется колхоз имени

Генеральной линии (имечко-то чего стоит!). Персонажи повести живут и действуют как бы в реальной советской России рубежа десятилетий, но одновременно и в ситуации наступающего «конца света».

Лексикон «Котлована» отмечен особой, нечасто встречающейся даже у Платонова экзистенциальной напряженностью, почти торжественностью, особенно в начале повествования, в эпизоде присоединения Вощева к бригаде землекопов: «Он слаб! Он несознательный... Ты зачем здесь ходишь и существуешь?.. А ради чего же ты думаешь, себя мучишь?.. Что же твоя истина!.. А зачем тебе истина?» Так приветствуют пришельца землекопы, сразу придавая факту появления среди них Вощева «бытийную» окраску. Стилистический этот колорит сохраняется, хоть и в менее концентрированной форме, на протяжении всей повести, что поднимает изображение над плоскостью повседневности и жизнеподобия, привносит в него момент гротесковой мистериальности.

Повествование здесь проникнуто сумрачными, жестокими мотивами: сопряженность детства и смерти, невозможность для взрослых (искалеченных морально и физически «империализмом») войти в светлое царство будущего, необходимость искоренения большинства представителей «эксплуататорских классов», даже бывших. Это находит кульминационное выражение в жутковатом сюжете «сплава» записанных в кулаки деревенских жителей на плоту в океан — в царство смерти.

Главное в «Котловане» — чрезвычайно богатая, интенсивная и неоднозначная образность, часто фольклорно-сказочного типа. Тут обычно вспоминается странная фигура медведя, Миши-молотобойца, природного батрака, который не только ударно трудится в кузнице, но и с безошибочным классовым чутьем выявляет кулацкий элемент на селе, подлежащий изгнанию из колхоза и последующему уничтожению. Образ этот, разумеется, чрезвычайно колоритен и работает на излюбленную идею Платонова — о коммунизме как бытийном начале, радикально меняющем не только отношения в человеческом обществе, но и все природные явления и закономерности.

Но он в «Котловане» не единственный. Примечателен эпизод, в котором появляется табун лошадей, преображенных духом времени: «Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой... спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем... тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой...» Столь же осмысленно протекает процесс питания: «На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека».

Можно, при желании, разглядеть в этом эпизоде некий пародийный колорит, но скорее здесь преобладает сказочная логика, сближающая людей и зверей, заставляющая их понимать друг друга, уравнивающая все живое под знаком одноприродности. Но и не только живое. Вспомним, как в «Чевенгуре» тамошние коммунары убеждены в том, что солнце трудится на вечный коммунизм, а степь «теперь есть интернационал злаков и цветов, отчего всем беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации».

Фантастический характер носит и сцена вечернего веселья колхоза после отправки кулаков в океан. Люди накануне перехода из прежнего в новое, абсолютно неведомое состояние не способны прекратить празднование, их пляска постепенно переходит в бесконечный танец заколдованных — или автоматов. В измерение реальности эту сцену возвращает лишь форсированный прозаизм: калека Жачев «начал спраста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как порожние штаны».

Снова перед нами ошеломляющий жанровый «коктейль», заставляющий читателя ощутить абсолютную условность, невсамделишность — и одновременно пронзительную подлинность изображаемого. По ходу действия действительность 1930-го советского года порой переносится в некое надвременное измерение, где действуют изматывающие идейные перегрузки, где персонажи не живут, а «бытийствуют к смерти», мучаются неразрешимыми, но насущными вопросами — или служат олицетворениями неких концептов или общих понятий («пролетарий», «бюрократизм», классовая борьба»).

Откуда же возникает у Платонова это соседство реального и сюрреального, едко достоверного — и предельно обобщенного, да еще с гротескными сдвигами? Целенаправленно ли выбирал писатель в одном случае реалистическую оптику, а в другом — магические линзы, показывающие действительность в заостренных до абсурда ракурсах, выявляющие в ней метафизические моменты?

И тут мне на память снова приходит немецкая литература начала XIX века, в частности, одухотворявшее ее понятие «романтической иронии». Разумеется, Платонов не был сознательным последователем Фридриха Шлегеля и «кружка йенских романтиков». Хотя, при общей широкой начитанности Платонова, вполне можно предположить, что с творчеством романтиков он был знаком.

Шлегель, придавший философскую огранку принципу романтической иронии, исходил при этом из конкретной художественной практики своих друзей и учеников — Новалиса, Тика и других. Писатели этого круга остро ощущали и переживали дисгармоничность мира, несовместимость конечного и бесконечного, реальности и идеала. Они отказывались принять пошлую, профанную реальность, полную несправедливости, заблуждений и пороков, но понимали свою неспособность в практическом плане противостоять ей. С другой стороны, они не согласны были полностью оторваться от современности, погрузившись в прошлое или воспарив в безвоздушные слои абстрактного умозрения. Литературное творчество, пронизанное иронией, позволяло, по их мнению, подняться над событиями и идеями, увидеть их со стороны, освободиться от инерции повседневности...

Идеал здесь ключевое слово. Романтики полагали, что действительность обретает смысл и значимость только в перспективе идеала. Однако познать его с помощью разума нельзя — его можно только чувствовать или предчувствовать, замечать его проявления в окружающем мире. Задача иронии у романтиков — не дать какое-то положительное знание, а поставить под сомнение непреложность существующего порядка вещей и догматическое знание о мире, указать на присутствие других возможностей, других измерений.

Нетрудно увидеть, что Андрей Платонов находился примерно в том же психологическом и «оценочном» отношении к человеческой природе, к послереволюционной действительности, к коммунистическому идеалу. Он свято верил в насущную необходимость, спасительность этого идеала — но отчетливо видел, насколько окружающая реальность расходится с ним. Рационального способа примирить это противоречие он не знал. Таким образом, он оказывался во власти умонастроения, близкого к умонастроению романтиков.

Конечно, буквального сходства тут нет и быть не может. Действительность, которая сформировала Платонова и которую он в своем творчестве изображал/судил, была несравнимо более жестокой и трагичной, чем действительность, окружавшая романтиков Йены или Гейдельберга. К тому же в прозе Платонова отсутствует важная черта романтической иронии как метода: ее обращенность на самое себя, саморефлексивность, «обнажение приема». Я пользуюсь понятием романтической иронии лишь как знаком приблизительного подобия и типологического сходства.

Стратегию Платонова (в его произведениях конца 20-х — начала 30-х годов) сближает с практикой немецких романтиков сквозная карнавальность, смещение пропорций реальности, легкость перехода от «серьезности» к сатире, гротеску или сказочной условности. Такой подход помогал автору освободиться от принудительной и однозначной оценочности, от необходимости принять окружающую реальность целиком — или целиком ее отвергнуть. В «Чевенгуре», «Котловане», так же как отчасти в «Усомнившемся Макаре» и «Ювенильном море», возникает сложная, динамичная игра светотеней. Здесь результаты советского строительства и используемые для этого средства ставят под сомнение цели и замыслы, но не опровергают их полностью. Здесь авторская горечь по поводу несовершенства пореволюционной действительности, издержек и провалов реальной политики отчасти снимается переводом изображаемого в сферу, где «правит бал» авторское воображение. Это позволяло писателю сохранять — в условиях жесткого выбора, выраженного формулой «Кто не с нами, тот против нас» — некоторые степени внутренней свободы.

Этим, вероятно, и объясняется близкое соседство платоновских произведений, выдержанных в совершенно разных стилиевых ключах. Похоже, что писатель в переломные моменты истории страны и своей собственной творческой биографии испытывал непреодолимую потребность перейти от жизнеподобного отображения реальности к ее поэтическому (пусть и средствами прозы) претворению, к изобразительной перспективе с включениями метафизических (или натурфилософских) прозрений, духовной рефлексии, гротеска и иронии. Тут уже говорилось о глубинной двойственности, пронизывающей мировоззрение и творчество Платонова. Проявляется она, очевидно, и в этом отчасти спонтанном, отчасти сознательном «переключении регистров».

Такое двойное видение характерно не для всего его творчества. Как уже сказано, чаще всего Платонов «отдавался» стихии гротеска и романтической иронии в период между 1928 и 1933 годами. Именно на эти годы приходятся и самые удивительные его литературные свершения, и самые тяжелые удары, обрушенные на писателя догматической критикой, идеологическими зашаталями. В покаянных письмах Платонова после разгрома повести «Впрок» — к Сталину, Горькому, в редакции газет — постоянно звучит мотив перестройки, перековки, выработки нового взгляда на окружающую советскую действительность и процессы, в ней происходящие: «Я не смог бы написать этого письма, если бы не чувствовал в себе силу начать все сначала и если бы не имел энергии изменить в пролетарскую сторону свое творчество — самым решительным образом». Не следует считать это дежурными оправданиями. Платонов, очевидно, всерьез пытался «исправиться», поменять свое мироощущение, приблизить его к нормативным требованиям складывавшегося «социалистического реализма».

Удалось ему это, правда, не сразу. В 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти в Германии, Платонов пишет рассказ «Мусорный ветер». В нем отразились и искренняя ненависть писателя к нацистскому режиму, и его стремление создать идеологически правильный текст, «полезный» в плане идеологической ориентации советских людей по отношению к этому режиму.

Рассказ, однако, напечатан не был, и в письме к Платонову Максима Горького очень внятно объяснены причины: «Пишете вы крепко и ярко, но этим еще более... подчеркивается и обнажается ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом. Я думаю, что этот ваш рассказ едва ли может быть напечатан где-либо». «Мусорный ветер» начинается в духе жесткого экспрессионизма, очень далеко от реалистической манеры. Вскоре однако история ученого-антифашиста Лихтенберга, его безнадежной борьбы и гибели, наполняется жуткими и сюрреалистическими деталями.

Лихтенберг, искалеченный штурмовиками за крамольные речи, становится ущербным инвалидом, а потом в нем начинается процесс «обратной эволюции», хотя при этом герой рассказа не утрачивает своего гуманистического сознания. В финале рассказа его герой, чтобы накормить умирающую с голоду женщину-пролетарку, готовит трапезу из собственной плоти: «В кухне Лихтенберг... разжег огонь, взял косарь и начал рубить от заросших пахов свою левую, более здоровую ногу. Рубить было трудно, потому что косарь был давно не наточен, и говядина не поддавалась; тогда Альберт взял нож и наскоро срезал свое мясо вдоль кости, отделив его большим пластом до самого колена; этот пласт он управился еще разрубить на два куса... и бросил их вариться в кипящую кастрюлю».

После этого Лихтенберг умирает. Людоедская трапеза достается, однако, не беднякам, которых хотел насытить своей плотью Лихтенберг, а разыскивавшему его полицейскому. В обнаруженном же рядом трупе героя даже его собственная жена не способна распознать человеческое существо, ибо он оброс шерстью и стал неотличим от обезьяны.

Рассказ «Мусорный ветер» очень наглядно показывает, как под пером Платонова вполне востребованная социально-политическая критика нацизма экстраполируется в сферу «черного ужаса», безумия, перверсии. Характерно, что зловещий мотив людоедства возникает порой и в сказках, собранных братьями Гримм (например, «Можжевельное дерево»), которые оказывали влияние и на эстетику немецких романтиков.

Платонов сделал добросовестную попытку принять советскую действительность как она есть, и отобразить ее в романной форме в незаконченном опусе «Счастливая Москва». Он явно стремился в нем преодолеть «двойное видение», сфокусировать свой взгляд на достижениях социалистического строительства — в первую очередь в плане сотворения нового человека. Героиней романа становится энергичная, очень привлекательная и отважная девушка Москва Честнова, сирота, то есть «дитя республики». Очевидно, Платонов намеревался провести свою героиню через ряд житейских и надбытовых испытаний, встреч и трансформаций, чтобы выявить в этом образе «положительно прекрасную» человеческую суть (в советском понимании).

Закончить роман писатель, однако, не смог, а сохранившаяся часть текста показывает, что он опять «заблудился» в лабиринте сомнений, противоречий и рефлексии о соотношении идеала с профанной действительностью. Москва, покорявшая сердца всех знакомых с ней мужчин, известная на всю страну парашютистка, почему-то спускается с небес в угольную шахту, становится после аварии инвалидом и остается практически в одиночестве. А любившие ее разочаровываются в своей способности удерживать ее стать вровень с Москвой и тоже сбиваются со своих жизненных орбит.

Платонов, в этом наброске социально-семейного повествования, вновь оказался во власти неразрешимых противоречий и парадоксов. Он снова не знает, как совместить стремление к личному счастью, жизненному успеху, самореализации с мечтой о счастье всеобщем, о единении всего человечества под знаком коммунистического идеала, общей судьбы, недробимой на индивидуальные осколки. Его снова мучает мысль о человеческой душе как вместилище «ветхого Адама», наследия собственничества, эксплуатации и эгоизма. Поэтому сюжетные повороты дописанной части романа ведут его героев по пути «преодоления личности», отказа от самих себя. Особенно наглядно это проявляется в истории Сарториуса, блестящего молодого ученого, который сначала уходит работать в заштатную организацию сугубо утилитарного профиля, а потом и вовсе отказывается от себя в попытке стать «всеми», слиться с Москвой — уже не девушкой, а огромным городом. Жанровые ориентиры писателя опять резко смешались в процессе работы над произведением, заведя повествование в тупик.

Только в повести «Джан» Платонов приблизился к намеченной цели — восприятию и отображению действительности в единой перспективе, в одном ключе, без «двоемирия» и внутренних коллизий. История спасения молодым выпускником советского вуза Назара Чагатаева своего крошечного народа Джан, затерянного в среднеазиатских песках, становится развернутой метафорой преобразования жизни, которое сулит социализм советского образца всему человечеству, страдающему от бедствий, эксплуататорской «предыстории». Назар Чагатаев выступает здесь в роли посланца большого мира, представителя большевистской революции, которая является единственным шансом на выживание и обретение новой судьбы для этой горстки людей.

Это скупая, лаконичная проза с упором на те крайне скудные, почти нечеловеческие условия, в которых существовали одноплеменники Назара на протяжении веков и, в особенности, перед самым его возвращением на «малую родину». Платонов создает в повести эффекты почти запредельного страдания, существования на грани смертельного физического истощения — и легкого перехода этой грани. Соплеменники Назара живут, почти не сознавая своей жизни, тем более не могут они наполнить ее каким-либо смыслом, целями, хотя бы самыми примитивными.

Но все это остается в рамках реалистического, даже натуралистического дискурса, без фантазийности или гротеска. Единственное выпадение из подобной манеры — эпизод, где фигурирует овчье стадо, призванное обеспечить пропитанием голодающий народ Джан. Здесь Платонов, как часто в «Чевенгуре» и «Котловане», наделяет животных (особенно барана-вожака) вполне человеческими мыслями и даже психологическими ходами: «Он [баран] устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от одинокого зверя — он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами... Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и равнодушие к ним, и тоже вспоминали пастухов и собак... Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пытался рвать шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами». Но эта уступка автора сказочному антропоморфизму не меняет общей смысловой перспективы повествования, как и изобразительной манеры.

Так Платонов во второй половине 30-х годов, под ударами судьбы, под огромным внешним давлением, не только за страх, но и за совесть, выработывал в себе «дисциплину стиля и мысли», преодолевал двоемирие и органичную для него в молодые годы тягу к романтической иронии, к претворению реальности в формах, полных лирики, гротеска, сюрреальных образов и ситуаций. Можно ли говорить тут о трагедии писателя, о том, что его талант был сломлен враждебными обстоятельствами, что художник был принужден властью к конформизму и подчинению?

В случае Платонова все обстояло, очевидно, сложнее. Прежде всего, признаем, что его рассказы предвоенной и военной поры обрели не свойственные им прежде соразмерность, внутреннюю гармоничность. Платонов становится бытописателем — в самом проникновенном и возвышенном смысле этого определения. Изображаемый им «быт» маловеществен, зато он пронизан токами и импульсами реабилитированной человеческой души. Писатель по-прежнему пребывает на «платформе» социализма — отсутствие имущественного неравенства, эксплуатации и стремления к наживе остается для него необходимым условием преобразования жизни. Однако само это преобразование видится им теперь совсем в ином свете. Место глобальных грез о стремительном и радикальном перерождении человеческой природы занимает теперь проникновенный анализ новых человеческих отношений, постепенно созревающих на дружелюбной социальной почве.

В таких рассказах второй половины 30-х годов, как «Фро» и «Река Потудань», «Третий сын» и «Чистая вода из колодца», писатель словно в микроскоп рассматрива-

ет «объем текущей жизни», перевоплощаясь в «прочих людей», проникаясь их повседневыми чувствами, заботами, влечениями. Теперь Платонов принципиально не отрицает совместимости личного счастья — и участия в общем деле, в заботах большого мира.

И все же — «что-то важное пропало» в его зрелом творчестве по сравнению с годами бури и натиска. Исчезла та взвихренная, сновидческая и отчасти «нездешняя» (при всей развернутости автора к актуальной проблематике) атмосфера, наполнявшая его прозу 1928—1933 годов, исчезла причудливая игра с ракурсами и «сменная оптика». Возможно, это и функция возраста — больше в нем стало умудренности, больше приятия сущего, больше понимания человеческой психологии. Титанические упования и порывы остались позади.

Стране, правда, предстояли еще более жестокие и трагические испытания. Платонов примет самое прямое участие в войне в качестве фронтового корреспондента, и этот период окажется для него в публикационном плане очень плодотворным — за годы войны будут изданы четыре книги его рассказов и очерков. Но после победы он снова окажется под ударом.

И вот когда гроза вокруг рассказа «Возвращение» («Семья Ивановых») окончательно закроет перед писателем двери журналов и издательств, ему на помощь снова придет сказка. В период новой опалы Платонов возьмется за обработку и пересказ произведений русского и башкирского фольклора. Конечно, в первую очередь это была работа для денег: ему, больному и измученному, нужно было содержать семью. И все же это примечательно, даже символично: под конец жизни писатель окунается в сказочную стихию, пусть и очень далекую от романтической традиции. В ней он найдет окончательное разрешение коллизий, терзавших его сознание, в ней преодолет свою вечную двойственность.

## «...ПОКАЗАЛОСЬ ИНТЕРЕСНО, ДАЖЕ ОЧЕНЬ...»

Писатели, музыканты,  
люди кино и театра  
в дневниках 1961—1998 годов<sup>1</sup>

*Начнем двумя легкомысленными сюжетами. По крайней мере, один из них имеет отношение к тем выводам, к которым мы придем.*

*Первая история для разминки. Чтобы вы хоть немного почувствовали манеру и характер.*

*Была такая переводчица Анна Семеновна Кулишер<sup>2</sup>. По-русски она писала идеально, а говорила с небольшим еврейским акцентом.*

*В юности за ней ухаживал молодой человек. Когда дело дошло до того, что он упал перед ней на колени и предложил руку и сердце, она сказала:*

*— Встаньте. Не надо пачкать НАШИ брюки.*

*Второй пример относится к тому времени, когда она стала чуть ли не главным переводчиком Стендаля и Бальзака и уже могла кое-что позволить.*

*Гуляет она в Комарово где-то в районе вокзала. К ней подходит дама и спрашивает:*

*— Как пройти к Дому творчеству писателей?*

*— Надо идти все время прямо, — отвечает Кулишер, — когда вы увидите стадо идотов, это и будет то, что вы искали.*

---

Семен Борисович Ласкин (1930—2005) — прозаик, драматург, историк литературы, искусствовед. Окончил Ленинградский первый медицинский институт, работал врачом в больнице им. Ленина и на «Скорой помощи». Автор двадцати книг, в том числе: «Боль других» (М., 1967), «Эта чертова музыка» (М., 1970), «Чужое прошлое» (Л., 1981), «Вечности заложник» (Л., 1991), «Вокруг дуэли» (СПб., 1993), «Роман со странностями» (СПб., 1998); пьес, поставленных во многих театрах страны («Акселераты», «Палоумыч»), сценариев фильмов («Дела сердечные», «На исходе лета»), произведений для детей («Саня Дырочкин — человек семейный» (Л., 1979; 2-е изд.; М., 2015), «Саня Дырочкин — человек общественный» (Л., 1988; 2-е изд.; М., 2016), «Мотя из семьи Дырочкиных» (М., 2016)). Жил в Ленинграде—Петербурге.

<sup>1</sup> Фрагмент из готовящейся книги: Семен Ласкин. Одиночество контактного человека. Дневники 1953—1998 годов.

<sup>2</sup> Кулишер А. С. (1988—1961) — переводчица. Окончила исторический факультет Брюссельского университета и Институт новых языков в Ленинграде. Литературную деятельность начала в 1928 году. Переводила на русский язык А. Зегерс, Т. Манна, С. Цвейга, А. Доде, Стендаля, О. Бальзака, а также произведения русских писателей на немецкий.

Оставим последнее утверждение на совести Анны Семеновны, но по поводу стадности все верно. В ту эпоху литераторы держались сообща. Не случайно Союз писателей создавался почти одновременно с колхозами. Это и был еще один колхоз. Место, где индивидуальное становится коллективным.

Словом, отечественные авторы жили не сами по себе. Вспомним хотя бы ведомственные жилищные кооперативы, а главное, дома творчества. Собираетесь вы, к примеру, что-то создать. Покупаете путевку в Дубулты или Пицунду. В этих краях есть все для того, чтобы ваш труд переполняли светлые чувства, — море, питание, процедуры.

Судя по реплике Анны Семеновны, это удивляло и в те далекие годы, а сейчас особенно. Больно велика концентрация пишущих. Представьте дом, где на каждом из этажей сочиняют по роману, две повести и четыре стихотворения.

По этому поводу обитатели Комарова шутили: куда ни плюнь, непременно в писателя попадешь!

Отец упоминает о том, что здесь развлекались игрой в «очко». Выглядело это так: отсчитываешь в писательском справочнике двадцать одну фамилию. Называешь хотя бы одну книгу, написанную кем-то из этих людей, и берешь банк (запись от 09.07.74).

В этом главное отличие литературной жизни в советский период. Никогда писатели не существовали столь близко друг к другу. Конечно, свои круги были у Пушкина или Блока, но это был круг по типу обруча. Только попробуй из него выскользни! Если ты согласился на участие, то всю жизнь будешь существовать так.

Правда, и наоборот тоже плохо. Если бы эти дома не были набиты членами союза, то сколько бы мы потеряли! Литераторы разбрелись бы по своим норам и редко показывались на свет.

В Доме творчества вы поднимаетесь в лифте с Арбузовым<sup>3</sup>, сидите в столовой не вдалеке от Шкловского...<sup>4</sup> Ощущение такое, будто вы открыли учебник литературы и переходите от главы к главе.

Схожую роль выполнял и Дом писателя. Кроме собраний, на которых разтолковывались принципы социалистического реализма, здесь проводились литературные вечера. Выступали Андрей Битов<sup>5</sup> и Юрий Лотман<sup>6</sup>. Советская власть не обсуждалась, но о вкусах говорили без утайки.

Эти выступления были своего рода самиздатом. Возможно, чем-то большим, чем самиздат, — тут представала сама мысль, не напечатанная, а рожденная у нас на глазах. Ее подлинность подтверждало присутствие автора, который напрямую обращался к своему читателю.

<sup>3</sup> Арбузов А. Н. (1908—1986) — драматург. В 11 лет увидел «Разбойников» на сцене БДТ и навсегда заразился романтизмом. В таких его пьесах, как «Таня», «Иркутская история», «Мой бедный Марат», десятилетиями не сходящих со сцены, наравне с точностью быта и характеров присутствует романтическое преувеличение.

<sup>4</sup> Шкловский В. Б. (1903—1984) прошел путь от одного из лидеров «формальной школы» до — после покаянной статьи «Памятник научной ошибки» (1930) — признанного советского литературоведа, мастера биографического жанра. Во второй половине жизни, сохранив черты оригинального стиля, потерял в остроте и социальности. Автор биографий С. М. Эйзенштейна, Л. Н. Толстого.

<sup>5</sup> Битов А. Г. (род. 1937) — писатель, сохранивший при советской власти независимость от существовавших для каждого литератора правил, — его книги выходили не только в официальных издательствах, но в американском издательстве «Ардисе» где был опубликован его главный роман «Пушкинский дом» (1978).

<sup>6</sup> Лотман Ю. М. (1922—1993) — амплитуда этого литературоведа была поистине безгранична. Он был создателем Тартуско-московской семиотической школы и автором биографий Пушкина и Карамзина. Столь же широки были его интересы: от литературы до кинематографа, от истории декабризма до поэтики Бродского.

На вечерах отец записывал. Пусть две или три фразы попадались в его сети, но зато какие! Через много лет откроешь дневник и удивишься: как точно!

К примеру, Т. Ю. Хмельницкая<sup>7</sup> говорит, что «великая неудача Хлебникова дала новое слово в поэзии» (запись от 29.03.84), а Ю. М. Лотман замечает, что «историк — это доктор, и он должен знать все» (запись от 08.02.84).

Кстати, я на вечере Лотмана запомнил другое. «Он был Тынянов, то есть великий писатель», — как видите, сохранился даже порядок слов. Больно это похоже на уравнение — в нем человек, как он есть, оказывается равен тому, кем он может быть.

Интересно, что у простых трудящихся были дворцы культуры, отменявшие приватность самим названием, а у писателей — дома. Видно, кто-то догадался, что тут не нужна официальность. Совсем не требуется она в Доме творчества, где не утихало веселье — по утрам здесь сочиняли «нетленки», а вечерами предавались радостям общения.

О чем разговаривали? О важном, несущественном, случайном, судьбоносном... Какая может быть чистота жанра, если здешняя жизнь состоит из первого и двадцать пятого! Начиная хотя бы с того, что литератор сидит за столом, выстукивает свои тексты, а в окно видит лес или море до горизонта.

Лучше всего об этом сказали случайные свидетели. Когда в несезон в одном Доме творчества стали сдавать номера шахтерам, писатели услышали о себе все. Впрочем, что возразишь на такое: «Как вы работаете, — сказал один представитель Донбасса, — так мы отдыхаем».

Еще надо вспомнить поездки — в разные города Союза и, конечно, за границу. Тут тоже литераторы поневоле сбивались в стаю. Ничего не оставалось, как продолжить те разговоры, которые они вели во всех подведомственных домах.

Вот отец в писательской поездке в Грецию. Разные люди входят в группу, но его внимание занимает Юнна Мориц<sup>8</sup>. Как видно, ей тоже с ним интересно — поэтому она много читает Бродского и делится эзотерическими познаниями (запись от 18.10.81, 22.10.81, 26.10.81).

Вряд ли Мориц могла «переиграть» здешние красоты, но она точно внесла что-то свое. Параллельно сюжету, состоящему из древних развалин и моря, возник сюжет человеческий.

Если есть коллектив, то существует и «коллективное бессознательное». Заблуждалась не только консервативная, но либеральная часть писательского сообщества.

Казалось бы, писатель Павел Нилин<sup>9</sup> — вполне самостоятельная величина, а ведь повторяет общие ошибки. Ну а отец соглашается. Значит, и он не способен взглянуть на ситуацию со стороны.

<sup>7</sup> Хмельницкая Т. Ю. (1906–1997) — ленинградский литературовед из той когорты, в которую входили Л. Я. Гинзбург и И. Н. Медведева-Томашевская. Как Гинзбург и Медведева, окончила Высшие курсы искусствоведения при Ленинградском институте истории искусств, где их учителями были Ю. Н. Тынянов и Б. М. Эйхенбаум. Автор работ об А. Белом, М. Пришвине, К. Воннегуте. Все, о чем она не могла написать в официальных изданиях, она высказывала в своих письмах, которые стали публиковаться после ее смерти (см.: Г. Семенов и Т. Хмельницкая. Говорить друг с другом, как с собой. Переписка 1960–1970 годов. — СПб., 2014).

<sup>8</sup> Мориц Ю. П. (род. 1937) — одна из самых ярких поэтесс поколения 1960-х годов, входила в литературную вместе с Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, А. Вознесенским. В отличие от ее товарищей по поэтическому поколению, ее книги издавались с большими перерывами — с 1961-го по 1970-й и с 1990-го по 2000-й. Автор книг «Лоза» (1970), «При свете жизни» (1977), «Синий огонь» (1975) и др.

<sup>9</sup> Нилин П. Ф. (1908–1981) — писатель, драматург, сценарист. Темы его творчества во многом определила работа в уголовном розыске в 20-е годы, что дало право С. Липкину в эпиграмме назвать его «певцом угрозыска». Его известность связана не только с повестью «Жестокость» — одним из

*Сейчас это имеет значение историческое. Через эти странности узнаешь время. Становится ясно: можно пройти огонь, воду и медные трубы, но видеть избирательно. Что-то понимать, а что-то нет.*

*А ведь Нилин был человек бывалый. Участвовал в революциях и войнах. Правда, всегда стоял на стороне государства, а тут следует чуть отстраниться. Постараться осознать, что власть делает с нами.*

*«Сегодня Нилин сказал, — записано 30.08.78. — что мы все напряженно следим за партией Корчного и Карпова<sup>10</sup>, а в это время китайцы, Хуа Гофен<sup>11</sup>, ведут переговоры с Югославией, Японией и Румынией. Эта игра пострашнее».*

*Не хочется влезать в старые межгосударственные дрязги, да и без того ясно, насколько важно шахматное противостояние. Особенно с писательской точки зрения. Представьте, что выигрывает Корчный. Это была бы победа всех, кого лишили советского гражданства, — от Синявского до Солженицына.*

*А вот, казалось бы, почти неразличимая подробность, но в советском контексте она великанивалась. Не исключено, что такие вопросы решались на самом верху. Ведь речь шла об уровне похорон и представительстве на них людей от власти.*

*Отец читает в газете некролог Федору Абрамову<sup>12</sup>. Как и положено в этом жанре, тут равно важны слова и подписи. Притом не только те, что есть, но и те, которых нет. «Он, Абрамов, назван видным, хотя он выдающийся. Среди массы подписей нет ни одной литературной личности» (запись от 18.05.83).*

*Отец и без подсказок знал, кто такой Абрамов. Впрочем, это не только о покойном писателе. Прежде всего, это о тех, кто и после его смерти выставляет заслоны. Кто говорит, что досюда — можно, а дальше — нельзя.*

*С перестройкой заблуждений не стало меньше. К примеру, существовала уверенность, что прибалты без «старшего брата» не проживут. Помню, как в январе 1990 года Горбачев переубеждал литовский парламент. Он говорил час и два, но все как в вату. Даже мне у телевизора было ясно, что решение принято и его не изменишь.*

*У писателя Григория Кановича<sup>13</sup> иные аргументы, чем у Горбачева, но он тоже побаивается перемен: «Литовцы забыли, что перед ними — гигант. Задавит, сомнет в объятых — и конец» (запись от 15.03.90). Отец не спорит, а следовательно, опять соглашается. Ну а что вы хотите? Если все время одно и то же, попробуй поверить, что возможно другое.*

значительных произведений 50-х годов, но с позорным выступлением на заседании президиума правления Союза писателей СССР в октябре 1958 года, осудившем Пастернака.

<sup>10</sup> Матч на первенство мира по шахматам между чемпионом мира А. Е. Карповым и победителем соревнования претендентов В. Л. Корчным проходил с 18 июля по 18 октября 1978 года в Багио (Филиппины). В нем Карпов сохранил звание чемпиона мира.

<sup>11</sup> Хуа Гофен (1921–2008) — преемник Мао Цзэдуна на посту председателя Коммунистической партии Китая, положил конец «культурной революции», но сохранил советскую систему планирования и партийного контроля. В области внешней политики продолжил линию на конфронтацию с СССР.

<sup>12</sup> Абрамов Ф. А. (1920–1983) — писатель, представитель «деревенской прозы» 60–80-х годов. Прошел путь от советских взглядов (написал и защитил диссертацию по творчеству Шолохова) до независимой позиции, выраженной прежде всего в тетралогии «Братья и сестры» (1958–1978).

<sup>13</sup> Канович Г. С. (род. 1928) — писатель со своей темой — все его произведения посвящены жизни литовского еврейства. В 1989–1993 годах возглавлял Еврейскую общину Литвы, избирался народным депутатом СССР. С 1993 года живет в Бат-Яме. Вот его надписи на книгах, подаренных родителям: «Ольге Александровне и Семену Борисовичу Ласкиным. Дай Бог, чтобы студеный ветер России не задул ни одной вашей свечи. 31.3.1989» («Свечи на ветру» (Вильнюс, 1986)), «Дорогим Ольге и Семену Ласкиным с любовью и в надежде на то, что наше блуждание по рабскому раю когда-нибудь кончится. 8.3.1990» («И нет рабам рая» (М., 1989)),

Все это было в его жизни. И общие иллюзии, и общие надежды, и общие обманы. Да и пространство, где циркулировали эти мнения, тоже было общим. Если не вылезать из Дома писателя и домов творчества, то невольно попадаешь в кольцо.

Как при такой степени причастности не стать летописцем? Тем более что отца отличала не замкнутость, а радушие. На его лице постоянно была улыбка. Трудно представить, что он где-то появляется и при этом не светится.

Все же однажды это произошло. Как-то он пришел в Дом писателя чем-то огорченный — и напугал сотрудницу. «Не случилось ли чего?» — бросилась она к нему, но минутная тень уже сошла с его лица.

К упомянутым качествам прибавим любопытство. Что-то вроде такого: «...показалось интересно, даже очень...» (запись от 14.08.83). Без этого едва ли не детского качества не может быть человека записывающего — будь то писатель или автор дневника.

Вспоминаю своего приятеля, который через двадцать лет жизни на Западе приехал в Петербург. Гуляем в центре, приближается час пик. Тут он говорит, чего ему хочется больше всего: давай пойдём в метро и немного потолкаемся.

Конечно, в той стране, куда он уехал, нет такого аттракциона: одни люди еще не вышли, а другие уже входят в вагон. Причем чаще всего это происходит молча. Словно те и другие пробиваются не через толпу, а через плотно растущие кусты.

Вот почему колхоз — это не так и плохо. Да и Союз писателей все же недостаточно называть колхозом. Во всех этих формах связи есть тот смысл, который выражает приведенная в дневнике фраза Т. Уайлдера: «Нет счастья, равно осознанию того, что в общем переплетении судеб ... тебе назначена своя роль» (запись от 20.07.83)<sup>14</sup>.

Так что мы не только толкаемся или состоим в одной организации, но приобщаемся к некоему целому, начинаем ощущать себя его частью.

Значит, не такое праздное увлечение — вести записи. Иначе бы таких людей появлялось больше. Из отцовских предшественников назовем хотя бы Александра Гладкова<sup>15</sup>. Он не только писал пьесы, но чуть ли не ежедневно фиксировал: с тем-то беседовал, узнал то-то и то-то...

Видно, общение составляло важную часть жизни Гладкова. Жаль, никогда не хватало времени: «Если бы у меня не было о чем писать, то я приезжал бы в Дом творчества и просто болтал бы с интересными людьми и записывал их разговоры»<sup>16</sup>. Словом, он сетует на то, что недоговорил. Сколькими бы еще подробностями пополнился дневник!

Еще надлежит упомянуть Сергея Довлатова<sup>17</sup>, но это мы сделаем чуточку позже.

Почему возникает эта потребность? Да потому, что в душе некоторые люди ощущают себя историками. Они видят, что время уходит, а не остается почти ничего.

К тому же им известно то, что делают настоящие историки — на протяжении всей советской эпохи создавался ее официальный портрет. Тут уже не «общие тетради», исписанные плохим почерком, а толстые тома в красивых переплетах.

Не все просто с этими изданиями. Бывало, выйдет новая книга, а тут подоспели перемы. К очередному тому прилагается повестка: вырежьте подозрительную личность и замените ее не вызывающей сомнений географической точкой.

<sup>14</sup> Цитата из романа американского писателя Т. Уайлдера (1897—1975) «День восьмой». Перевод Е. Калашниковой.

<sup>15</sup> Гладков А. К. (1912—1976) — писатель, вошедший в историю не только пьесой «Давным-давно» (1940), имевшей счастливую сценическую и кинематографическую судьбу, но записями разговоров со Вс. Э. Мейерхольдом (в чьем театре он работал) и Б. Л. Пастернаком.

<sup>16</sup> Запись от 2 марта 1967 года (см.: Гладков А. Дневник / Публикация, подготовка текста М. Михеева // Новый мир, 2015, № 5).

<sup>17</sup> Довлатов С. Д. (1941—1990) — самый популярный сегодня писатель, вышедший из ленинградского андеграунда. Его проза соединяет в себе документальность (часто мнимую) с искренностью и лиризмом. С 1978 года — в Нью-Йорке.

Удивительно, что на каждом этапе провинившихся меньше не становилось. Было очевидно, что и в другой раз найдутся люди, которые чем-то себя запятнали.

За этими колебаниями внимательно следил мой дедушка. Получит новое требование и сделает, как велят. Особенно пострадали от него члены редколлегии. Он вычеркивал их то синими, то фиолетовыми чернилами до тех пор, пока не осталось ни одного.

При чем тут дневники? А при том, что в них излагалась не официальная версия событий, а частная и независимая. Возможно, во всей стране не существовало пространства более свободного, чем эти тетради.

Теперь можно вспомнить Довлатова. Хотя его «Соло на „ундэрвуде“» и «Соло на IBM» не дневник, но тут есть связь с ежедневными записями. Каждый отрывок рассказывает о том, что писатель от кого-то услышал или видел сам.

Перед нами не просто анекдоты, но исторические анекдоты. Ведь персонажи этих книг — так, по крайней мере, считает автор — люди исторические. Это им предстоит вытеснить советских классиков.

Самонадеянно? Наверное. Впрочем, Довлатов не формулирует позицию, а просто предлагает свой вариант. В его иерархии отсутствуют Шолохов и Федин, но зато есть Уфлянд<sup>18</sup> и Губин<sup>19</sup>.

В каком-то смысле мы оказываемся в утопии. Позволяем допущение, что литературных бонз заменили «дворники и сторожа». Недавно их знали только в своем кругу, но дело пошло так далеко, что они стали героями анекдотов.

Надо пояснить, что анекдоты — это не то, что унижает. Если над кем-то шутят, значит, он настолько известен, что стало важно все. Даже то, что с первого взгляда выглядит невыигрышно, может подогреть интерес.

Конечно, это потрудился Довлатов. Придумал эти истории или что-то присочинил к тем, что действительно имели место. Теперь, когда легенда создана, надо подкрепить ее публикациями. Что ж, осталось недолго. Пройдет какое-то время, и сочинения его приятелей пойдут нарасхват.

Ничуть не сравниваю довлатовские тексты с отцовскими записями о литературных знакомых. Впрочем, трудно преодолеть ощущение, что это тоже «альтернативный сюжет». Где-то есть история официальная — тут все выглядят солидно, носят костюмы с галстуками, — а есть частная, совершающаяся на аллеях домов творчества или даже на местном пляже.

В общую биографию вплетается его личная судьба. Он открывает дверь, просовывает голову, осматривает обстановку. Практикующий врач вступает в новый для себя мир.

Об этом говорит запись от 10.09.64, где рассказано о прогулках с Андреем Битовым. Битов недавно издал первую книгу, но отец рядом с ним явно комплексует. «Как ты работаешь?» — спрашивает он, словно они не товарищи и сверстники, а интервьюируемый и интервьюер.

Затем страхи исчезают. Это не значит, что он сосредотачивается на себе. Ему по-прежнему все интересно. Хочется, чтобы буквально каждый мог высказаться в его дневнике.

<sup>18</sup> Уфлянд В. И. (1937–2007) — поэт и художник, одна из самых примечательных фигур ленинградского андеграунда, создатель особой реальности, которую его приятель И. Бродский окрестил «Уфляндией». Период его официального присутствия в литературе, о котором, как видно, думал С. Д. Довлатов, был короток по времени и немногочислен по количеству выпущенных книг.

<sup>19</sup> Губин В. А. (1934–2003) — как и положено автору из ленинградского андеграунда, вел двойную жизнь: в дневное время работал в Ленгазе, а в вечернее — писал прозу. Несмотря на возможности, появившиеся во время перестройки, остался автором практически неизвестным. Этому способствовал его перфекционизм — свое главное произведение, небольшую повесть «Илларион и Карлик» (СПб., 1997), он писал более пятнадцати лет.

*Что отец нашел в мире литературы? Ведь не только веселье, разговоры о творчестве, сплетни обидные и не очень. В его бытность студентом клеймили Ахматову и Зощенко, затем изгоняли Бродского и Эткинда<sup>20</sup>. Все это происходило в Доме писателей. На одном этаже — болтали и выпивали, а на другом — разоблачали и пригвозждали.*

*В отдельных случаях к травле привлекалась широкая общественность. Тогда местом действия становился Белый зал.*

*Так что те, кто называет Союз писателей «гадюшником»<sup>21</sup>, по-своему правы. Правда, здесь есть варианты. Одно дело — вы секретарь или член правления, а другое — просто член СП. Положение последних было более выигранным. Особенно если они, как отец, не состояли в партии.*

*Когда требовалось участие в новой кампании, их редко призывали. Вполне хватало тех, кто при должностях. Еще находились энтузиасты. Они всегда были готовы положить руку.*

*Значит, в отличие от «гадюшника», где все переплелось в один клубок, тут допускалась самостоятельность. Главное, не затрагивать политику и лично первых лиц. Что касается обмена мнениями и шумных споров, то почему нет?*

*К тому же очень важно, где это происходит. Если в ресторане Дома писателей, то неосторожность можно списать на выпитое. То же с домами творчества. Как почти голому человеку на пляже уследить за собой? Тут если начнешь рассказывать, то сразу забредешь не туда.*

*Об этом говорят записи. Вот А. Б. Чаковский<sup>22</sup> на природе. Представляю его в «Литературной газете» — строгого и не всегда справедливого, а это он после купания — веселый и доброжелательный. Конечно, тут важно, что недавно его лишили постов, и он немного растерян (запись от 30.07.89).*

*Можно назвать и другие фамилии — как упомянутые, так и неупомянутые. Благодаря присутствию этих людей возникает ощущение шума. Не привычного шума во дворе или за стеной, а мандельштамовского «шума времени».*

*Для шума нет иерархии. Рядом оказываются важные исторические обстоятельства и скромные литературные радости. Впрочем, как по-другому? Нет ничего страннее прямой линии. Только несоответствия бывают правдивы.*

*Впрочем, это не только о судьбе литератора. Не зря Чехов писал: «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, и разбиваются их жизни»<sup>23</sup>. Это значит, что ты не заметишь, как все случится. Встанешь со стула, поблагодаришь за компанию — и не узнаешь мира вокруг.*

*Интересно: всякий ли раз он чувствовал, что тут заложено нечто большее? Или записал, потом не вспоминал какое-то время, а когда открыл дневник на этой странице, то буквально замер.*

<sup>20</sup> Эткинд Е. Г. (1918–1999) — филолог, историк литературы, переводчик, педагог. Фронтвик. Доктор филологических наук, профессор Ленинградского института им. Герцена. За участие в подготовке машинописного собрания сочинений Бродского и помощь Солженицыну был уволен из института, исключен из Союза писателей, лишен научных званий. В 1974 году уехал во Францию, где стал профессором Х Парижского университета. Во время перестройки много раз приезжал на родину, активно публиковался в российских изданиях.

<sup>21</sup> См.: Золотоносов М. Н. Гадюшник. Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями (Из истории советского литературного быта 1940–1960-х годов). — М., 2013.

<sup>22</sup> Чаковский А. Б. (1913–1994) — писатель, чьи произведения отмечены множеством наград, в историю вошел прежде всего как главный редактор: с 1955-го по 1963 год возглавлял журнал «Иностранная литература», а с 1962-го по 1988 год — «Литературную газету».

<sup>23</sup> Письмо А. П. Чехова И. Я. Гурлянду. 1989, сентябрь.

Скорее, второй вариант самый распространенный. Просто фиксируешь, не задумываясь о том, что за этим возникает. Нужно еще сколько-то разговоров, чтобы все окончательно срифмовалось.

Начнем, впрочем, со случайной встречи. Обменялись несколькими фразами и двинулись по своим делам. Правда, осадок остался. Вряд ли такое забудется и через много лет.

Отец и его приятель-поэт встречают критика, который когда-то написал о поэте зло. Даже не зло, а гнусно. Все немного смущены и не знают, о чем говорить (запись от 02.10.85).

Чтобы разрядить обстановку, критик спрашивает: «А ты, надеюсь, продолжаешь писать стихи?» Вы посмотрите — он надеется. Ну а вдруг его ожидания не сбылись? А если поэт понял, что без стихов лучше? Ведь тогда у него не будет врагов.

Скорее всего, критик хотел сказать, что ничего особенного не случилось. Да, был повод понервничать, но ведь ничего больше. В результате каждый остался при своем.

Нет, все же произошло, мысленно отвечает поэт. Некоторое время назад он был обречен. Интересно, что критик интересуется сейчас, а ведь все могло закончиться еще тогда.

В этом и есть смысл вопроса: «А ты думаешь, что убил меня своей статьей?» Мол, а если бы мы не встретились? Ты бы так и не знал — дошла ли твоя пуля по адресу.

Кстати, разговор начался с реплики критика: «Я просматриваю свои статьи и вижу, что писал по совести». Тем важнее процитированная фраза, в которой высказано подозрение в убийстве.

Хоть и нехорошо, но все-таки не «гадюшник». Хотя бы потому, что для змей и прочих гадов нет будущего, а у людей оно есть. Когда через много лет тебе напомнят о прошлом, ты поймешь, что это расплата.

А это другая история. Помимо Геннадия Гора, у отца был еще один «старик» — литературовед Борис Бурсов<sup>24</sup>. Поначалу у них сложились самые теплые отношения. Было о чем рассказать в дневнике. Если о Геннадии Самойловиче он писал: «Гор сказал...», то о Бурсове: «Бурсов сказал...»

Больше всего привлекала верность. Гор был весь в двадцатых годах, а Бурсов — в размышлениях о Пушкине и Достоевском. Куда бы ни повернул разговор, он неизменно приводил к любимым авторам.

Они, эти авторы, определяли масштаб. Вот ему рассказывают, что коллегу Бушмина<sup>25</sup> пригрозили убить за общение с евреями. Что на это сказать? Он и не стал ничего говорить, а просто заплакал (запись от 27.06.78). Больно это неправильно: тут наши гении, их прорывы и взлеты, а рядом совершеннейшее средневековье.

Не всякий ученый способен переживать. Слов будет с избытком, но слезинки не прольется. Это не о Борисе Ивановиче. Несмотря на свои научные звания, он мог и заплакать, и по-настоящему рассердиться.

С Бушминым все ясно — это событие самое последнее, но и о классиках Борис Иванович говорил бурно. Столь личная интонация пристала если не родственнику, то современнику. Не это ли имел в виду Ф. А. Абрамов, когда сказал, что Бурсов «„на ты“ с Толстым, Достоевским, Пушкиным, — он познает через них себя» (запись от 13.11.75).

<sup>24</sup> Бурсов Б. И. (1905–1997) — литературовед, доктор филологических наук, автор книг «Личность Достоевского» (1974), «Судьба Пушкина» (1985). Пик популярности Бурсова пришелся на 70–80-е годы — его книги преодолевали не только устаревшие взгляды, но и привычную форму книг о литературе, в той или иной степени ориентированных на жанр диссертационного исследования.

<sup>25</sup> Бушмин А. С. (1910–1983) — литературовед, академик, главный советский «щедриновед» — специалист по М. Е. Салтыкову-Щедрину, дважды становился директором Института русской литературы (Пушкинский Дом) — с 1955-го по 1965-й и с 1978-го по 1983-й. Возможно, полученная им угроза связана с новым назначением на должность директора.

На этой позиции литературовед настаивал: «...чтобы понять современников гения, нужно стать его современником» (запись от 13.11.75). Нет, никаких вольностей в тексте, но по разговорам ясно, что тут имело место не наружное наблюдение, а взгляд изнутри.

Доктору филологии этот тон не совсем подходит, а какому-нибудь фешенеблю<sup>26</sup> будет в самый раз. Так он высказывается о венцах, под которыми венчали Пушкина и его жену: «Пушкину — этот хорош, а Гончаровой нужен картонный» (запись от 13.12.80). Ну, и остальное в подобном духе. Особенно это: «Стерва. Она косая была. Я вам докажу, что стерва» (запись от 31.12.72).

Такая близость чревата опасностями. Если даже это называется любовью, то последствия могут быть неожиданными. Вплоть до того, что обнаружишь себя не среди близких и понимающих, а среди далеких и раздраженных.

Как хорошо началась их дружба! Правда, один был чуть ли не актер, а другой вроде как публика. Он, этот другой, имел право восхищенно слушать. Допускались отдельные реплики и вопросы, но не в ущерб субординации.

Занявшись историей дуэли Пушкина, отец претендовал на роль если не первого, то равного. Или, по крайней мере, независимого. Идущего своим путем.

Бурсова это задевало. Хотя бы тем, что конкурент имел медицинское образование. Да и удачливость вызывала досаду. Все же только ему внук Дантеса Клод открыл архив.

Как тут не перейти в наступление? Правда, он сделал это настолько грубо, что классики на портретах должны были недоуменно пожать плечами.

А ведь недавно Борис Иванович плакал, узнав об анонимке, полученной Бушминым! Сейчас он сам кляузничал. Звонил в редакцию «Невы», грозил неприятностями. Лучше бы он отправил вызов на дуэль, а не вел себя как обманутый советский муж.

Казалось бы, любые отношения должны быть прекращены. Тем важнее запись от 05.04.88: «Смотрел пьесу Толстого Льва и вдруг остро почувствовал, как мне в эту секунду не хватает возможности позвонить Бурсову и спросить у него: „А Толстой, видимо, мучился, что не может сделать то, что мог Достоевский?“» Значит, несмотря ни на что, поговорить хотелось. Возможно даже, возникало желание все забыть и начать сначала.

Выходит, литература — это пространство страстей. Хорошо тому, кто успел пройти хотя бы часть пути. Ну а если ты начинаешь? Тогда готовься к разочарованиям.

В записи от 19.03.80 говорится о том, что, кроме людей, вступивших в Союз писателей, есть люди, которые, скорее всего, туда не попадут. Даже публиковаться им вряд ли позволят.

Об этом он думает после знакомства в Хибинах с молодыми поэтами. Каждый одарен, начитан, полон замыслов. Правда, все это лишь в пределах своего круга. Почитают друг другу что-то из нового — вот и вся литературная жизнь.

Теперь понимаете, что такое родиться не вовремя? Тем, чья юность пришлось на «оттепель», еще удалось проскользнуть. Сейчас вновь подморозило, и все форточки сразу закрылись.

С хибинской историей пересекается случай Бориса Голлера<sup>27</sup>. Он решил бросить работу и целиком посвятить себя литературе. В записи от 20.12.64 мы видим растерянного человека, который понимает, что без службы ему не прожить. Казалось бы, про-

<sup>26</sup> Фешенебль (устар.) — представитель светского общества (аналоги этого слова в пушкинские времена — «денди» и «петиметр»).

<sup>27</sup> Голлер Б. А. (род. 1931) — драматург, прозаик, историк литературы. В советские годы путь его пьес был трудным, но в случае постановки им сопутствовала большая удача — так пьесой «Сто братьев Бестужевых» в 1980 году открылся Ленинградский молодежный театр. С 90-х годов перестает заниматься драматургией и обращается к жанру исторической прозы.

щай, художник! Нет, все же это неистребимо — и об этом говорит сказанная напоследок эффектная фраза.

Есть драмы тектонического порядка. Сдвигаются какие-то пласты — и тут уже ничего не поделаешь. Приходится жить по новым правилам, стараясь при этом отстаться собой.

Такая сложность у старого украинского поэта Матвея Талалаевского<sup>28</sup>. Предположим, о годах, проведенных в тюрьме, можно не думать, а как забыть о смерти или эмиграции читателей? Впрочем, он не сдаётся и продолжает писать на идиш. Ведь если этот язык существует, то благодаря таким, как он (запись от 09.07.74).

Есть и позитивные примеры. Порой автор входит в литературу в нужное время. Начиналась перестройка, а он тут как тут. Вы искали что-то незамысленное? Так все уже написано. Получите целую папку пьес.

Вообще он, драматург Александр Галин<sup>29</sup>, человек веселый. Постоянно что-то изображает. Вряд ли имелся в виду кто-то конкретно, но контраст прочитывался. Те, из прошлого, были самодовольны и чопорны, а его тянуло к игре (запись от 11.08.86).

Ну, а это Григорий Канович. Тут удивительное сочетание рассказанного и написанного — все истории, которыми он делится, начинаются или завершаются в его прозе. Значит, не ушли в прошлое странствующие рассказчики, которых так много было в черте оседлости. По крайней мере, один точно остался (записи от 26.03.89, 31.03.89).

Вглядываешься в мозаику, сложившуюся в результате нескольких десятилетий жизни в литературе, и видишь логику. Да что логику — сюжет. Причем со всеми присущими ему элементами: завязкой, кульминацией и развязкой.

С другой стороны, как без сюжета? Вместе с советской властью закончилось то, что ее отличало. В том числе и писательские союзы. Нет, не то чтобы ничего не осталось, но все выглядело скромно. Собеседники были, а кураж куда-то пропал.

Как во всяком обрушении, тут существовала своя последовательность. Сперва хотелось чего-то нового, но не очень верилось. Жизнь долго текла в одном русле, а вдруг перемены. Они воспринимались как нарушение равновесия.

Удивительно, непонятно... И опубликованный Солженицын казался сном. И цены в магазинах выглядели нереально — они состояли из стольких цифр, что напоминали телефонный номер.

Отец радовался — и пугался. А вдруг «революцию сверху» свернут так же неожиданно, как начали? Кто-то решит, что достаточно, и ситуация вернется на круги своя.

Пока же он фиксирует все, что происходит вокруг. «Дни страшные. Убили Старовойтову<sup>30</sup>, человека большого ума и честности» (запись от 26.11.98). Да и прочие новости столь же печальные. Вскоре подойдет его очередь на томограмму — как ему не хотелось узнать свой диагноз, но тянуть дальше было нельзя.

<sup>28</sup> Талалаевский М. А. (1908–1978) — поэт и прозаик, писавший на идиш, русском и украинском. Во время войны был сотрудником фронтовой газеты, прошел путь от Сталинграда до Берлина. Одна из его пьес поставлена киевским ГОСЕТом (1947). В 1951 году арестован, осужден на десять лет, но освобожден после смерти Сталина. В последние годы жизни, кроме стихов и пьес, написал два романа.

<sup>29</sup> Галин А. М. (род. 1947) — драматург, сценарист, прозаик, режиссер театра и кино. Лидер — вместе с Л. Петрушевской и А. Соколовой — «новой волны» в российской драматургии, один из самых востребованных современных авторов для театра. В его пьесах «Ретро», «Восточная трибуна», «Звезды на утреннем небе» и др. с удовольствием играли — и по-новому раскрылись — такие актеры, как О. Табаков, В. Гафт, И. Чурикова, И. Кваша, М. Ефремов. Побил своеобразный рекорд постановок в одном театре — семь его пьес шли или идут на сцене «Современника».

<sup>30</sup> Старовойтова Г. В. (1946–1998) — политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений. Была убита при не до конца выясненных до сих пор обстоятельствах.

Именно об этом запись от 07.01.99. Отец пожаловался дневнику — и собрался на томографию. Он закрыл дверь и вышел на лестничную площадку. Тут ему стало настолько плохо, что пришлось вернуться домой.

Этот текст оказался последним. Затем следуют пятьдесят пустых страниц. Они сообщают о том, что завершающие шесть лет его жизни были заполнены медицинскими процедурами, но дневник больше не открывался.

Он так не успел разобраться: действительно ли перестройка что-то изменила или, как смерч, налетела и отступила? Все это пришлось осознать нам.

Как сказано, последние страницы для автора самые непростые. И шаткое положение перестройки, и собственное нетвердое положение... К этим волнениям прибавляется еще одно. Это уже не его, а наше. Ведь мы читаем не только о том, о чем тут написано, но и о том, что еще не скоро произойдет.

**Александр ЛАСКИН**

**5.8.61.** Магид<sup>31</sup>: «Приехали мы снимать фильм „Танкисты“<sup>32</sup>. Поселились в гостинице Военного округа. В коридоре висел портрет Якира. Утром выходим — портрета нет (деталь 37 года)»<sup>33</sup>.

...Репрессировали человека за покушение на Ахримовича<sup>34</sup>. Он сознался во всем, даже в том, что брал взятки, только куда деньги дел припомнить не мог. В тюрьме, в камере, где он оказался, сидел Ахримович.

...На вечере веселятся. Шутки. Выступает критик.

— Тост.

— Критикам хорошо, — говорит писатель, который много лет сидел в тюрьме.

— А вы, гражданин бывший заключенный, стойте там. — шутит критик.

Гробовая тишина. Неловкость. Бледный писатель.

Раны могут стать пустяковыми только для других.

...— Попыток не было. К чему пытки? Ну зачихнешь пару иголок под ноготь — и все. А так — зачем пытки?

**30.11.62.** Вчера вечером вдруг сорвались и пошли к Магидам. Интересный человек Михаил Соломонович. Рассказывал, что на днях приезжал Рошаль<sup>35</sup> и рассказывал о встрече с космонавтом Николаевым<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> Магид М. С. (1910–1965) — с 1938 года оператор-постановщик студии «Ленфильм» (фильмы «Танкисты» (1939), «Маскарад» (1941), «Академик Иван Павлов» (1949), «Дело Румянцева» (1955), «Перед судом истории» (1965). Работал с режиссерами Г. Л. Рошалем, И. Е. Хейфецем, Ф. М. Эрмлером, С. А. Герасимовым в основном в соавторстве с оператором Л. Е. Сокольским.

<sup>32</sup> «Танкисты» — черно-белый полнометражный фильм (1939), режиссеры — З. Драпкин, Р. Майман, в главных ролях — А. Кулаков, В. Чобур, В. Меркурьев. Кроме Магида, на картине был еще один оператор — А. Сигаев.

<sup>33</sup> И. Э. Якир (1896–1937) — военачальник времен Гражданской войны, командарм 1-го ранга (1935) — до мая 1937 года командовал Киевским военным округом, затем был переведен в Ленинград, но уже через две недели арестован. Как видно, рассказ Магида о съемках «Танкистов» в Киеве относится к этому моменту — незадолго до и сразу после ареста Якира.

<sup>34</sup> Скорее всего, речь о М. Л. Рухимовиче, ставшем в декабре 1936 года народным комиссаром оборонной промышленности СССР, а в октябре 1937 года смещенном с должности и арестованном. В июле 1938 года расстрелян.

<sup>35</sup> Рошаль Г. Л. (1899–1983) — режиссер театра и кино, сценарист, педагог. Жил в Петербурге и Москве. Магид работал с Рошалем на фильмах «Академик Иван Павлов» (1949), «Мусоргский» (1952), «Римский-Корсаков» (1953).

<sup>36</sup> Николаев А. Г. (1929–2004) — космонавт, в этой записи речь идет о его первом — одиночном — полете, совершенном в августе 1962 года.

Когда у Николаева спросили, какое для него было самое сильное ощущение, он сказал, что в момент отрыва от земли — ты не знаешь, выйдешь ли на орбиту или улетишь в безвоздушное пространство и живой станешь частицей мироздания. Еще смена дня и ночи; они происходят каждые 40 минут, а, если увеличить скорость, то ведь это может бесконечно уменьшаться, и тогда быстрая смена черного и белого даст один серый цвет.

**21.4.63.** Живу на даче в Комарово уже три недели. Неоднократно стоило бы записать кое-что в дневник. Немного ближе узнал Смоктуновского<sup>37</sup>: спокойный, демократичный, показался мне очень неглупым и никакого позирования — даже наоборот, хвалишь его, а он спокойно это принимает, словно не о нем. Мечтает поставить Беля<sup>38</sup>, а еще лучше — современный фильм, да только нет его, нет сценария.

Удивительно приятная у него жена<sup>39</sup> — любящая, страдающая. Слава Кеши (Иннокентия) привела в дом поклонниц. Они наглы, требовательны, иногда даже оскорбляют. Одна прислала ей условия: «Как жить с великим артистом» (как вести себя и одеваться). Для Саломеи это невозможно понять. Она знала его — неудачника, переезжающего из театра в театр. Его никто не понимал, кроме нее.

Она не выгоняет этих баб, так как боится выглядеть сварливой и страдает от этого. Вчера увидела Даню и Гулю<sup>40</sup> около магазина и в середине разговора вдруг удивленно спросила: «А вы всегда вместе ходите в магазин?»

**5.7.63.** К сожалению, слишком редко пишу в дневник. Уплывают какие-то интересные наблюдения. Снова видел Смоктуновского. Умный и большой актер, но интересно, что не блещет в импровизации. Я видел артистов, которые умеют сразу «играть», чтобы они не рассказывали — анекдот или байку. У Смоктуновского импровизация не получается. Он работает над своим героем, а однажды сказал о «Девяти днях одного года», что мог бы сыграть иначе: «Я знаю, как это сделать. Я умею это делать».

**7.6.64.** Рудольф Керер сидел — чтобы не разучиться играть, играл на доске, на которой были нарисованы клавиши. Вышел из тюрьмы старым. Потребовал, чтобы его допустили играть на конкурсе молодых — двадцать лет у него были потеряны<sup>41</sup>.

**10.9.64.** Сейчас несколько часов ходил по Ленинграду с Андреем Битовым. Ему 27 лет — сложившийся, взрослый человек. Я где-то младше его, хотя уже сед и лыс, и на меня смотрят с удивлением, когда я называю свой возраст.

<sup>37</sup> Смоктуновский И. М. (1925–1994) — актер, вошел в историю театра и кино ролями Мышкина («Идиот», БДТ, 1957), Гамлета («Ленфильм», 1964), царя Федора Иоанновича (Малый театр, 1973) и многими другими.

<sup>38</sup> О какой книге идет речь, неизвестно. Интересно внимание Смоктуновского, фронтовика, попавшего в плен к немцам, к творчеству Бёлля.

<sup>39</sup> Кушнир С. М. (1925–2016) — театральная художница по костюмам, в 1955 году вышла замуж за И. М. Смоктуновского, в этом браке у них родились двое детей.

<sup>40</sup> Зельдович Д. Р. (род. 1932) и Волынкина Г. Ю. (род. 1931) — врачи, супруги, близкие друзья отца. С 2002 года живут в Ганновере.

<sup>41</sup> Хотя эта запись очень далека от биографии Р. Р. Керера, она свидетельствует о мифологии эпохи «оттепели». Ходили слухи, что М. В. Юдина (в реальности счастливо избежавшая ареста) в тюрьме играла на клавиатуре, нарисованной на подоконнике. Впрочем, почва для таких разговоров существовала — так, к примеру, ученик Г. Г. Нейгауза пианист В. В. Топилин в течение четырех лет неволи действительно репетировал на нарисованной клавиатуре.

Андрей интересный писатель. И мне понравилось, как он сказал, что «боятся славы, которая ему внезапно выпала».

— Я же понимаю, что я какая-то пылинка... и всего этого могло не быть.

— Но есть и какая-то закономерность.

— Да, — сказал он, — есть... возможно... Интересно, что я пишу пятую книгу, а издаю вторую. В этом тоже какое-то незримое накопление. Когда я издал первую, то три книги у меня было.

— Как ты работаешь?

— Обдумываю все подробно. Около полугода. Но когда начинаю писать, то почти всегда отступаю от замысла — тогда вещь получается.

У Битова выходит в «Юности» вещь в 11 номере<sup>42</sup>. Из ребят пишущих ему повезло сейчас (статьи в газетах не меньше Васьки<sup>43</sup>. Но с той разницей, что Васька пишет и все печатает, а Битов много написал, но мало опубликовал).

**20.12.64.** Перед Москвой встретил Бориса Голлера. Усталый, нервный человек. Час говорил о себе и даже не поинтересовался мной. Это не обида. Нет. Он был убит и опустошен.

А все было так. Человек ушел с работы. Стал свободным художником. И сразу возник страх остаться без денег... Он стал гоняться за любой халтурой, хвататься за любой заказ, к которому не лежала душа, и «кончился», по-человечески кончился...

Теперь он снова пошел на работу.

Я его поздравил. Это подвиг.

Просто уйти, но вернуться нужно мужество — или отчаяние.

Уходя на работу, прощаясь, он сказал мне:

— Если я что-либо сделаю в жизни, то это будет не путем тех компромиссов, на которые я шел, а путем тех компромиссов, на которые я не шел.

Это урок для меня. Должен ли я выдержать работу или нет? Должен! Иначе я не смогу писать.

**12.8.65.** Редко пишу, а стоило бы. Умер Михаил Соломонович Магид. Незадолго до смерти он сказал: «Я не люблю, когда меня принимают за однозначное число». Да, он был многозначным числом, очень противоречивым и интересным. На похоронах люди находили нужные слова. Витька Соколов<sup>44</sup> — режиссер сказал: «Он был философом, а мы считали его ворчуном». Да, это факт. Сколько раз я обрывал его философствование, его любовь обмозговать. А самая большая загадка — это его соавторство с Л. Сокольским<sup>45</sup>. Непонятно. 15 лет он делил с ним славу, деньги, звание первого оператора, а после смерти выяснилось — Сокольский ни разу не посмотрел в глазок кинокамеры, он только ставил свет. Видно, трудно Магиду было. Радостей маловато. Подозрение на опухоль мозга, отъезд жены перед смертью. Это ужасно. А, главное, он был очень молод, очень — это, пожалуй, самое сильное в нем.

<sup>42</sup> В этом номере была опубликована повесть А. Г. Битова «Такое трудное детство».

<sup>43</sup> Васька — приятель и однокурсник отца В. П. Аксенов (см.: Ласкин С. «Да, старик, тебе повезло как надо...». В. Аксенов в дневниках 1956—1989 годов // Знамя, 2017, № 5).

<sup>44</sup> Соколов В. Ф. (1928—2015) — кинорежиссер, работал на студии «Ленфильм». Как видно, отец знал Соколова через В. Аксенова и М. Магида. Первый был сценаристом, а второй — оператором на картине Соколова «Когда разводятся мосты» (1962).

<sup>45</sup> Сокольский Л. Е. (1910—1970) — оператор-постановщик студии «Ленфильм» (с 1932 года), работал в основном в соавторстве с оператором М. С. Магидом.

**19.3.66.** 5 марта из Москвы привез Толя Найман<sup>46</sup> гроб, и сразу же в Никольском соборе отпевание. Пришли с Сашкой. Честно сказать, думал, что на него найдет стих, но этого не случилось. Интересно, где и когда появятся стихи об этом. Сколько нужно поэту, если он действительно поэт, чтобы осмыслить событие? Мне — иногда год, два... Смотрел с удивлением. Божественная литургия. Толпа народа и у меня страх, что вот-вот зашевелится масса и задавит его...<sup>47</sup> Особенно сильное впечатление на Сашку произвел крик: «Не смейте!», когда хотели закрывать гроб, а люди еще не попрощались с ней.

**7.5.66.** Вчера видел Фреда<sup>48</sup>. Он разговаривал с врачом своей больницы Бессером<sup>49</sup>. Тот лечил перед смертью Зоценко. Оказывается Мих. Мих. сказал:

— Я умру как Гоголь.

Зоценко в последние месяцы добивался пенсии. Отвергнутый, замкнутый. Из-за денег продал полдачи. Купил какой-то жлоб из его персонажей, развел кур, огородил забором, «забрал весь воздух»... Его окружали те люди, с которыми он боролся, их стало еще больше, и они смеялись, что победили. Перед смертью он был в депрессии. Возможно, это связано с соматикой<sup>50</sup>. Печень на четыре пальца, отеки на ногах. А когда отеки согнали, он весил 37 кг.

**16. 6. 66.** Умер режиссер Зон<sup>51</sup>, к которому когда-то я поступал в Театральный институт. За два года до его смерти умерла его жена. Он женился повторно на медсестре. Но дневник свой вел все время, обращаясь к ней как-то так: «Вот уж 360 дней я без тебя...»

**20.3.67.** В СП пил кофе с Грудининым<sup>52</sup> — есть такой писатель. Он рассказал, что после «Волшебника из Гель-Гью», раскритикованного всеми, увидел Борисова<sup>53</sup>, плачущего навзрыд на улице. Подошел:

— Леонид Ильич, что с вами?

— Молодой человек, — сказал тот. — У меня горе. Я вижу хорошую книгу и не могу ее купить. У меня нет денег.

Другой эпизод с Зоценко.

<sup>46</sup> Найман А. Г. (род. 1936) — поэт, переводчик, прозаик, с 1963 года до конца жизни А. А. Ахматовой — ее литературный секретарь и соавтор по переводам Д. Леопарди.

<sup>47</sup> Эти строки свидетельствуют о разнообразных волнениях отца — мне было одиннадцать лет, и я был вундеркинд, по крайней мере года четыре регулярно пишу стихи.

<sup>48</sup> Фред — Скаковский Ф. К. (род. 1932) — близкий друг отца, учился с ним на параллельном курсе, врач-фтизиатр, работал и жил в Сестрорецке под Ленинградом, сейчас живет в Аахене (Германия).

<sup>49</sup> Бессер В. Л. (1902—1984) — заведующий терапевтическим отделением Сестрорецкой больницы, врач в четвертом поколении, представитель старинной врачебной династии, насчитывающей около двухсот лет. Во время войны — личный врач маршала К. К. Рокоссовского.

<sup>50</sup> Соматическое заболевание — телесное заболевание, в противоположность психическому.

<sup>51</sup> Зон Б. В. (1998—1966) — актер, режиссер и педагог. С 1935-го по 1945 год руководил Ленинградским новым театром юного зрителя. С 1923 года занимался театральной педагогикой, профессор Ленинградского театрального института (1940). Среди его учеников — А. Б. Фрейндлих, З. М. Шарко, Л. А. Додин. Г. А. Товстоногов назвал Зона «лучшим в СССР театральным педагогом».

<sup>52</sup> Грудинин О. Г. (1926—1975) — прозаик, в литературу пришел с комсомольской работы, автор повестей о комсомольцах: «Комсомольский патруль» (М., 1958), «Группа специального назначения» (М., 1964) и др.

<sup>53</sup> Борисов Л. И. (1897—1972) — писатель, имевший явную склонность к романтическим преувеличениям — об этом свидетельствует его лучшая повесть «Волшебник из Гель-Гью» (1945). Как видно, Борисов чувствовал себя наследником ее главного героя — Александра Грина. Впрочем, в его жизни романтизма было мало: книги выходили редко и почти всегда подвергались критике.

В 54 году Грудинин напечатал свой первый рассказ и сидел в том же писательском кабаке. Входит человек, который подобострастно раскланивается со всеми. И этот человек ему неприятен.

Но отчего-то редактора с ним особенно вежливы.

И вдруг человек спросил: «Говорят, мою книгу собираются издавать?»

Редактора загалдели:

— Конечно!

— Это же хорошо!

Но главный редактор Троицкий сказал:

— Не надейтесь, Михаил Михайлович, — этого сейчас не будет. — Потом он засмеялся и припомнил какой-то старый, очень смешной рассказ Зощенко. И тогда Зощенко вдруг сделался надменно-гордым. И, прищурясь, сказал:

— Видите, Троицкий, сколько нужно было иметь желчи, чтобы и через 25 лет вы помнили написанное мною<sup>54</sup>.

**6.4.67.** Выступал Виктор Шкловский. Были очень интересные мысли.

Он сказал:

— Великое искусство обладает разностью. Должно быть колебание между высоким и низким. Дон Кихот — смешной и великий, поэтому это великое искусство.

О Толстом он сказал, что тот умер неразбитым. Это здорово! В русской литературе так повезло лишь очень великим. Возможно, этого боялся Маяковский. Он как-то сказал Шкловскому — если вы попали под автобус потому, что искали рифму, считайте, что вам повезло.

И потом было горестное признание, что такой человек ничего не смог сделать, перестроить мир, а он-то был невероятной силы.

О Блоке — у него лицо было темнее глаз.

О культе. Сказал, что я верю в силу прививок.

Потом о том, что у нас каждый солдат имеет свою теорию, и от этого никто не знает, как нас можно разбить. Мы обладаем удивительной способностью регенерировать.

О Ленинграде сказал:

— Я здесь родился и не могу от него отвыкнуть.

О Циолковском. Это был очень глухой человек. Как-то спросил:

— А вы умеете с ангелами разговаривать?

— А вы?

— Как же без этого изобретать.

**1.5.67.** ...Вчера были у Марины Коварской, дочери Ю. П. Германа<sup>55</sup>, а там познакомились с Володиным Александром Моисеевичем<sup>56</sup>, лучшим, пожалуй, современным

<sup>54</sup> Как видно, дело происходило в середине 50-х годов, через десять лет после «Постановления о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» опять возобновились разговоры о возможном издании Зощенко. Действительно, в 1956 году книга Зощенко «Избранные рассказы и повести. 1923–1956» вышла в издательстве «Советский писатель», а в 1958 году в издательстве «Художественная литература» была опубликована книга «Рассказы и фельетоны». Троицкий А. А. — главный редактор Ленинградского отделения издательства «Художественная литература», до этого назначения работал в цензуре.

<sup>55</sup> Коварская М. Н. (род. 1931) — дочь киноведа Н. А. Коварского и Т. А. Риттенберг. Вторым браком Т. А. Риттенберг была замужем за Ю. П. Германом, что и дало право отцу назвать М. Н. Коварскую дочерью писателя.

<sup>56</sup> Володин А. М. (1919–2001) — один из главных театральных писателей XX века, во многом определивший дальнейшее развитие жанра, — все драматурги следующего за ним поколения (от Л. Петрушевской до А. Галина) называют его своим учителем.

драматургом. Несколько был ошарашен. Он вроде меня — даже более застенчив, но потом за водкой разговорились.

И как хорошо! О творчестве! Об интуиции фактически. Нужно забыть о форме — писать как пишется и не жалеть ничего. А вот если подумаешь — ух, как бы я это выразил! Еще лучше или так — искусство становится засушенным, вялым, уходит эмоциональная линия...

Все, что есть в моем рассказе о Пушкине<sup>57</sup>, — об этом говорил Володин.

Жаловался на плохой сценарий. Как он переписывает сцены, как не любит свой материал. И Жанна Прохоренко<sup>58</sup> ему не нравится. Холодна. Плоха. Хотя тут же говорит о том, что на экране она совсем другая, и как все получается — не поймет. Может, и лучше на экране будет выглядеть.

А потом ужасно по-детски обрадовался — я рассказал о том, что когда в роддом приезжает иностранная делегация, то рожениц просят тише кричать.

И тут же сказал, что очень хочет что-то сделать для женщин, что-то важное. Это его цель! И я, я тоже так думаю, и рассказ «Мать» — это для женщин, мне кажется, важен. И кое-что в других рассказах тоже люблю о женщинах. О Натали, к примеру. Или в рассказе «Все утрясется» о Кларе — там тоже важное есть<sup>59</sup>.

Ушли в 2 часа ночи, и жалели, что его не дослушали, что-то он говорил потом.

#### **22.4. 68.** Видел Витьку Соснору<sup>60</sup>. Гуляли по Невскому. Мрачен. Агрессивен.

Написал письмо в ЦК. Я сказал:

— Не читал.

— Значит, прочтешь.

Потом добавил:

— Их удивило, что у чехов переворот совершили писатели. А ведь других переворотов не бывало. Всегда — писатели. Пусть плохие — хорошие. Но они. Даже у нас. Ленин, Плеханов — все были писателями.

**13.7. 68.** Вчерашний вечер — одна из самых интересных встреч за последние годы. В Доме писателя выступал Илья Самойлович Зильберштейн<sup>61</sup>, главный редактор «Лит. наследства».

Он только что вернулся из Франции, куда ездил по приглашению Арагона и Триоле<sup>62</sup>. За 3,5 месяца он без денег — а это не полагается туристу, даже без фотопленки и аппарата, собрал 15 чемоданов рукописей, картин, гравюр, лит. наследства. Он

<sup>57</sup> Имеется в виду рассказ «Стих», сначала опубликованный в еженедельнике «Неделя» а потом вошедший в книгу отца «Эта чертова музыка» (М., 1970).

<sup>58</sup> Ж. Т. Прохоренко (1940—2011) — актриса, сыграла роль Насти в фильме «Происшествие, которого никто не заметил» (1967), снятого А. М. Володиным по собственному сценарию.

<sup>59</sup> Отец называет свои лучшие рассказы, вошедшие в его книги: «Боль других» (М., 1967), «Эта чертова музыка» (М., 1970), «Голос» (СПб., 1990).

<sup>60</sup> Соснора В. А. (род. 1936) — поэт, прозаик, драматург. Не только эстетически, но и биографически (через дружбу с Н. А. Асеевым и Л. Ю. Брик) был связан с радикальными направлениями поэзии XX века.

<sup>61</sup> Зильберштейн И. С. (1905—1988) — литературовед, искусствовед, коллекционер. Доктор искусствоведения. В не очень подходящих для этого советских условиях продемонстрировал возможности частной инициативы: благодаря его энергии был осуществлен целый ряд культурных проектов. Основатель, редактор и составитель сборников «Литературное наследство» (98 томов, 1931—1988), основатель Музея личных коллекций (открыт в 1994 году).

<sup>62</sup> Л. Арагон (1897—1982) и Э. Триоле (1896—1970) — супружеская пара писателей, стремившаяся поддерживать хорошие отношения с Советским Союзом. Для этого каждый имел собственные причины: Арагон был коммунистом, а Триоле — уроженкой Москвы, младшей сестрой Л. Ю. Брик.

встречался с князем Юсуповым (у него 10 работ Серова, будущий том Литнаследства), с внуками и правнуками Пушкина, Мартынова, Бакунина, племянниками царя — все люди фантастические. Он получил архивы Аверченко<sup>63</sup>, Дон Аминадо<sup>64</sup> (считает его более талантливым, чем Аверченко), письма Толстого у одного из его секретарей (20 штук), письма Тургенева...

Интересен его рассказ о Зиновии Алексеевиче Пешкове, крестном Горького, его приемном сыне и родном брате Якова Михайловича Свердлова.

Коротко его фантастическая биография. Родился в Нижнем Новгороде у многодетного еврея. В 15 лет был арестован за то, что расклеивал листовки. Познакомился в тюрьме с Горьким, который его крестил.

Не желая служить в России, бежал в Францию, там вступает в Иностранную легион. Прославляется. Герой. Становится послом у Временного правительства, у Колчака, у Деникина. Затем возвращается во Францию. В 41 году у Де Голля возглавлял борьбу с армией Ромеля. Посол в Китае, посол в Японии... На могиле: «Легионер З. А. Пешков». Дома иконы.

Зильберштейн о Шагале.

— Посмотрите, куда залез витебский мальчик! — это Шагал показывал ему потолок Гранд Опера.

В другой раз, когда З. сказал ему:

— А если бы вы на улице увидели такую же женщину, как вы нарисовали, то как бы вы прореагировали?

Он ответил:

— Илья Самойлович, ну мы-то с вами знаем, что такое женщина.

О Пикассо Ш. сказал:

— Он обманывает публику.

**24. 9. 68.** О Плоткине<sup>65</sup> со слов Долининой<sup>66</sup> Зоценко сказал:

— Вчера видел сон. Въезжает Гитович<sup>67</sup> на коне с головой Плоткина в руках.

**12.7.70.** Последние дни дружу с Соломоном Владимировичем Смоляницким<sup>68</sup>, завотделом критики «Лит. газеты».

<sup>63</sup> Аверченко А. Т. (1880—1925) — один из самых любимых читателями писателей начала XX века, сатирик, драматург, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». С 1920 года — в эмиграции в Чехии.

<sup>64</sup> Дон Аминадо (настоящее имя А. П. Шполянский) (1888—1957) — сатирик, мемуарист, адвокат. С 1920 года — в Париже. Делил с Аверченко и Тэффи место «короля фельетона» в послереволюционной эмиграции.

<sup>65</sup> Плоткин Л. А. (1905—1978) — литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор ЛГУ, автор многих книг. По свидетельству вдовы поэта и переводчика А. И. Гитовича С. С. Гитович, А. А. Ахматова, проходя мимо дачи Плоткина в Комарово, сказала: «О, этот фундамент замешен и на моих каплях крови». Сам же Плоткин говорил на одной из лекций в ЛГУ: «В конце сороковых годов Ахматова и Зоценко подвергались критике. Немалую роль в этом сыграл и я».

<sup>66</sup> Долинина Н. Г. (1928—1979) — писатель, драматург, одна из лучших в Ленинграде учителей литературы. После вынужденного ухода из школы в 1965 году продолжала деятельность учителя-словесника, но через творчество: написала книги для подростков о «Евгении Онегине» (1968), «Герое нашего времени» (1970), «Войне и мире» (1978). Пьеса Долининой «Они и мы» была поставлена А. В. Эфросом в Центральном детском театре (1964).

<sup>67</sup> Гитович А. И. (1909—1966) — поэт, переводчик китайской и корейской литературы. Одно время Гитович с женой делили комаровскую литфондовскую дачу — «будку» — с А. А. Ахматовой.

<sup>68</sup> Смоляницкий С. В. (1921—1999) — прозаик, автор многих повестей и романов. Биографию писателя-фронтовика несколько омрачает конъюнктурная книга о первом секретаре Союза писателей СССР Г. М. Маркове «На земле отцов» (М., 1978).

Он как-то сказал:

— Александру Исаевичу<sup>69</sup> хочется видно пострадать. Как и Толстой, когда уходил из дома, хотел «пострадать немного».

Мысль, подозреваю, не его, но очень русская.

...А Кочетова, говорят, издали в Минске<sup>70</sup>. Вот дела! Сколько было разговоров.

**10.12.70.** Бурсов сказал:

— После третьей книги о Достоевском<sup>71</sup> буду писать о Гоголе<sup>72</sup>. И опять через Достоевского.

Болезнь Гоголя была болезнью духа. Открыв мир, он испугался его, бросился описывать его при помощи идеи, и увидел, что мир в идею не вместить. Вторая часть «Мертвых душ» — идея. А с Достоевским было то же самое, но он не испугался бесконечности, а ее зафиксировал и победил.

**24.1.71.** Пришел от Бурсова. Никогда не хватает духа записать все, о чем мы говорим. А говорим о литературе, о Гоголе и Достоевском постоянно. Он, Бурсов, полон этим, понимает их как никто.

Собирается писать третью книгу, а живет еще разговорами о второй. Удивительная незащищенность. Позвонил акад. Лихачев. Что-то бормотал — мол, конца нет, главное нужно бы назвать — это вывело Бурсова из себя, он расстроился как ребенок, покраснел...

Все, что говорят о нем — кто что! — становится предметом его волнений. И это не мелочность, а все та же незащищенность...

О своей новой книге. Глава «Мировоззрение Достоевского». Он, Ф. М., был в одном круге проблем всю жизнь... Было в России три писателя со своим мировоззрением — Гоголь, Толстой, Достоевский. Первый хотел исправить мир и погиб, видя невозможность этого... Толстой занимался самоусовершенствованием и на этом свихнулся. Он даже стал сомневаться в необходимости творчества. Достоевский был полифоничен — един во всех лицах. Даже Мышкин — он. В каждом герое — он и, в то же время, он старался не сводить свою мысль о человеке к прагматизму, к практическому какому-то результату...

Достоевский — носитель идеи. Это часть мысли Бахтина<sup>73</sup>, но... Бурсов связал ее с личностью писателя.

О Пушкине Бурсов сказал, что он еще не разгадан. «Если Пушкин такой оптимист, почему он всю жизнь — еще в 16 лет! — говорил о смерти?»

**25.3.71.** Звонил Данька Зельдович... Он был с Ушиным<sup>74</sup> в гостях у Смоктуновского... Ушин даже с дочкой. Ушин сказал:

<sup>69</sup> А. И. Солженицыну.

<sup>70</sup> Речь о книге В. А. Кочетова «Чего же ты хочешь?», чья публикация в журнале «Октябрь» (1969, № 10–11) вызвала скандал (включающий и письма протеста). Во избежание еще более шумной реакции книгу решено было издать не в Москве, а в провинциальном издательстве.

<sup>71</sup> Имеется в виду третья часть книги «Личность Достоевского» (Л., 1974).

<sup>72</sup> Книги о Гоголе Бурсов не написал.

<sup>73</sup> Впервые об «идеологическом романе» Достоевского написал не М. М. Бахтин, а Б. М. Энгельгардт (см.: Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. — М.; Л., 1924).

<sup>74</sup> Ушин А. А. (1927–2005) — художник, стал известен в 60-е годы гравюрами на темы Достоевского и Есенина. В начале 60-х годов семьи Смоктуновских и Ушиных снимали дачу на 2-й Дачной улице, 39 в Комарово. Смоктуновские занимали нижний этаж, а Ушины — верхний.

— Вот сидим с гениальным артистом.

См. возразил.

— У каждого это есть, но только или не выявлено, или закрыто злом. Зло, недоброжелательство — вот самое страшное. Я начинаю коллекционировать добрых людей.

...Очень, очень тепло относится к своей жене. Говорит, что она много раз останавливала его от неверных поступков и, когда он не слушался, то потом жалел.

Я думал, что есть женщины, к ним относится Саломея<sup>75</sup>, у которых при самом обычном уме, есть талант добра и порядочности.

Интересно и другое: углубленный и мудрый Смоктун одинок... Сказал в интервью: «Люблю сидеть у костра, сидеть, смотреть на огонь и фантазировать. Разговаривать сам с собой».

Я видел это. Он разжигал костер в нашем лесу, и, когда Лена кричала «Смоктунский!», он сжимался, пятился от нее. Такое веселье ему было не нужно.

...Был у Бурсова 21.3. Говорили о литературе.

Блока Бурсов не очень любит. Ахматова? Он считает ее, может, и меньшей по таланту, но рафинированной. У нее нет цыганщины, нет случайного. Все цельно.

О Пушкине сказал: вот писатель, который накрыл всех. Поэтому исчезли другие. Даже Баратынский.

...Потом Бурсов читал вступление к третьей книге о Достоевском.

Писатель, обнаруживая пустоту, несказанное, не может ее не заполнить.

Устал Б. страшно, ослаб, низкое давление, переутомлен Достоевским. А его торопят, торопят, требуют новых рукописей...

**20.6.71.** Бурсов полон, как всегда, планов, пишет стремительно третью книгу, черт знает как вдохновен. Все поворачивается к Достоевскому, о Достоевском.

Сегодня шли вместе с пляжа... и он жалел, что всего не скажешь.

— Вот — говорил он, — Дост. очень высоко ценил русскую духовность. Ему говорят: я знаю, что живу нечестно. Видите, — отвечал Д. — а в Европе и не знают о нечестности.

— Д. не любил людей, которые сразу «натягивают костюм» на идею. Он уважал Белинского, но боялся «костюма».

**23.6.71.** Вчера три часа ходил по берегу залива с Бурсовым, говорили о Достоевском.

— Гений? Что дано гению? Выразил ли он себя? Раскрылся ли?

К сожалению, не было четкого разговора. Говорили об обостренном зрении Достоевского. О его «цветовом видении». Я пересказал рассказ о мальчике, который хочу написать<sup>76</sup>. Это понравилось.

Потом говорили о болезнях гениальных людей, без которых мир тускнеет. Кстати, думаю, что болезни гениальных политиков чреватые катастрофой.

Бурсов все время в поисках, в работе, может говорить лишь об одном. Вот все сделано, а еще не дописано 2 стр. об этом, что-то потерял, «ушло в песок» — сожаление об упущенном... Это настоящий историк литературы.

**26.1.72.** Был вечер памяти Пастернака. Сын его и внук<sup>77</sup> — с его же лицом оба. Удивительный восьмилетний мальчик, ощущение ангела с лицом Б. Л.

<sup>75</sup> Саломея — Кушнир С. М. (см. примечание 39).

<sup>76</sup> Речь о сцене, устроенной Смоктуну нашей родственницей во время празднования на даче в Комарово выхода отцовской повести в журнале «Юность».

<sup>77</sup> Пастернак Е. Б. (1923—2012) — литературовед, военный инженер, старший сын Б. Л. Пастернака от первого брака; Пастернак Б. Е. (род. 1961) — архитектор.

Из доклада Дара<sup>78</sup>:

«Ему перестали нравиться его стихи до 40 г. Мир так прост и ясен, что не нуждается в метафоре... Рильке натолкнул его на мысль, что разница между романтизмом и реализмом только в концентрации реализма».

**31.12.72.** Бурсов сказал: «Спасибо за все, а, главное, за ваше человеческое сердце».

Опять о Пушкине. Он говорит:

— Прошу у Бога 10 лет. А вы даете?

— Даю, с радостью.

Он ругал Натали. Говорит:

— Стерва. Она косая была. Я вам докажу, что стерва.

А я-то думал, она — ангел.

**6.1.72.** Сегодня говорил с Бурсовым до тех пор, пока его не оттащила от телефона К. Абр.<sup>79</sup>

Как только заговорил о творчестве — все стало на место, головная боль ушла.

Он нашел у Эйхенбаума<sup>80</sup> заметку в газете о том, что «Евгений Онегин» — это рама. И Пушкин, мол, доказал еще раз, что остроумен, что он — поэт мелочей, силен в эпиграммах и пародиях. Что роман можно продолжать до бесконечности.

А Пушкин несколько раз брался. «Е. О.» был для него всем, даже дневником, и он ничего не мог сделать.

Как это точно. В вещи заложен объем. Сколько я не бьюсь над романом, а он все еще в прежнем, неменяющемся объеме. Только графоман может увеличивать или уменьшать.

Потом Б. сказал:

— Я понял — отчего Пушкин не мог стать «властителем дум». Он — антидогматический писатель. Толстой, Достоевский — люди жесткой схемы, гении, но рабы своей гениальности. А людей может покорить лишь концепция, схема.

— Пушкин не любил Н. Н. Он мог воспламениться, а потом вспоминать о любви. Он о любви пишет «со временем» — как о воспоминании.

**20.8.72.** Живем в Доме творчества. Рядом Федор Абрамов — прямолинейный «классик», — так, по крайней мере, думает он сам. Невежда, путаник, максималист — странные оценки, безвкусные крайности....

— Ленинград — это Ваганьковское кладбище. Мертвый город, — говорит он, подразумеваемая отсутствие культуры. — Вот вы для чего пишете? Хотите перевернуть мир? Не знаете? Тогда — что же? Для денег?

— Мне интересно то, что я делаю.

— А вот это уже лучше.

....Сказал, что людей мало в деревне. К фермерству все приходят. Нужно какое-то время — и придут. (Столыпинские реформы — еще бы 10 лет, и никакой революции не было бы).

<sup>78</sup> Дар Д. Я. (1910—1980) — писатель. Составлял контраст со своей женой В. Ф. Пановой — если она тяготела к официальному и дозволенному, то он предпочитал компании «подпольных гениев». Некоторые из них посещали руководимое им ЛИТО при ДК Профтехобразования. С 1977 года — в Иерусалиме.

<sup>79</sup> Бурсова К. А. — жена Б. И. Бурсова.

<sup>80</sup> Эйхенбаум Б. М. (1886—1959) — литературовед, один из лидеров «формальной школы», толстовед, текстолог. Из работ Эйхенбаума о Пушкине можно назвать его первую печатную работу «Пушкин-поэт и бунт 1825 года» (1907).

О Бурсове: купил Панкова<sup>81</sup> за 300 рублей — это бессовестно.

— Но цену назначал не он.

Забурчал зло. Не любит Б. И.

**12.2.73.** Бурсов сказал:

— Над Пушкиным труднее работать, чем над Достоевским. Д. меня интересовал как писатель. Пушкин не только писатель, тут и проблема русского государства.

**9.7.74.** Сегодня Талалаевский утром читал мне свои стихи в переводах на украинский. Грустно. Стоит человек в конце жизни, за плечами страшная война, тюрьма в 51—54 гг., расстрел еврейских писателей... И через все это — какая-то обреченность. Сказал, что стоит на могиле своей культуры. И такая за всем этим доброта, чистота.

Украинская байка о том, как Сафронов<sup>82</sup> купил за границей пишущую машинку с еврейским шрифтом, перелил на русский, а она пишет в другую сторону.

«Очко» по справочнику ССП. Называется страница, затем строчка и отсчитывается 21 фамилия. Если играющий называет хоть одно произведение, то получает приз.

**26.7.74.** ...Очень жаль уезжающего Абрамова — самобытный, умный человек. Но нелегкий, тяжелый точнее, а иногда — хам. У нас сложились забавно-доброжелательные с его стороны отношения... А о Сашке он сказал, что таких детей писателей он не видел. За весь срок он не произнес ни одного слова.

**21.8.74.** Л. Пантелеев<sup>83</sup> не говорит, о чем он пишет даже своей семье. «Он всегда откладывает на несколько месяцев», — говорит его жена, Элико, Елена Семеновна<sup>84</sup>, очень светская, но несколько глуповатая дама, которую он любит, но не очень с ней считается — понимает цену. «Мы читаем, когда уже напечатано».

**6.9.75.** Дубулты — первый раз — удивительное место. Кайсын Кулиев<sup>85</sup>, человек поразительной доброты, острого ума, прекрасный поэт.

Лежали на песке, говорили о литературе и жизни. У Кайсына много писем Пастернака. «Взрывной поэт», как он о нем говорит. «Если бы я не стеснялся его похвалы, я бы публиковал эти письма. А там только о «Фаусте» столько сказано!»

Пили за Кайсына как за «полное совпадение человека и поэзии».

**13.11.75.** Сегодня на секретариате чествовали Бурсова... Абрамова слышал впервые — он говорил о Бурсове как о большом писателе, мирового масштаба, говорящего «на ты» с Толстым, Достоевским, Пушкиным, — он познает через них себя.

<sup>81</sup> Панков К. Л. (1910—1942) — ненецкий художник, создатель «северного изобразительного искусства».

<sup>82</sup> Сафронов А. В. (1911—1990) — писатель, поэт, драматург, в 1953—1986 годах — главный редактор «Огонька». Был известен как сталинист и антисемит, что и проявилось в деятельности руководимого им журнала.

<sup>83</sup> Пантелеев Л. И. (1908—1987) — писатель, в ранние годы прошел через несколько детских колоний, в том числе через Школу имени Достоевского, о чем впоследствии написал (вместе с воспитанником школы Г. Г. Белых) повесть «Республика ШКИД» (1927). О своем опыте религиозной жизни рассказал в повести 70-х годов «Верую!», которую завещал опубликовать через три года после своей смерти.

<sup>84</sup> Кашия Э. С. (1914—1983) — жена Л. И. Пантелеева, в первом браке — жена блокаведа В. Н. Орлова.

<sup>85</sup> Кулиев К. Ш. (1917—1985) — поэт и прозаик. В апреле 1944 года, выписавшись из госпиталя после ранения, добровольно отправляется в Среднюю Азию, куда были депортированы балкарцы. До 1956 года жил в Киргизии без права издавать собственные произведения. Б. Л. Пастернак в 1953 году писал Кулиеву: «Дорогой Кайсын... Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливы в любом положении, даже в горе».

А Гранин<sup>86</sup>, ухмыльнувшись, говорил о Б. И. как о человеке.

Нет того, кто бы сказал худо. И еще — все о писателе, никто о литературоведе. Б. создал свой жанр.

Сам же Б. И. заговорил о Пушкине, его «камеражах», сплетнях в его письмах. «Лучше не был, а молодым был». Б. мне по телефону говорил: «Но я не был молодым», а тут вдруг сказал, что молодым был и он.

И еще: «Я прожил жизнь, и это моя жизнь — я приносил пользу...»

И еще: «Говорят современность Пушкина, но, чтобы понять современников гения, нужно стать его современником».

**21.11.75.** Несколько дней назад был на приеме в американском консульстве, вернее — у консула дома. Жена, дочка — девочка пяти лет, в длинных платьях, бармен, красивый и ловкий. Разговор с американским евреем, воротилой книжного дела Теодором Солотаровым<sup>87</sup>.

Потом разговор с Федором Абрамовым. Огромное впечатление.

— В Америке есть лингвист Наум Хомский<sup>88</sup>. Он открыл генетический код языка — способности ребенка не использованы, и их можно довести до поразительных результатов.

Абрамов: «Я против мальчика в очках, с большой головой — я за сердце. Это мы упускаем».

И еще многое более интересное и значительное, чем то, что я пишу.

**1.9.76.** Бродили три часа с Бурсовым. Б. И. сказал: «После Пушкина литература что-то утратила. Все же Толстой и Достоевский во-многом литература, Пушкин — жизнь».

И еще о пути: у Дост. был путь, развитие общей идеи. «Преступление» развилось в «Карамазовых»... Толстой весь в пути. А Пушкин? Это непонятно и ему пока.

**10.2.77.** Вел вечер Льва Николаевича Гумилева<sup>89</sup> в Доме писателя. Разговаривал с ним по телефону. Говорил глупо, не зная, что он написал, чем занимается. Он сделал мне комплимент — наверное, язвительный — когда я сказал, что читал его книгу «Старобурятская живопись»<sup>90</sup>.

Невежеству моему нет конца — я, видимо, уже не исправлюсь.

Оказалось, что Гумилев не знает нашего Дома, никогда в нем не бывал.

**13.2.77.** Был вечер. Я сказал, что мы приветствуем Льва Николаевича не только как ученого, доктора исторических наук, автора 140 печатных трудов, но как сына двух выдающихся поэтов нашего времени.

<sup>86</sup> Гранин Д. А. (1919–2017) — писатель, один из центральных героев дневника (см.: Ласкин С. «Через себя не прыгнуть, но мечту о прыжке терять нельзя...». Д. Гранин в дневнике 1954–1993 годов // Особняк: Литературный альманах. — М., 2018).

<sup>87</sup> Солотаров Т. (1928–2008) — американский издатель, редактор и литературный критик. В 1967 году основал журнал «The New American Review». Называл книжный бизнес, которому отдал большую часть жизни, «литературно-промышленным комплексом».

<sup>88</sup> Хомский Н. (род. 1928) — американский лингвист и философ, автор книги «Синтаксические структуры» (1957), после выхода которой стали говорить о «хомскианской революции» в лингвистике.

<sup>89</sup> Гумилев Л. Н. (1912–1992) — археолог, востоковед, географ, этнолог, философ, автор «пассионарной теории этногенеза», с помощью которой пытался объяснить закономерности исторического процесса. Сын А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева.

<sup>90</sup> Опубликовано в кн.: Старобурятская живопись: Исторические сюжеты в иконографии Агинского Дацана. — М., 1975.

На следующий день П. Ойфа<sup>91</sup> пожаловался на меня в партком.

И еще: перед тем, как нам выйти на сцену, в кабинет директора вошел неизвестный мне человек.

— Лева, — сказал он.

— Я Вас не узнаю, — нерешительно сказал Л. Н.

— Но я Сережа.

— Сереженька... Боже мой, как ты изменился.

— Сколько лет прошло. Поговорить бы, встретиться. Ты водку-то пьешь?

— Пью.

— Мы с тобой больше чефирь пили.

**27.2.77.** Вчера вечер памяти Зощенко. Полный — битком — зал. Стоят в проходах, даже выглядывают из круглых верхних окон. Начальство боится манифестаций и всяческой крамолы. И все же Макогоненко<sup>92</sup> сказал о судьбе двух великих писателей — Зощенко и Гоголя, но у Гоголя судьба счастливее. У него был Пушкин и Белинский, хотя был и Булгарин. У Зощенко не было Белинского, а вот Булгарин был. Потом удивительно точно говорил Катаев<sup>93</sup>. Мягко, с украинским юмором.

**12.3.77.** Был круглый стол драматургов, куда пришли мы с Сашкой... Розов<sup>94</sup> говорил о крайностях. Борец за правду становится антиподом себе, убивает то, за что (за кого) он боролся. Гельман<sup>95</sup> говорил о другом — он считает, что главное, что мы все время врем. Нужно заставить об этом задуматься. Время таково, что стихи, написанные «на злобу дня», не теряют злободневности и завтра. И через двадцать лет. Быстротекущие вроде бы проблемы оказываются важнее вековечных. Дворецкий<sup>96</sup> — о Чехове. Это его писатель. Он пишет только о том, что тревожит, раздражает. Поэтому он публицист<sup>97</sup>.

<sup>91</sup> Ойфа П. Н. (1907—1987) — поэт, участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

<sup>92</sup> Макогоненко Г. П. (1912—1986) — литературовед, доктор филологических наук, специалист по русской литературе XVIII века, участник советско-финляндской войны и обороны Ленинграда, с 1949-го по 1962 год был женат на О. Ф. Берггольц.

<sup>93</sup> Катаев В. П. (1897—1986) — писатель, радикально менявшийся, но на всех этапах своей жизни сохранявший высокий уровень мастерства. Чуткость к переменам и умение им соответствовать многие современники объясняли цинизмом. Так неоднозначно оценивал его Зощенко. По свидетельству З. Б. Томашевской, в период после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» между ними состоялся такой диалог: «Миша, друг, не думай, я не боюсь! Ты меня не компрометируешь», — сказал Катаев. «Дурак, это ты меня не компрометируешь», — ответил Зощенко.

<sup>94</sup> Розов В. С. (1913—2004) — драматург, вместе с А. М. Володиным и А. В. Вампиловым в 70-е годы изменил лицо российской сцены, вернув ее к проблемам человеческих отношений. В этом смысле все трое продолжали насильственно прерванную «чеховскую линию».

<sup>95</sup> Гельман А. И. (род. 1933) — драматург, поэт, в 70—80-х годах открыл для русской сцены мир социальных отношений. Через его пьесы режиссеры О. Ефремов и Г. Товстоногов говорили о сегодняшнем дне. В последние годы отошел от драматургии и пишет стихи.

<sup>96</sup> Дворецкий И. М. (1919—1987) — драматург, в 1940 году получил срок за кражи, но восемь лет провел среди политических, что отражено в его пьесе «Колыма». Отсюда и его неприязнь к литературщине — однажды в разговоре со мной он определил творчество одного автора исторической прозы: «Библиотечная пыль». Автор пьес «Человек со стороны», «Ковалева из провинции», «Проводы» и др. Создал драматургическую мастерскую при ленинградском ВТО, которой руководил до конца жизни.

<sup>97</sup> Приведенные слова о Чехове характерны — Дворецкий пытался соединить психологизм и производственную драму. Поэтому лучше всего его пьесы получались у такого мастера психологического театра, как А. В. Эфрос.

**16.6.77.** Бурсов говорит только о Пушкине, о своей книге. Читает черновики и цитирует: «Египетские пирамиды — потрясение перед лицом вечности». Это я прилизительно, что-то не так... Главное — его реакция. Он говорит с восторгом, акая<sup>98</sup>, удивляясь.

**14.7.77.** Бывает Бурсов в Доме творчества. Говорим о Пушкине. Он считает, что для Пушкина никогда не существовало идеи самосовершенствования, как для Толстого, идеи самовыражения, как для Достоевского, только идея самопроявления, как для совершенной уже личности. Я согласен.

**19.1.78.** Вчера вечер Валентина Распутина<sup>99</sup>, самого знаменитого сейчас и удивительно талантливого писателя. Я виделся с ним в Иркутске — спокойный, предельно скромный человек. Он смутился, когда я сделал ему комплимент.

Вот кое-какие выдержки из его вчерашней беседы. Сначала растерянность — «я не говорящий писатель. Вот в Москву приедешь, там все говорят — и непонятно, чувствуешь себя дураком. Ленинград — город, где писателей меньше, больше чувствуется культурных традиций. Конечно, есть писатели, которые хорошо говорят и пишут — один как-то час рассказывал, как переводил мужичонку через улицу, у того жена рожала».

«Меня хвалят, но я понимаю — нужно быть глухим на эти слова лет до 50-ти».

«Мир, кажется, в движении. И мы вроде бы куда-то едем, спешим, говорим друг другу: „Я тогда-то то-то еще сделаю“. Все ждут своего взлетного часа, у кого-то он должен прийти к 30-ти, у кого-то позже. Но бывает и несколько „взлетных часов“ — таков Залыгин»<sup>100</sup>.

«Я живой писатель, лауреат Гос. премии. Мне так и сказала дама в Министерстве культуры: «А вдруг вы умрете — Шукшина и Вампилова мы упустили. Решили живому в этот раз дать».

«У нас нет общественного мнения. Но все же неудобно получается, так как есть мнение народное, а оно помнит, что Шукшин был не оценен».

«Членов СП много, а писателей мало».

И еще: «У нас литературу подменяет журналистика. Писатели куда-то едут, на БАМ, на стройки, а задача у писателя иная».

— Ваши пристрастия?

— Широкие. Назвать одни — значит не назвать другие. Достоевский, первое. Фолкнер. Маркес! Из наших — Абрамов, Белов, Астафьев, Битов. Битов — это очень интересно, я читал его «Пушкинский дом». Хотя от Битова я эмоционального впечатления не получаю, но воздействие его психологии очень сильно. Набоков? Жаль, что не издают. Будут. Но у него есть какие-то отрывы в языке, он забыл Россию. Люблю Быкова: «Его батальон», «Сотников».

— Как вы относитесь к сценическому воплощению своих книг?

— Пошел шквал предложений. Раньше не было, хотя эти вещи написаны 7–10 лет назад. Значит, это мода... Был, правда, случай. Режиссер Романов предложил напи-

<sup>98</sup> Б. И. Бурсов, уроженец деревни Новоселовка, до старости сохранял говор Воронежской области.

<sup>99</sup> Распутин В. Г. (1937–2015) — писатель, чья биография делится на две части: в первом периоде преимущество отдается художественной прозе («Деньги для Марии», «Прощальный срок» и др.), а во втором — публицистике и общественной деятельности. Соответственно меняется мировоззрение: от сложности и психологизма — к простым решениям и ответам.

<sup>100</sup> Скорее всего, Распутин говорит о двух вершинных произведениях С. П. Залыгина — романах «На Иртыше» (1964) и «Соленая пядь» (1967).

сать заявку на «Деньги для Марии». Послали в Министерство, а там поглядели: «Режиссер Романов, сценарист Распутин» — и закрыли.

Но, главное, что проза есть проза. И возникает ощущение, что ты прозу свою предал и продал. Инсценировка — кровосмешение жанров, большие происходят при этом потери.

Я хочу написать пьесу, но проза пусть прозой и останется.

— Вы говорили где-то, что пишете сейчас о любви.

— Каждый прозаик пишет о любви. Обязан написать о любви. Хотя бы одну книгу. Роман, повесть. Это долг прозаика. Почему? Для меня главное в литературе — эмоция. Беда нашей литературы — холодность, спокойствие, неискренность. А если книга оставляет читателя без эмоций — она не достигает цели.

О любви книг почти нет. Я, правда, не собираюсь заполнять пробел, у меня может не получиться.

И еще — мы больше несчастливы. И, когда видим счастливого человека, это ненормальным кажется. Впрочем, обогащает душу больше несчастье, да и со временем то, что казалось несчастьем, кажется счастьем, и наоборот...

— Что вы скажете о Хозяине в «Матере»?

— Существует хозяин на каждой земле, особенно на острове. Это совесть, которая не пропадает, а накапливается. Я хотел закончить вознесением старух. Туман — это вознесение... Я не язычник, но Хозяин — это мое представление, потом я его потерял. Как написалось — так написалось.

— Что любимое?

— Если мне что-то удалось, то это «Последний срок». И язык, и философия повторяются в старухе Дарье в «Матере». Я знал — это заметят. Но моя Анна в «Последнем сроке» не договорила своего, а мне хотелось, чтобы договорила.

Вообще-то «Матера» ближе к очерку, это не столько художественная вещь, сколько документ.

Мои любимые авторы? Бунин, Достоевский. Последнего нужно перечитывать постоянно — не громкие читки, а для себя. У Достоевского такое насыщение эмоций, что книгу приходится откладывать. «Сто лет одиночества»<sup>101</sup> — лучшая книга века, национальный роман, и этим он оказал влияние на другие литературы.

Если человек пишет неискренне — пусть даже это талантливый человек — талант от него откажется.

В заключении рассказал о моральной гибели семьи. «Когда моему отцу дали 20 лет тюрьмы — он был почтальоном, и ему на парходике срезали сумку с небольшими деньгами, то вся деревня прятала швейную машинку и все вещи наши, а потом матери помогала.

А теперь жуткое пьянство — все пьют в нашем леспромхозе, а, когда водки нет, предлагают полететь в «командировку» на самолете за ящиками, а сами за этого человека работают.

Один не пил. Так на него какие только письма не писали, как его не травили. А теперь придумали, что он мать убил — старуху. Вызвали милицию, требовали его посадить. А старуха была сумасшедшая — ушла и не вернулась.

Вот я и говорю — разве такую деревню можно воспевать?

Говорят, писатель должен идти впереди читателя. Нет, писатель должен чувствовать болевые точки.

<sup>101</sup> Роман колумбийского писателя Г. Гарсия Маркеса (1927—2014). Пер. Н. Бутыриной и В. Столбова.

**27.5.78.** В поездке с нами Олжас Сулейменов<sup>102</sup> с женой Ритой. Она похожа на прибалтийку. Везет авоську с овощами. «На севере не будет, а Олжас не может без овощей»...

Очередное застолье в Караганде. Все время поднимаются сидящие для того, чтобы выпить.

Минчковский<sup>103</sup>: Я в первый раз вижу, чтобы столько раз вставали.

Олжас: Здесь слишком много сидели, поэтому так охотно встают.

Олжас сказал, что это город, который вычерпывает свою трагическую судьбу.

Олжас о Рытхэу<sup>104</sup>. Тот пришел в исполком и стал требовать помочь его деревне.

— Экономить на чукчах — это все равно, что экономить на спичках.

**2.6.78.** Сегодня пушкинская конференция... Затем пошел с Николаем Алексеевичем Раевским<sup>105</sup> к нему в гостиницу на Халтурина. Шли — как он захотел — по Миллионной... Затем я пытался ему объяснить свою работу. Он лежал на кровати (болеет колитом, в этот день болезнь брала свое), а я рассказывал о Полетике<sup>106</sup>. Оказалось, он принял, или сделал вид, что принимает версию.

Наверное, я его перебивал, а надо было слушать.

И все же — рассказал байку. В тюрьме, где он отбывал срок, сидел с сыном Гарина-Михайловского<sup>107</sup>, который рассказал, что в Швейцарии в 1940 году встретил даму,

<sup>102</sup> Сулейменов О. О. (род. 1936) — поэт, литературовед. Автор многих книг стихов, работ по истории и этимологии. Его исследование «Аз и я» (1975) получило резко отрицательную критику, книга была запрещена, после чего автор восемь лет не издавался. Сохранилась подаренная Сулейменовым книга «Аз и я» с надписью отцу: «Ласкину — дохтуру и летописателю, от врача исторических наук, бездипломного, со всяким почтением. Май, 1975, Алма-Ата».

<sup>103</sup> Минчковский А. М. (1916—1982) — прозаик, драматург, киносценарист, художник. Родной брат писателя Е. М. Мина. Вот история, говорящая о его остроумии и жизненной хватке. В паспорте Минчковский был записан как русский, а его брат как еврей. На вопрос: «Как это может быть?» — он отвечал: «Это личное дело моего брата».

<sup>104</sup> Рытхэу Ю. С. (1930—2008) — писатель, писал на чукотском и русском языках. Автор многих произведений, посвященных судьбе его народа — чукчей. С середины 50-х годов жил в Ленинграде—Петербурге. Еще при жизни писателя на Чукотке была учреждена премия имени Рытхэу, а в 2011 году ему поставили памятник в центре Анадыря.

<sup>105</sup> Раевский Н. А. (1894—1988) — писатель, историк, профессиональный военный. Во время Первой мировой войны добровольно оставил Петербургский университет и поступил в артиллерийское училище. Получил боевое крещение во время Брусиловского прорыва. В 1918 году пошел в Белую гвардию, а в 1920-м вместе с ее остатками покинул Россию. Жил в Греции, Болгарии, Чехословакии. В 1945 году арестован советскими властями и получил тюремный срок. В 1960 году, после одиннадцати лет, проведенных в Минусинске, переехал в Алма-Ату, где работал переводчиком и занимался биографией Пушкина. Написал книги: «Портреты заговорили», «Друг Пушкина Нащокин» и др. В письме-отклике на книгу Раевского «Добровольцы» (1931), посвященной Гражданской войне, В. В. Набоков писал: «...ваши очерки прямо великолепны, я прочел — и перечел их — с огромным удовольствием».

<sup>106</sup> Роли И. Г. Полетики в истории пушкинской дуэли посвящена работа отца «„Дело“ Идалии Полетики», впервые опубликованная в журнале «Вопросы литературы» (1980, № 6), а потом вошедшая в его книгу «Вокруг дуэли» (СПб., 1993).

<sup>107</sup> Михайловский Г. Н. (1890—1946) начал работать в 1914 году в Министерстве иностранных дел, продвинулся по службе от секретаря юрисконсульского отдела до начальника международно-правового отдела. С началом Гражданской войны пробирается на юг России, служит во внешнеполитических ведомствах Деникина и Врангеля. С 1921 года — профессор кафедры международного права Пражского Карлова университета. Г. Н. Михайловский погиб в советском лагере на Донбассе.

графиню Жорж де Сурдон, за табльдотом<sup>108</sup>, она ему сказала, что она дочь Дантеса от второго брака.

Михайловский спросил:

- А что, ваш отец жил с Полетикой?
- Какое сомнение! Отец этого не скрывал.

...И. А. Раевский 1894 года. В 1914 году был офицером, потом студентом, потом опять офицером. Артиллерист. Затем биолог. Занимался бабочками. Был знаком с Набоковым, который тоже жил в Чехии (уехал из Германии, его жена еврейка). В тридцатом году защитил докторскую степень, а пушкинская страсть началась у него после прочтения писем Пушкина в 2-х-томнике Модзалевского<sup>109</sup>. Сейчас пишет книгу о войне и Пушкине<sup>110</sup>.

**24.6.78.** В Доме — Наташа Долинина после инсульта... чуть благодушна и нервна одновременно. Она не помнит многих слов, речь прерывиста. Подарила мне книгу. Я попросил надписать. Сказала: «Не могу», развела руками, а, когда я сказал: «Поставь букву „Я“», рассмеялась.

**27.6.78.** Был у Бурсова, говорили о Пушкинском доме. Его директору, проф. Бушмину, положили на стол записку, что он будет убит, если не перестанет общаться с иудеями.

Бурсов заплакал:

- Какой стыд! Какой стыд!

**26.8.78.** Долго рассказывал с Елизаром Мальцевым<sup>111</sup> — очень толковым человеком и хорошим писателем. Говорили об Америке, в которой он был в 69 и 78 годах... Мальцев был у сестры, дочери его отца, попавшего в 17 году в США бывшим деникинцем. Отец женился на молоканке, дочь-сестра (мать еще жива) преподает музыку и пение в школе.

Поездка удивительна тем, что М. видел страну изнутри. При огромном жизненном уровне в доме сестры нет ни одной книги, понимание нашей жизни ничтожно.

- А ты, брат, можешь получить много денег?
- Да, гонорар.
- А ты можешь купить ресторан?

Он пытался говорить о писателях. Кого из своих они знают? Фолкнер? Стейнбек? Никого. Тем более — писателей мира.

- Вот нашего учителя по литературе нет. Он знает.

В городе он был на бирже. Это нечто вроде сберкассы, где три человека выдают пособие. А весь стенд оклеен: «Требуется». Нужны рабочие на лесоповале. Америке (вот так!) нужна рабочая сила.

<sup>108</sup> Со студентом Раевским профессор Гарин-Михайловский познакомился в Карловом университете, но, судя по всему, их знакомство продолжилось и в тюремных обстоятельствах. Об этом свидетельствует дата (1946 год), которую указывает Раевский, говоря о встречах с Г. Н. Гариным-Михайловским в своей книге «Пушкин и призрак Пиковой дамы» (М., 2000).

<sup>109</sup> Пушкин. Письма / Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского: Т. 1, 2, 3. — М.; Л.: Academia, 1926—1928, 1935.

<sup>110</sup> Как видно, книга о Пушкине и войне, в которой могли бы соединиться знания пушкиниста и опыт военной службы автора, не была написана.

<sup>111</sup> Мальцев Е. Ю. (1917—2004) — писатель-деревенщик, автор романов «Войди в каждый дом» (1967), «Белые гуси на снегу» (1988). В 1985 году написал роман о вторжении советских войск в Чехословакию, который до сих не опубликован.

Проблема негров, как я сам видел, первейшая. Девочка едет в автобусе, положив ноги на переднее сидение. Старухи стоят. Мальцев хотел возмутиться. Тсс! Это спичка. Сделайте ей замечание, как она поднимет скандал, спровоцирует драку и тогда шофер-негр остановит машину — и волна разбоя пройдет по этой улице.

...Говоря о нашей псевдоинтеллигентности, я сказал, что нужно сожалеть, что по сравнению с вершинами духа девятнадцатого века, давшего высокую культуру, мы резко измельчали. Американцы и не были значительны, они — в массе своей — делают дело. Учитывают все, строят, духовная жизнь не очень-то им важна...

Мальцев поражался, что городок, который торгует секвойей, имеющий сорок-пятьдесят тысяч жителей, живет точной экономической жизнью. Арбузы есть весь год, и американцы точно знают — сколько нужно арбузов каждый месяц этому городу...

**30.08.78.** Сегодня Нилин сказал, что мы все напряженно следим за партией Корчного и Карпова, а в это время китайцы, Хуа Гофен, ведут переговоры с Югославией, Японией и Румынией. Эта игра пострашнее.

**20.1.79.** Жанна Браун<sup>112</sup> сказала: «Я не читаю писем Пушкина к жене, так как не хочу вмешиваться в чужую жизнь».

**10.9.79.** Умерла Наташа Долинина, были похороны и много-много теплых слов. Ее друг, профессор Качурин<sup>113</sup> вспоминал ее искрометное выступление в институте. Кто-то сказал: «Так что преподавать литературу — как Бог пошлет?» — «Да, — сказала Наташа, — если он вам пошлет».

А вообще я очень грустно смотрел за всем этим действием, просили выступить, но я молчал. У меня были сложные отношения с ней, но я не имел права обижаться, она делала мне и очень много хорошего. Она первая принесла мою рукопись в издательство, ей я клялся в любви и уважении, даже когда-то обещал быть достойным ее. Потом это порушилось из-за Натальи. И уже никогда мы так и не смогли склеить треснувший черепок. А жаль! Очень жаль, это мой золотой актив... Разве я не мог за эти годы быть у нее хоть когда-либо, помогать ей, больной. Нет, не сделал, жалею очень.

**5.11.79.** Абрамова пригласили в ЦК после Америки, он спросил:

— Как это случилось, что мы отстали на целую историческую эпоху?

Его «умные» люди спрашивают:

— Зачем ты там об этом говорил?

Он:

— А где же еще?

**19.3.80.** Хибины, гор. Кировск. Со всех сторон горы удивительной красоты. Гладко отшлифованные отлоги хребтов — белые до синевы, без прожилок темного. Только иногда чахлый полярный лес по склонам... Я и Саша Кушнер<sup>114</sup> с утра в дороге, нас возят по рудникам, мимо озер Большого и Малого. Огромные бульдозеры, черпающие по 108 тонн породы, рушат гору, а мы видим только чистую красоту. Я второй раз здесь, есть знакомые люди, но в это зимнее время впервые.

<sup>112</sup> Браун Ж. А. (род. 1931) — прозаик, детский писатель, художник. Была замужем за О. Грудининым (см. примечание 52).

<sup>113</sup> Качурин М. Г. (1923—2006) — литературовед, педагог. Доктор педагогических наук. Профессор Педагогического института им. Герцена. Соавтор учебника по литературе для девятого класса, выдержавшего двадцать изданий. С 1995 года жил в США.

<sup>114</sup> Кушнер А. С. (род. 1936) — поэт, лауреат многочисленных премий.

Вчера — грустный и хороший вечер. Пришли молодые поэты, читали свои стихи, иногда — очень острые, с какой-то даже болью отчаяния. Их было трое — Миша Костоломов<sup>115</sup>, эдакий гений, разночинец, знающий все — борода, усы, очки и мудрый взгляд. Господи! Чего он только не прочел в жизни, а ему 26! Куда пригодятся его знания, его энергия, его удивительный мозг? Да никуда, думаю. Вторая — Римма Маркова<sup>116</sup>. Ей столько же лет, она некрасивая еврейка, пишущая искусствоведческие статьи на тему: «Блок и художники начала XX века». Ее знания обширны, стихи трагичны. Она хочет создать здесь галерею в помещении старого заброшенного вокзала, ей видится высокое просвещение, а в действительности — это порывы и прорывы лютой тоски. И третья — само обаяние, мать и поэтесса Полина Беспрозванная<sup>117</sup>, двое детей, удивительно нежная и столь же талантливая. Куда это уйдет? Зачем это им дано? Пока они собираются на ЛИТО, где мы сегодня выступаем... Да, это о них, о них нужно думать! О них плакать, им некуда деться тут!

И, конечно, открытие — Саша Кушнер. Самый мудрый и самый талантливый в нашем Союзе, большой поэт, рядом с которым присутствующий тут же Куклин кажется выразителем пошлости. Да он и есть сама пошлость!<sup>118</sup>

**28.7.80.** Вчера говорил с Бурсовым, которому хотя и неприятна статья-эссе — он не хотел даже читать мою работу — но одно он признал.

Даже атмосфера, которую мне видно удалось передать, это очень важно для уяснения трагедии.

Вот об атмосфере салона (!!!) впрямую мне и нужно писать — это так интересно. Документы — переписка Карамзиных, ракурс. Фигура — Софья Карамзина, человек светский, «бабочка», летающая по салону. Может быть, дальше выявится и пьеса. Но пока материалов маловато.

**22.8.80.** Очень напряженно и интересно прожил два дня в Пушкинских горах, у Гейченко...<sup>119</sup> Гейченко произвел очень сильное впечатление, в нем скоморошество и огромный талант соединены удивительно.

**2.11.80.** Мы с Бурсовым милы, как написала бы Полетика, но говорим только о погоде, т. е. совсем не касаемся Пушкина, вернее — моего Пушкина. Будет время — пойдем, кто прав...

<sup>115</sup> Костоломов М. Н. (1953–2016) — краевед, экскурсовод, историк Выборга, составил более 15 тысяч справок о людях, связанных с этим городом.

<sup>116</sup> Маркова Р. М. (род. 1951) — поэт. После окончания Герценовского института работала в художественной школе гор. Апатиты Кировской области. Первая книга — «Хибинская тетрадь» (Мурманск, 1981). С 1994 года живет в Швеции.

<sup>117</sup> Беспрозванная П. В. (род. 1951) — поэт. В 70–90-х годах работала в Полярном геофизическом институте в Апатитах. Несколько лет редактировала газету Хибинского общества «Мемориал» «Котлован». Первая книга Беспрозванной (как и книга Р. Марковой) выйдет в 1981 году — через год после отчаянной отцовской записи. С 2009 года живет в Иерусалиме.

<sup>118</sup> Куклин Л. В. (1931–2004) — поэт, автор многих книг стихов, некоторые из них стали песнями. Известен участием в разгромном обсуждении стихов Бродского на секции поэзии в Союзе писателей в декабре 1963 года и другими подобными выступлениями. Об этом на суде над Бродским в марте 1964 года упомянул Е. Воеводин: «Мой друг, поэт Куклин, однажды громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского». Это противостояние не закончилось со смертью Бродского (см.: Куклин Л. «Гидропонная поэзия» // Нева. 2001. № 1). В настоящее время в Вельске Архангельской области (кстати, недалеко от Норинской, где отбывал ссылку будущий нобелиат и где находится его дом-музей) существует музей Л. Кушлина.

<sup>119</sup> Гейченко С. С. (1903–1993) — пушкинист, музейный работник, воссоздал мемориальный музей-заповедник Пушкина «Михайловское» и в течение сорока пяти лет работал его директором.

**13.12.80.** Я в Москве, в гостинице «Россия»... Я оказался в Москве на съезде писателей РСФСР как гость. И все же любопытно — и Кремлевский большой дворец, и Дворец съездов, огромный фуршет на 1000 человек, люди у загородки, потом какая-то быстрая, на час-полтора, еда и тосты...

С Б. И. Бурсовым был анекдот в Оружейной палате. Гид показывает два золотых венца, под которыми венчались Пушкин и Гончарова.

Бурсов подошел, чтобы сказать мне:

— Пушкину — этот хорош, а Гончаровой нужен картонный.

Я говорю, не оборачиваясь:

— Время покажет, Борис Иванович.

— Что покажет, — бежит за мной он, — что может показать время? Оно уже все показало!!

Я отхожу от него, я не хочу спорить, я даже не поворачиваюсь.

— Ну, — преследует меня Б. И. — что вы хотели сказать?

— У меня есть новые документы.

— Какие?

— Письма Вяземского.

Он бледнеет буквально.

— Это меня интересует.

Я соглашаюсь.

— Вяземский, — это серьезно, — говорит он...

Я обещал показать письма, которые думаю все же не показывать<sup>120</sup>.

Он немного успокоился.

На следующий день я опять сидел с Б. И. в Колонном зале Дома Союзов. Я что-то сказал о письмах. Он не ответил. Я понял — это уже нежелание говорить...

...Из баек. Недавно в Комарово молодые поэты пришли к Шефнеру<sup>121</sup>. Он лежал на кровати, в ботинках, сложив руки, смотрел в потолок.

— Вадим Сергеевич, что с вами?

— Да я с утра так.

— А что случилось?

— Так я ведь знаю, что если я встану, то мне придется рецензию на Шошина<sup>122</sup> писать.

**15.08.81.** Масса историй, знакомств. Юрий Левитанский<sup>123</sup> сказал вчера, что вырезал мою «Полетику» и спрятал. Он думал, что я моложе.

<sup>120</sup> Письма, в которых П. А. Вяземский косвенно или прямо говорит об обстоятельствах пушкинской гибели, впервые введены отцом в научный оборот. Этим письмам посвящена работа отца «Тайна „красного человека“», опубликованная «Невой» (1982, № 6), а потом вошедшая в его книгу «Вокруг дуэли» (СПб, 1993).

<sup>121</sup> Шефнер В. С. (1915–2002) — поэт и прозаик. Фронтвик. Определял жанр своей прозы, в которой возобновлена традиция петербургской фантастической повести, как «полувероятные истории» и «сказки для умных».

<sup>122</sup> Шошин В. А. (1930–2008) — поэт, критик, литературовед. Доктор филологических наук. Автор книг «О творческой индивидуальности в советской поэзии» (1966), «Летопись дружбы. К проблеме интернационализма в советской литературе» (1971). В 1980 году, к которому относится запись отца, у Шошина вышла книга стихов «Вставайте на рассвете!».

<sup>123</sup> Левитанский Ю. Д. (1922–1996) — поэт-фронтвик, чье имя по праву стоит рядом с именами таких поэтов его поколения, как Б. Ш. Окуджава, Д. С. Самойлов, А. П. Межиров.

Сосед по столу Ждан<sup>124</sup>, ректор ВГИКа, бывший советник по культуре во Франции, рассказал о Шолохове. Тот приехал к Арагону (хотя Арагон его не любил), к нему бросились корреспонденты.

— Как Вы относитесь к «Живаго»?

— Моя хата с краю, — сказал Шолохов. — Я бы печатал. А так, что я? Живу в стороне, в Союзе писателей не бываю.

Из музея Родена вышел недовольный.

— Это все говно, — сказал он.

**19.08.81.** Из рассказов Хелемского<sup>125</sup>. После разоблачения Сталина реабилитировали Шамиля<sup>126</sup>. Шкловский сказал:

— Вы слышали, Ивана Грозного из партии исключили, но зато приняли Шамиля.

...Каверин сказал, что перечитывает Грэма Грина и Стивенсона, чтобы учиться строить композицию. Нынешние литераторы не умеют строить композицию, это особенно видно по роману.

...Левитанский слушал, пока Хелемский перечислял двухтомники, которые выпустили поэты вроде Шестины<sup>127</sup> в Москве, и сказал:

— Народ любит двухтомники.

**18.10.81.** Собираемся в Олимпию. Утреннее море, удивительное купание: я — и Эгейский простор. Ощущение счастья. Вода держит тебя, плывешь легко, оглянувшись — берег уже далеко-далеко. И красота сказочная. Юнна Мориц пророчествует и закликает — она заставляет поднимать руки и наполняться энергией солнца. Это скорее забавно, но все же видишь, что это человек большого таланта.

...Олимпийский стадион... В музее Юнна Мориц говорит, что искусство знает как ломаться — и только оно может быть настоящим искусством. Иногда знание менее интересно, чем незнание. Можно надумать очень много по поводу осколков, но знание эти домыслы разрушает.

Ю. М.: «Иконостасик Куняев»<sup>128</sup>.

**22.10.81.** ...Юнна Мориц читает Иосифа<sup>129</sup>. Говорит много прекрасного о литературе, но, как обычно, я ничего не запоминаю. Остается ощущение недюжинного ума и прекрасных стихов, которые она читает.

Из ее рассказов. Ей позвонила Ахматова, сказала, что хочет встретиться. Мориц отвергла: «Зачем? — сказала она, — для меня Ахматова — это стихи». Когда Ахматова все же увидела ее, она сказала: «Я вас такой и представляла».

Она десятки раз виделась и говорила с Пастернаком.

Мориц похожа и на Цветаеву, и на Ахматову в юности. Она это знает. Однажды она коротко постриглась — все стали говорить, что она похожа на молодого Пастернака.

<sup>124</sup> Ждан В. Н. (1913—1993) — киновед, доктор искусствоведения, с 1951—1956 — главный редактор «Искусства кино», с 1973—1986 — ректор Всесоюзного института кинематографии. Один из главных идеологов официального советского киноведения.

<sup>125</sup> Хелемский Я. А. (1914—2003) — поэт, переводчик, автор многих популярных песен.

<sup>126</sup> Шамиль (1797—1871) — предводитель кавказских горцев в войне с Российской империей. В 1834 году признан имамом Северо-Кавказского имамата.

<sup>127</sup> Шестина — О. Н. Шестинский (1929—2009), поэт, в 1971—1973 годах возглавлял Ленинградскую писательскую организацию. После 1973 года жил в Москве.

<sup>128</sup> Имеется в виду С. Ю. Куняев (род. 1932), поэт, с 1989 года по настоящее время — главный редактор журнала «Наш современник».

<sup>129</sup> Речь о стихах И. Бродского.

Она дала сыну свою фамилию, видимо надеясь, что он станет продолжателем ее дела. Мальчику 10 лет.

О Евтухе<sup>130</sup> говорила с раздражением. Он пришел в гости, читал стихи, ему не аплодировали старухи — он раздражался, одна из старух оказалась Ахматовой.

Говорить о Белле<sup>131</sup> не захотела.

Рассказывала о своей наркомании, которую победила с большим трудом.

Всегда настроена мистично.

— Какой ваш камень?

— Я не знаю.

— А вашей жены?

Дорога к Посейдону была прекрасна благодаря Мориц!

**24.10.81.** Что-то стало надоедать мне это греческое путешествие. Устали все. Вчерашний бег по магазинам — я быстрее всех растратил деньги...

Обед с Нагибиным<sup>132</sup>. Очень мил. Рассказ о поездке в Америку. Лекции в университетах о рассказе. Студенты, которые ставят отметки профессорам — от этого зависит их, профессоров, будущее.

Опасные районы — пуэртиканцы и негры.

Негры, не выдерживающие конкуренции с белыми, их раздражение.

На лекции:

— Вы хотите сказать, что ЦК не руководит идеологией?

— Конечно, руководит. А вы что не знали?

Смех убивает все.

Был в 25 университетах, ездил на ночных автобусах.

Вместе летел Евтушенко — его поливали всюду, была злая пресса. А до того — триумфально проехала Белла.

**26.10.81.** Летим домой. В этот раз очень хотелось возвращаться, скучаю, не умею долго жить один и как-то очень тревожусь за дом, за Олю и маму. Теперь уж за кого больше — трудно сказать....

Дорогу общались с Нагибиным, он проявил ко мне максимум интереса. Но начал осторожно, сказал: «Скажите, у вас в Ленинграде есть писатель, который написал о Полетике». Затем я все ему рассказал — это может быть и опасно — он же сам пишет о Лермонтове, — но я не умею иначе, не умею хитрить.

Днем с Юнной Мориц шли по ул. Константина, по улице Афин к монастырям — удивительному по живописности базару. Завалы золота и серебра, сувенирных изделий — горшки, оникс, бронза, шерсть, кожа, меха. Обилие поражает, но поражает и отсутствие покупателя. Это так странно и почти необъяснимо для нас.

...Даже странно, что завтра снова сяду за пьесу и Пушкина. Надо спешить. Черт знает, что меня ждет через две недели. Смогу ли я работать или повешу нос на квинту. Но надо, надо... В «Пушкине» я вижу свое предназначение.

**20.12.81.** Из выступления Адмони<sup>133</sup> об Ахматовой.

<sup>130</sup> Е. А. Евтушенко.

<sup>131</sup> Б. А. Ахмадулиной.

<sup>132</sup> Нагибин Ю. М. (1920–1994) — писатель, сценарист.

<sup>133</sup> Адмони В. Г. (1909–1993) — лингвист, литературовед, переводчик. Известен не только как германист и теоретик языка, но как участник процесса над Бродским — в своем выступлении на суде Адмони попытался защитить поэта и высоко оценил его переводы и стихи.

Читал письмо Берковского<sup>134</sup> к нему: «Вечерами встречаю А. А. Ахматову, imperatrix. Она выходит на прогулку, превращая Комарово в Царское Село».

Ахматова о Толстом: «Мусорный старикашка»<sup>135</sup>. Она не прощала ему Анны Карениной, его отрицания женщины, позволившей себе любить.

А. А. любила послать гонцов — девочку на велосипеде.

Приехала из Ташкента в Ленинград. Говорила — ее ждет муж, проф. Гаршин<sup>136</sup>. Он на вокзале. В бобровой шапке — типичный профессор. Поцеловал руку, сказал:

— Аня, нам надо поговорить.

Затем они ходили по перрону, она попрощалась и вернулась к друзьям.

Спокойно:

— Мои планы изменились. Я еду к Рыбаковым<sup>137</sup>.

**9.2.82.** Я подумал, что Пугачева — это цыганщина, отсюда ее удивительная популярность. И в Высоцком это было...

**29.3.82.** Андрес<sup>138</sup> разбирала архив Анны Керн (40-е годы). Среди писем — амурное письмо старичка — отца Пушкина с любовными стихами. Кого? Нет, не сына. Бенедиктова.

**14.06.82.** Лапин<sup>139</sup> рассказал Яковлеву<sup>140</sup>, что когда он звонит Брежневу, тот всегда просит передать привет своему однокласснику Абрамовичу, который работает на телевидении, и спрашивает — почему тот ему не звонит. На самом деле Абрамович звонит, но телефонная барышня или коммутатор спрашивают: а кто звонит? — Абрамович. — и его не соединяют.

Последний раз Лапин звонит, поговорили, а Брежнев вдруг просит позвать Абрамовича.

Побежали, нашли.

Абрамович взял трубку, а говорить не о чем.

Брежнев помолчал и спросил:

— Ну как тебе понравился 26 съезд?

...Брежнев обязательно смотрит программу «Время» — это все знают.

<sup>134</sup> Берковский Н. Я. (1901–1972) — литературовед, автор книг «Текущая литература» (1930), «Статьи о литературе» (1962), «Литература и театр» (1969).

<sup>135</sup> По свидетельству З. Б. Томашевской, эти слова («мусорный был старик») ее отец, пушкинист Б. В. Томашевский, услышал от одного из слуг в Ясной Поляне сразу после смерти Толстого. Эту историю очень любила А. А. Ахматова (см.: Ласкин А. Петербургские тени. — СПб., 2017).

<sup>136</sup> Гаршин В. Г. (1887–1956) — ученый-патологоанатом, действительный член Академии медицинских наук (с 1945 года). В кругу А. А. Ахматовой говорили о возможном браке между нею и Гаршиным, но после ее возвращения из эвакуации последовал разрыв (см.: Ласкин А. Петербургские тени. — СПб., 2017).

<sup>137</sup> Рыбаковы — Лидия Яковлевна (1885–1953) и ее дочь Ольга Иосифовна (1915–1998) — давние знакомые А. А. Ахматовой, семья юриста и коллекционера И. И. Рыбакова (1880–1938).

<sup>138</sup> Андрес А. Л. (1907–1991) — переводчик произведений Ж. Санд, В. Гюго, Ж. Сименона и других классиков французской литературы. Также перевела дневник А. Керн и ее воспоминания о Пушкине. Переводила для отца и его пушкиноведческих штудий письма К. Дантеса и материалы из его архива.

<sup>139</sup> Лапин С. Г. (1912–1990) — председатель Государственного комитета по радио и телевидению при Совете Министров СССР в 1978–1985 годах. По свидетельству Э. А. Рязанова, в Лапине «наряду с любовью к поэзии, с тонким вкусом, эрудицией» уживались «запретительные наклонности».

<sup>140</sup> Яковлев Ю. Я. (1922–1995) — писатель, автор многих книг и сценариев фильмов для подростков.

**2.7.82.** Хренков<sup>141</sup> рассказал, что перед войной был на приеме (как корреспондент «Правды») в Кремле. Сталин, Ворошилов, Чкалов пели в сопровождении хора Александра. Хренкову захотелось писать. Он спросил, где уборная, ему показали. Зашел в кабину, а, когда вышел, спиной к нему стоял Сталин и мочился.

— Вождь тоже имеет право поссать, — сказал Сталин.

Хренкова схватили и сутки выясняли, как он проскочил в туалет.

...У Л. Я. Гинзбург об Ахматовой: «Она обладала системой жестов... несвойственных людям нашего неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным». Как точно! Моя встреча с ней в 1963 году<sup>142</sup> — это ритуальное действие. Она лежала, высоко подняв голову, и не смотрела на меня, а только в потолок. Я ее не интересовал. Она была царственна.

**15.5.83.** Вчера ночью в 2 часа 56 минут — так зафиксировано монитором — внезапно после операции умер Федор Александрович Абрамов. Это, конечно, удивительный человек и огромный талант. Сегодня мне кажется, что он фигура мировая, по крайней мере — огромная. Честный, умный, знающий себе цену, даже м. б. слегка преувеличивающий ее, впрочем, это не обидно.

Мы должны были ехать в Испанию, но вместе доехали только до Москвы. Он плохо чувствовал себя, Людмила Владимировна<sup>143</sup> обрадовалась, что я в соседнем купе — она уже уложила Федю, и он уснул. Утром я увидел его слабым, бледным, он протянул мне руку и пошел за носильщиком. Сказал: «Плохо, Семен, очень мне плохо».

22 апреля мы платили деньги в Интуристе. Ф. А. не пришел, мы доплачивали за него по 15 рублей.

Здесь все было у него не так. Л. В. «высчитала» его биоритм и не давала делать операцию, привела экстрасенса, который дал ему оливковое масло, снадобья, а затем стал гнать камни. Они вышли «растворенными», два кило. Потом оказалось, что желчный пузырь заполнен камнями, а холедох<sup>144</sup> закрыт. Была обтурационная желтуха<sup>145</sup>.

С операцией Л. В. тянула дважды.

— Сегодня нельзя, — говорила она, — у него два нуля.

И назначила ему среду — день благополучный. В следующий — тоже благополучный — день произошел во сне тромбоз легочной артерии.

Вскрывали грудную клетку, массировали, но ничего сделать не удалось.

А вообще ко мне он относился хорошо — может быть, совсем хорошо. Он любил людей, которые что-то знают, и удивлялся знаниям, хотя и сам знал очень много.

Добро он делал со страстью, лез в борьбу. Когда Ботвиннику и Рубашкину отказали в Испании<sup>146</sup>, он клялся, что остановит эту дискриминацию. И он сказал, остановил, успокоил.

За Рубашкина, с которым дружил, он бегал в горком, звонил всюду, пытался ему помочь, но ничего (как и любой) не мог сделать с властями.

<sup>141</sup> Хренков Д. Т. (1918–2002) — писатель, журналист, редактор последней прижизненной книги А. А. Ахматовой «Бег времени», автор книги «Ахматова в Петербурге–Петрограде–Ленинграде» (1989), с 1979–1984 — главный редактор журнала «Нева».

<sup>142</sup> Отец был приглашен к Ахматовой как врач (см. запись от 03.08.63 в: Ласкин С. «Да, старик, тебе повезло как надо...». В. Аксенов в дневниках 1956–1989 годов // Знамя, 2017, № 5).

<sup>143</sup> Крутикова-Абрамова Л. В. (1920–2017) — вдова Ф. А. Абрамова, филолог, мемуарист.

<sup>144</sup> Холедох — общий желчный проток.

<sup>145</sup> Обтурационная желтуха в большинстве случаев связана с закупоркой желчных протоков.

<sup>146</sup> Речь о том, что поэт С. В. Ботвинник и критик А. И. Рубашкин решили поехать в туристскую поездку в Испанию, но им в этом без объяснений отказали. Ботвинник С. В. (1922–2004) — поэт, по первой профессии — врач, кандидат медицинских наук. Рубашкин А. И. (род. 1930) — критик, литературовед, автор биографии И. Г. Эренбурга.

17.04 мы были у Марины Ивановны Подрядчиковой<sup>147</sup>, он сидел с нами за одним столом, и Оле он показался больным. Тост он произнес плоский, неостроумный, он и не был остроумен, это удел другого, более поверхностного ума. На этом вечере Оля и Ф. А. отравились, начались боли в животе. Так и пошло с пустяка.

Жаль его! Пожалуй, это один из самых значительных людей в моей жизни.

**18.05.83.** Завтра похороны Абрамова, сегодня некролог в газете, подписанный Черненко, Романовым и всей идеологией<sup>148</sup>. Он, Абрамов, назван видным, хотя он выдающийся. Среди массы подписей нет ни одной литературной личности. Черт знает, какая пустота! Дали самолет военные, полетят в Верколу на Север, там его будут хоронить. Жаль его, очень. Глупая смерть от рук глупцов.

**5.7.83.** Первого июня в театре Ленсовета давали премьеру, а, вернее, был просмотр «Победительницы» Арбузова. На театре с семи утра висел плакат: «Не отпускайте Алису»<sup>149</sup>. Такой же плакат был на квартире Владимирова<sup>150</sup>. Потом Мих. Боярский<sup>151</sup> в тосте сказал, что театр получает перелетную птицу — это был намек на Елену Соловей<sup>152</sup>. Он сказал: «Алиса, не уходи, тебе там будет плохо». Все встали и рыдали. И она разрыдалась, сказав, что знает, что плохо. Но ее кровь заражена, она больше не может быть здесь. Потом Юрий Соловей<sup>153</sup> схватил ее за руку и увел.

**20.7.83.** «Нет счастья, равного осознанию того, что в общем переплетении судеб... тебе назначена своя роль».

Т. Уальдер «День восьмой».

**14.08.83.** Гулял с Дворецким. Страстно он рассказывал пьесу «Общество любителей кактусов». Показалось интересно, даже очень. Бывший разведчик живет на пенсии... И все, что он делает дальше, тоже тайна.

Как такому человеку быть? Как?

Пока гуляли, чуть не подрались с прохожим. Дворецкий схватил камень и палку. Тот кричал: «Жиденок! Жаль, что тебя немцы не задушили в 42-м». Как грустно и страшно.

<sup>147</sup> Подрядчикова М. И. (1923–2009) — ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР, с 1961-го по 2003-й — директор Лавки писателей.

<sup>148</sup> В 1983 году К. У. Черненко (1911–1985) был секретарем ЦК КПСС, а Г. В. Романов (1923–2008) заканчивал свою службу в качестве первого секретаря Ленинградского обкома партии. Под «всей идеологией» имеются в виду чиновники помельче, отвечавшие за идеологию и культуру.

<sup>149</sup> Спектаклем «Победительница» по пьесе А. Н. Арбузова в Ленинградском театре имени Ленсовета завершился период, связанный с творчеством А. Б. Фрейндлих. В конце сезона актриса объявила о своем переходе в БДТ.

<sup>150</sup> Владимиров И. П. (1919–1999) — режиссер, с 1960-го по 1999-й — главный режиссер и художественный руководитель Театра имени Ленсовета, который он до определенного момента создавал вместе со своей женой А. Б. Фрейндлих. Разрыв Фрейндлих с Театром Ленсовета был во многом связан с разводом с И. П. Владимировым.

<sup>151</sup> Боярский М. С. (род. 1949) — актер театра и кино, в это время — один из ведущих актеров Театра имени Ленсовета.

<sup>152</sup> Понимая, что Фрейндлих может уйти из театра, Владимиров пригласил в театр кинозвезду Е. Я. Соловей. Теперь некоторые спектакли ставились «на Соловей», так же как когда-то они ставились «на Фрейндлих».

<sup>153</sup> Соловей Ю. А. (род. 1949) — актер, художник. По поводу сходства фамилий третьего мужа А. Б. Фрейндлих и новой премьерши театра И. П. Владимиров шутил: «У каждого должен быть свой Соловей».

**5.11.83.** ...Вечером дома, в номере Размика Давояна<sup>154</sup>, человека большого обаяния, собрались все. Была пьянка, в которой я не участвовал, разговаривал с очень умным и начитанным Анатолием Кимом<sup>155</sup> о переводе. Он переводит казахов, а фактически пишет за них прозу, будучи человеком удивительной одаренности. Вообще впечатление от этого человека большое. Хотя в отличие от Битова он самоуничижителен, боится за судьбу своих книг, даже суеверен. Впрочем, это мы все, но у него особенно. Во время выступлений он кланяется, как японец, потирает руки и каждый раз говорит слова благодарности в такой превосходящей степени, будто и действительно недостоин. А это все же — поза. У него — единственного — переведены здесь три книги...<sup>156</sup>

Из разговора с Кимом.

Он пишет рукой, жена тут же печатает. Пишет пять страниц в день. Но считает: только рука должна быть рабочей, а не машинка. В этом его убедили рукописи классиков, которые он увидел, учась в Литинституте. Говорил о рукописях Достоевского. Вначале каллиграфия на первой странице, затем стихийный поток, завернутые куски, сумятица. «Это дало мне многое в понимании творческого процесса»...

**8.2.84.** Позавчера был на лекции Лотмана. Впечатление значительное... Кое-что сказал любопытное. О Жане Габене<sup>157</sup> — создавал одну биографию и режиссеры при нем были незаметны. Чем больше он, тем меньше режиссер. Вероятно, зрителю нравились Габены, они шли смотреть еще один узнаваемый, мужественный и обаятельный характер.

Из вопросов: что есть достоверный исторический художественный характер? Это вера в честность автора. Должна быть достоверность позиции.

Есть ли недостойные темы?

Историк — это доктор, он должен знать все. Главное, зачем. И каков уровень внутренней культуры исследователя. «Почему письма к теще — можно, а к жене — нельзя?»

Писатель — это общественная функция.

О «Пушкине» Тынянова говорит сдержанно — был болен, культ, иконность — все есть. «Кюхля» — это прозрение.

**29.2.84.** Сегодня день рождения Абрамова, вчера был большой вечер очень высокого толка. Все говорили нервно и остро.

Я был тоже знаком, много, бывало, разговаривали, наверное, в других дневниках есть мои записи. В процессе вечера я вспоминал о нем. Он хорошо, с интересом ко мне относился.

Что вспомнилось?

Сидели месяц за столом в Комарово, гуляли иногда, слышал его характеристики людей — часто злые, непрощающие, слушал острейшие и честнейшие его выступления — он был человек открытой совести.

**2.3.84.** Вчера посмотрел «Сестры» Разумовской<sup>158</sup>. Люда — удивительный человек. Грустные глаза, умный, кроткий взгляд, сдержанность. Перед завлитами высту-

<sup>154</sup> Давоян Р. Н. (род. 1940) — поэт и общественный деятель. Первое «Избранное» «Мой мир» вышло в 1963 году. Почетный гражданин города Еревана (2017).

<sup>155</sup> Ким А. А. (род. 1939) — прозаик, автор романов «Белка», «Отец-лес», «Сбор грибов под музыку Баха» и др.

<sup>156</sup> Отец оказался с Кимом в поездке в Болгарию.

<sup>157</sup> Габен Ж. (1904—1976) — французский киноактер.

<sup>158</sup> Разумовская Л. Н. (род. 1946) — драматург, сценарист, прозаик, актриса. Автор пьес «Дорогая Елена Сергеевна», «Медея» и многих других. В 2010 году выпустила роман «Русский остаток». В кино

пила неохотно, сказала: «У меня пять пьес». Сила. Больше не сказала ни слова. Все выдрючивались, выставлялись, я в том числе.

А пьеса, что ни говорят критики, на голову выше всего. Мрачно. Как у Леонида Андреева. С убийством хорошего, достойного человека. С психопаткой-сестрой, которая невеста чего хочет. Это страшнее Галина, темнее его и глубже. Впрочем, о глубине не скажу, не уверен. Но хорошо. Актеры не все тянут... И все-таки — событие.

**29.3.84.** Был вечер Тамары Юльевны Хмельницкой. Институт истории искусств в 20-е годы. Говорила экспрессивно, образно, пела прямо.

Много точных мыслей, главная тема — ее учителя Тынянов и Эйхенбаум. Сказала, что у Тынянова была «теория рабочих ошибок». «Великая неудача Хлебникова дала новое слово в поэзии».

«Кюхельбекер — Дон Кихот декабризма».

«Пушкин — торжество творческой победы над судьбой». (Я: может быть отсюда его обожествление?!)

«Творчество, — говорил Эйхенбаум, — это акт обретения себя в истории»<sup>159</sup>.

Тынянов: «Злоупотребление терминологией отличает эпигонов».

«Мы, — сказала Хм. — токовали терминами».

«Явлениями прошлого следует заниматься, если они важны сейчас».

«Внуки подают руки дедам через головы отцов» Тынянов.

«Каждый крупный поэт или ученый перерастает свой «изм»» (Блок, Лотман).

«Жаргон — это намек, знак для посвященных, он, как знак, объемнее и ближе к художественному тексту».

«Тынянов — Эйнштейн литературоведения. Его теория относительности: может быть так, но может быть и иначе».

«Восприятие произведения различно в каждую эпоху. Каждая эпоха сгущает то, и берет то, что ей больше нужно».

«Шкловский — это не ход конем, а ход блохой. Он скачет».

**2.4.84.** Вчера я, Саша и Миша Яснов-Гурвич<sup>160</sup> были у жены Бена Лифшица<sup>161</sup> Екатерины Константиновны Лифшиц<sup>162</sup>.

Ей за 80. Красива. По крайней мере, стройна, разумна, интеллигентна и с очень ясной памятью. Рассказывала о Лифшице. Арестовали в 39. Услышала сапоги. Он в нижнем белье. Сказала: «Оденься». Очень спокойно. Охранник подал халат. Дворник сидел в коридоре. Уходя, он сказал: «Я не виноват, мне поможет вера в Бога».

**12.7.84.** Гуляли с Герасимовым<sup>163</sup>. Говорил о Юнне Мориц... Сказал, что они шли, увидели Наровчатова<sup>164</sup> с Галей, женой.

---

сотрудничала с режиссерами Э. А. Рязановым и И. Е. Хейфецем. В записи идет речь о спектакле «Сестры» (первоначальное название — «Сад без земли») на малой сцене БДТ (режиссер Г. Егоров, 1983).

<sup>159</sup> См. цитату целиком: «Творчество (а индивидуальность есть понятие творческой личности), вообще, есть акт осознания себя в потоке истории — оно ответственно» (Б. М. Эйхенбаум. Некрасов, 1922).

<sup>160</sup> Яснов М. Д. (Гурвич) (род. 1946) — поэт, детский поэт, переводчик.

<sup>161</sup> Лифшиц Б. К. (1886—1938) — поэт, переводчик, мемуарист.

<sup>162</sup> Лифшиц Е. К. (Скачкова-Гуриновская) (1902—1987) — жена поэта Б. К. Лифшица, в юности, прошедшей в Киеве, занималась балетом в классе Б. Ф. Нижинской. После окончания балетной карьеры до конца жизни переводила с французского.

<sup>163</sup> Герасимов И. А. (1922—1991) — писатель, драматург, киносценарист.

<sup>164</sup> Наровчатов С. С. (1919—1981) — поэт и прозаик, достиг наибольших официальных успехов среди поэтов-ифлийцев (с ним учились С. Гудзенко, Д. Самойлов и П. Коган) — в 1974—1981 годах был главным редактором «Нового мира». Герой Социалистического Труда (1979).

Юнна издалека сказала:

— Господи, какая над ним черная туча.

Так и было. Галя через год умирает, он за ней.

Жуткий конец предсказала Аграновскому<sup>165</sup> — подтвердилось.

Мне в Греции она сказала, что у меня голубая сфера, чистая. Может и вывезет меня эта сфера?!

**24.09.84.** Значительнее иных Морозов Александр Антонович<sup>166</sup>, профессор, лауреат, но человек одинокий, его не любят эстеты типа Адмони, шумный, писклявый, но образованнейший.

Читал его статью об эмблематике 18 века — знак, символ. Любопытно.

**1.10.84.** Гуляли с Морозовым А. А. Два удивительных факта. Авторы Луки Мудищева<sup>167</sup> — цензор Лонгинов Михаил Николаевич<sup>168</sup>, Дружинин, автор «Полиньки Сакс» и Дьяков, средний писатель.

Но хорош цензор.

Сказал со слов Вас. Базанова<sup>169</sup>, что Федор Крюков<sup>170</sup> — родственник Шолохова по жене<sup>171</sup>. Удивительно!

**17.12.84.** Из доклада Н. Я. Эйдельмана<sup>172</sup> о встрече Пушкина и Николая Первого.

— Благодарность — первый признак цивилизованного человека.

— Г-жа де Сталь говорила: «В России все тайна и ничего не секрет».

— Лучше иметь мудрость охранительную, чем ломающую, — понял Ник. Первый.

— От частичных мер (спор об отмене крепостного права — как бы им хуже не стало?).

— Разница информации. Мать-императрица, увидев гроб Александра I упала с криком:

У анг. посла: — Нет, это не мой сын!

У нем. посла: — Да, это мой сын!

Часто версия интереснее факта.

**29.1. 85.** 125 лет Чехову. Вечер в Союзе.

<sup>165</sup> Аграновский А. А. (1922–1984) — журналист, прозаик, кинодраматург, автор второй части «Возрождение» трилогии Л. И. Брежнева.

<sup>166</sup> Морозов А. А. (1906–1992) — литературовед, фольклорист, переводчик. Лауреат Государственной премии за книгу «М. В. Ломоносов» (1950).

<sup>167</sup> «Лука Мудищев» — анонимная «срамная» поэма второй половины XIX века, стилизованная под «непристойные» стихи Ивана Баркова.

<sup>168</sup> Лонгинов М. Н. (1823–1875) — писатель, поэт, государственный деятель. Губернатор Орла в 1867–1871 годах, начальник Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел с 1871-го по 1874 год.

<sup>169</sup> Базанов В. Г. (1911–1981) — литературовед, доктор филологических наук, автор книг о декабристах и поэтах пушкинской поры, в 1966–1976 годах — директор ИРЛИ (Пушкинский Дом).

<sup>170</sup> Крюков Ф. Д. (1870–1920) — писатель, казак, участник Белого движения. Вероятный автор первоначального текста «Тихого Дона» М. А. Шолохова.

<sup>171</sup> Ошибка. Скорее всего, речь о П. Я. Громославском (1870–1939), тесте Шолохова, в чьи руки, по легенде, попал архив Ф. Д. Крюкова.

<sup>172</sup> Эйдельман Н. Я. (1930–1989) — историк, писатель, пушкинист. Автор книг о Герцене, декабристах, Карамзине.

Одно выступление замечательное — это Виктор Розов, два хороших — Билинкис<sup>173</sup> и Сергей Антонов<sup>174</sup>.

Розов спокоен и артистичен. Объявляется название Ниновым<sup>175</sup>: «О чем грустил Чехов?». Розов реагирует: «О чем грустил Чехов, о том грущу и я».

— С детства Чехов проникал в мою жизнь. Вначале фразами: «Суп из слоновой пасть», «Гороховый суп из фасоли». Очарование овладело нами, хотелось быть хорошими.

В 20-е годы увидел «Вишневый сад». Вышел потрясенный, перешел переулочек, уткнулся лбом и плакал у забора. Это была вершина блаженства...

Театр моет душу, она пачкается о жизнь и нуждается в очищении.

Чехов омывает меня. Он как бы выражает гармонию мира, спокойней от него становится на душе.

Чехов не мог дать позитивной программы, не был философом. И слава богу! У него был свободный ум. Славянофилы были умными людьми, но они были рабами идеи ограниченной и не смогли создать ничего толкового.

Чехов убивал в себе раба. Я тоже это пытался, это сложно, за это бьют по шее.

Что привнес Чехов? Скромность? Нет. Отвращение к фальши.

Вот любовь у Шекспира (читает).

Вот у Чехова:

— Это какое дерево?

— Вяз<sup>176</sup>.

Когда театр не знает, как ставить, он придумывает решение. Актеры бегают, кричат — это решение. А наполнить нечем.

В Италии смотрел «Три сестры», где не было Тузенбаха и играли пять артистов. Это тоже решение.

И все же этот милый Чехов заглянул туда, куда никто не заглядывал. Мы боимся: только бы не заглянуть, не увидеть, а тебя уже и несут. А он говорил: «Если хочешь стать оптимистом... вникай в жизнь».

И о том, как понимать пьесы. Комедия-драма. Это был спор двух гениальных людей — Чехова и Станиславского. Победил Станиславский. Иначе ставить Ч. никто не умеет. М. б. в будущем кто-то сумеет не так.

Понимание жизни воспитывает мужество. Устоять на ногах или встать на четвереньки — это зависит от тебя самого. Чехов учит крепче держаться на ногах.

Серг. Антонов. О собственном достоинстве людей — сквозная идея Чехова. Говорит, видел в Индии гравюру — Тамерлан держит ноги на Баязите<sup>177</sup>, а жена Баязита голой прислуживает царю. Баязит стоит на четвереньках как скамейка.

580 рассказов до Сахалина, 14 после...

Разбирает рассказ «Враги» — кто имеет право на горе.

...Очень интересен был Билинкис, который вроде бы не любил Чехова (раньше вызвал этим мое раздражение), но тут сказал очень высоко о «Чайке». Говорил о творческих типах Треплева (кризис, который трудно пережить), Тригорина, Аркадиной,

<sup>173</sup> Билинкис Я. С. (1926—2001) — литературовед, доктор филологических наук, преподавал в РГПУ им. Герцена в 1962—1998 годах. Автор работ о Л. Н. Толстом, об интерпретации русской классики в театре и кино.

<sup>174</sup> Антонов С. П. (1915—1995) — писатель, драматург, киносценарист.

<sup>175</sup> Нинов А. А. (1931—1998) — литературовед, доктор филологических наук, основные работы посвящены литературе советского периода, в 1991—1998 годах — главный редактор журнала «Всемирное слово».

<sup>176</sup> А. П. Чехов. «Чайка». Действие первое.

<sup>177</sup> Баязит I (ок. 1357—1403) — османский султан, правивший с 1389-го по 1402 год. В 1402 году Тамерлан разбил османскую армию и взял Баязита I в плен.

не помнящей самого благородного своего поступка. Это пьеса о сложностях человека в искусстве. Какой крест нести? Во что верить? Что же Заречная после?

**28.3.85.** Панченко<sup>178</sup> на вечере памяти Б. Томашевского<sup>179</sup> рассказывал, как Томашевский прочитал в черновиках Пушкина какую-то абракадабру:

Глупа, как ис...

Скучна как с...

Он выстроил весь словарь противоположностей и предложил:

Глупа как истина

Скучна как совершенство.

**8.4.85.** На вечере Андр. Битова

— Я ненавижу носителей и проповедников национальных идей. И когда писал «Уроки Армении», то сначала на полях рукописи пометил для себя, что ненавижу армян, евреев, русских — именно в смысле «носителей».

— Выходит книга «Статьи из романа». Пушкин был человеком с гениальным внутренним редактором. Удивительны его сокращения, умение вычеркивать.

— Домбровский<sup>180</sup> сказал, что у каждого писателя, как у каждого солдата, в ранце лежит маршальский жезл. У меня нет. У меня есть чувство юмора.

**15.8.85.** Яков Козловский<sup>181</sup>:

— Звонит Расул<sup>182</sup>, говорит грустно: «Понимаешь, в больнице лежу, моча не идет, аденома понимаешь!» Слышу, пьяный. Говорю: «Но ты же пьян!» — «Да, — говорит, выпил. Теперь, понимаешь, водка идет».

...Левитанский сказал: «Будем л-живы, не помрем» (надпись на доме творчества).

...Козловский смотрит на загар: «Марецкая<sup>183</sup> говорила: „Загораешь, а кому это нужно? Хорошо, если увидят два-три человека“».

...Сталин — Фадееву: «Вы пьете?» — «Да» — «И долго?» — «Две-три недели» — «А если вас партия попросит, в пять дней можете уложиться?».

**2.10.85.** Встретил Голубенского<sup>184</sup>, гуляя с Мочаловым<sup>185</sup> по Комарово. Оказалось, Мочалов был когда-то обруган Голубенским.

<sup>178</sup> Панченко А. М. (1937–2002) — литературовед, академик, автор историко-литературных фильмов и передач.

<sup>179</sup> Томашевский Б. В. (1900–1957) — литературовед, теоретик стиха, текстолог, пушкинист. Принадлежал к «формальной школе» (ОПОЯЗ), был близок с членами Московского лингвистического кружка. Автор книг «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения» (1925), «Теория литературы. Поэтика» (1925), «Писатель и книга. Очерк текстологии» (1928) и др.

<sup>180</sup> Домбровский Ю. О. (1909–1978) — прозаик и поэт, четырежды арестовывался, после освобождения жил в Алма-Ате и Москве. Основное произведение — роман «Факультет ненужных вещей» — при его жизни вышел во Франции на русском языке. Скончался в Москве после жестокого избития неизвестными.

<sup>181</sup> Козловский Я. А. (1921–2001) — поэт и переводчик Г. Цадасы, Р. Г. Гамзатова, К. Ш. Кулиева, И. Амихая. С его переводов многие тексты этих поэтов были переведены на другие языки мира.

<sup>182</sup> Гамзатов Р. Г. (1923–2003) — поэт, прозаик, переводчик.

<sup>183</sup> Марецкая В. П. (1906–1978) — актриса театра и кино, народная артистка СССР, исполнительница ролей в фильмах «Член правительства» (1939), «Сельская учительница» (1947), «Мать» (1955) и многих других.

<sup>184</sup> Голубенский Ю. Г. (1928–1983) — критик, сценарист, поэт, редактор. В 60-е годы выступал в газете «Смена» со статьями о молодой ленинградской поэзии, критиковал первые книги А. С. Кушнера и Л. В. Мочалова.

<sup>185</sup> Мочалов Л. В. (род. 1928) — поэт, искусствовед, автор многих книг стихов, а также книг и статей об изобразительном искусстве. В 70-е годы был куратором и идеологом группы художников

Лева стоял мрачный, глядел угрюмо. Голубенский стал оправдываться:

— Я просматриваю свои статьи и вижу, что писал по совести.

Лева буркнул:

— Совесть, как сказал про одного Лотман, бывает извилистая.

Голубенский хмыкнул и спросил:

— А ты продолжаешь, надеюсь, писать стихи?

— А ты думаешь, что ты меня убил своей статьей?

Замолчали.

— Надо идти, меня ждут, — сказал я, спасая ситуацию.

**11.8.86.** Комарово... Главная фигура, живущая в ВТО, — Саша Галин, человек аксеновской удачи и аксеновского — больше, возможно, — таланта. Любопытно, как удача изменяет даже скромного, милого человека. Появляется ощущение парения, внутренней свободы, то второе дыхание, которого может достигнуть не каждый бегущий.

Он вошел в Дом творчества из «дыры», прошел в щель забора, мимо грязного гаража, и омичи<sup>186</sup> сказали мне:

— К вам Блок.

Гуляем не часто — он пишет сценарий...

О событиях сегодняшней жизни сказал:

— В кино революция. А что же еще, если возобновляют отвергнутое (с ним возобновили отношения по отвергнутому сценарию). Возвращают режиссеров — Киру Муратову, молодого Сокурова, снимают фильмы с полки.

Читали его пьесы о проститутках «Звезды на утреннем небе». И опять удивление, потрясение, шок.

Главное, что написано не сейчас, два года назад, а теперь уже и Волчек, и Додин волнуются<sup>187</sup>. Так нужно жить, так думать — тогда победа прекрасна, она резко отличается от тех побед, которые мы числим «на время» вроде «Диктатуры совести» Шатрова или «Серебряной свадьбы» Мишарина<sup>188</sup>.

**13.8.86.** Вечером Саша Галин принес пьесу «Не любящих Моцарта — не предлагать»<sup>189</sup> и... потряс меня своим уровнем понимания... Десятки людей читали пьесу, их замечания — советы, его — иная конструкция... Эта пьеса для Гафта и Нееловой, для Ахеджаковой и Табакова, — так сказал он.

Удивительный он случай! За шуткой, острым гротеском — полусумасшедшие глаза, картавость под Корогодского<sup>190</sup>, — он играет роль еврея, — возникает силища мысли и истинное понимание драмы. Я еще ничего не соображу, а он что-то говорит, блуждает, матерится, и вдруг — резкая неожиданность.

— Ну почему у вас врач? Зачем он пришел? Случай? А в пьесе нужно новое качество, другое. Да, он пришел к ней потому что они давно живут вместе, она — его

«Одиннадцать» (В. Ватенин, Г. Егошин, З. Аршакуни и др.).

<sup>186</sup> «Комарово. Обычная скукота. Старики, старушки, пара милых людей из Омска — профессор Гуревич (Романов) Вячеслав и его жена Ирина Львовна» (запись от 11.08.86).

<sup>187</sup> Пьеса «Звезды на утреннем небе» была поставлена в Петербургском Малом драматическом театре (режиссер Л. А. Додин, 1987) и московском театре «Современник» (режиссер Г. Б. Волчек, 1989).

<sup>188</sup> Начало перестройки было отмечено постановками «Серебряной свадьбы» А. Н. Мишарина во МХТ им. Чехова (режиссер О. Н. Ефремов, 1985) и «Диктатуры совести» М. Ф. Шатрова на сцене московского Ленкома (режиссер М. А. Захаров, 1986).

<sup>189</sup> Пьеса отца так и не была поставлена.

<sup>190</sup> Корогодский З. Я. (1926—2004) — театральный режиссер и педагог, в 1962—1986 годах главный режиссер Ленинградского ТЮЗа.

любовница. Он достает ей больничный. На неделю. Она улетает в Таллинн, заказан билет на самолет. И она играет больную. Маленькая шутка. Ей недоплачивало государство, недодавало, а теперь и она не даст. Он просит сыграть ее болезнь. Позвонить в общежитие, сказать что-то, чтобы ее не искали — она уедет... Она идет на это. Розыгрыш. Он в восторге.

— Умница! Талант! Прекрасно сыграно!

А дальше что-то случается в общежитии. Она звонит мастеру, воспитателю... И у него дома не очень. Парень дурит. Жена — ну и х... с ней. Надоела. Парень шляется по общежитию, не занимается, гоняет пластинки. И у нее дочь дурит.

**2.9.86.** Дубулты. Опять Елизар Мальцев — человек живой, активный и интересный. Волнуется за сегодняшние события, боится, что Горбачеву не удержаться, будто бы он сказал, что пока бюрократический аппарат держит свои позиции, мы не можем сдвинуться ни на шаг. И что положение в стране настолько серьезно, что вопрос «кто-кого» стоит крайне остро. Елизар считает — этот год решающий, у Г. нет единства. Г. сказал: «Мы много спорим на Полибюро».

Говорили о Маркове<sup>191</sup>, как о человеке, который сыграл на съезде писателей большого — и выиграл все. Карпова<sup>192</sup> не уважает, считает, что тот подмят Марковым. Слаб. Не очень умен. Типичная середина... И трус. Снес роман Дудинцева<sup>193</sup> в ГБ — там его зарезали. Взял под защиту Иванова Анат.<sup>194</sup>, который требовал нового постановления по литературе, такого как «Постановление о журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

Да, еще о лидере: «Там очень надеются, что бюрократический аппарат у нас победит. И это опасность серьезнейшая». «Они сломали Хрущева — ломают и Вас».

Говорит о Лигачеве<sup>195</sup> как о лидере конфронтующем. Я не верю. Без второго не могло быть победы первого.

**6.9.86.** Бродил с Галиной Васильевной Дробот<sup>196</sup>. Впечатление милое, тоже сказала, что М. С. Г. говорил: «Идут письма, угрожают смертью». Тревога, что все намеченное скоро кончится, не проходит у каждого.

Из самого любопытного: роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», написанный около десяти лет назад, принят «Дружбой народов». Даст Бог, что это антисталинское произведение выйдет.

<sup>191</sup> Марков Г. М. (1911–1991) — прозаик, председатель правления Союза писателей СССР в 1977–1986 годах. Марков ушел со своего поста по состоянию здоровья, а не был смещен, как в том же году это случилось с председателем Союза кинематографистов СССР Л. А. Кулиджановым.

<sup>192</sup> Карпов В. В. (1922–2010) — писатель, фронтовик. Герой Советского Союза (1944), в 1986–1991 годах — первый секретарь правления Союза писателей СССР.

<sup>193</sup> Дудинцев В. Д. (1918–1998) — писатель. Два главных романа Дудинцева обозначили начало больших общественных перемен — «Не хлебом единым» (1956, оттепель) и «Белые одежды» (1987, перестройка). Особенно трудным было прохождение романа «Белые одежды», который вышел в свет через двадцать лет после завершения работы.

<sup>194</sup> Иванов А. С. (1928–1999) — писатель, автор книг «Тени исчезают в полдень» (1963) и «Вечный зов» (1970–1976), в которых, по его словам, он «поставил себе целью показать, как советская действительность очищает людей от скверны капиталистических пережитков». В 1972–1995 годах — главный редактор журнала «Молодая гвардия».

<sup>195</sup> Лигачев Е. К. (род. 1920) — государственный и партийный деятель, член Политбюро в 1985–1990 годах. В. А. Коротич, имея в виду его «старорежимность», назвал Лигачева «вымирающим динозавром».

<sup>196</sup> Дробот Г. В. (1917–2009) — писатель, журналист, лауреат премии им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя».

Итак, Дудинцев, Рыбаков, Бек<sup>197</sup> — три мощных кита, очень серьезный поворот во всей жизни.

**21.9.86.** Эти дни следим за поездкой Горбачева. Какие-то действительно обнадеживающие перемены, начинаешь верить, что он хочет демократии — остро, честно, резко, так что захватывает дух. Сегодня ожидают американский фильм «Бывшие» — об эмигрантах-евреях. Если не вырезали все — должно быть любопытно. И опять думаешь о словах Горбачева писателям: «Аппарат сломал шею Хрущеву, надеются, что аппарат сломает шею и мне. Но мы не допустим». Да, интересно стало жить, посмотрим — надолго ли и прочно ли это.

**28.2.87.** Из других московских событий — вечер Битова.

...Битов на вопрос о крестных отцах сказал, что их у него не было, но были «крестные братья». Мы, как ни странно, были почвенниками, а наши визави были тоньше, образованнее, их средой была Ахматова, а как важно быть в среде! Эти люди где-кто, но Бродский далече (Впрочем, имя не назвал, а дал понять). (Более поздняя приписка: «В июне 1987 года назвал Бродского в интервью в ЛГ, жизнь резко продвинулась вперед. И вдруг... получил орден к 50-летию».)

На вопрос о преодолении недостатков ответил, что это дело пустое. Это как писать план с понедельника, новую жизнь начинать... Вспоминал «Жизнь Арсеньева». А я не читал, это ужасно!

Было приятно, что он вспомнил Голландию<sup>198</sup>. Культура не уходит. Он заглянул в какое-то окошко обычной мещанской семьи и был поражен уровнем красоты.

— А нужно ли общаться с читателем?

— Думаю, не нужно. Вдруг читатель пишет или замуж хочет? Так чаще всего бывает.

О позитивной идее. Нет, она нас никуда не выведет, скорее — заведет. Выведет сама жизнь.

Говорил о гласности, сказал, что гласность — это человечность...

«Пушкин для меня целое, это единство судьбы и литературы. Союза „и“ нет для него. Человек и природа, тут противопоставление, а не соединение. А земной шар — это организм. У Пушкина не было „и“, он единство. Нация ему благодарна за секрет целостности».

О Бондареве<sup>199</sup>: «У него неудач не бывает. Это его основная неудача».

Роман — редкость. Русский роман — огромный поступок. Это «Чевенгур», «Петербург». «Отстрел темы» — лицензионное право на роман.

Заграничная поездка — это вид образования. Увидел девушку, которая рыдала в грузовике, рядом шофер, это в Испании — значит, тоже боль, жизнь. Это нужно видеть, понять.

**17.3.87.** Каждый день в Дубултах насыщен общением и работой. Двигаюсь. Самый интересный человек — Люда Разумовская, драматург удивительной, несравненной силы. Прочитал две пьесы и обалдел, — «Сад без земли» и «Майя». Первая — совершенство формы, почти классика, а вторая — мощная жизнь, точные характеры, огром-

<sup>197</sup> Речь о «Белых одеждах» В. Д. Дудинцева («Нева», 1987, № 1–2), «Новом назначении» А. Бека («Знамя», 1986, № 11–12), «Детях Арбата» А. Н. Рыбакова («Дружба народов», 1987, № 4–6).

<sup>198</sup> В поездке в Голландию они с отцом были вместе и даже жили в одном гостиничном номере.

<sup>199</sup> Бондарев Ю. В. (род. 1924) — писатель-фронтовик (воевал под Сталинградом). Автор романов «Батальоны просят огня» (1957), «Горячий снег» (1972) и др. Многие десятилетия его творчество свидетельствовало о приверженности соцреализму, художественной стилистике эпохи Г. Николаевой и Ф. Парфорова.

ная мысль. Сама Люда — человек с грустным протяженным взглядом, трагическая личность с несложившейся судьбой. «Был муж, но он не отец Даши. Я вышла замуж поздно и случайно». Сегодня опять какой-то слом, что-то рухнуло в Новосибирске, есть человек, которого она не любит, но он ее добивается.

Я чувствую переживаемый ею ужас одиночества.

Мы дружим, доверяем друг другу. У меня ощущение, что она — одна из самых серьезных писателей, которых я знал за литературные годы.

В ее пьесах удивительно схвачено время. Бог дал ей очень много, но и взял столько же — она несет глубокую боль и страдание.

— Я в бога не верю, — говорит ее герой.

— А ему все равно, — отвечает другой.

**18.3.87.** Вчера что-то у нее рухнуло. Собиралась в Новосибирск, где есть Васильев<sup>200</sup>, главный режиссер театра, ее поклонник, хотела с ним работать и играть. И вдруг... крах. Что-то не произошло. Подошла ко мне, в глазах слезы:

— А если дать объявление в газету «Сов. культура» — нужна квартира, буду работать в любом театре, кто бы не взял. Напечатают?

Я пожал плечами.

— Такого прецедента не было. Да и объявлений там не бывает, вы же видели газету.

Она сразу отошла.

Я сказал, что вам трудно соответствовать. Она удивилась: «Почему?». Я что-то объяснил. «Выйду замуж за ничтожного человека, он ждет». — «Зачем такое? Живите, если нужно, но — замуж? К чему это вам?»

Может, я что-то не понимаю в ней. Я просто ошарашен двумя ее пьесами. Когда я спросил об отце Даши, ее дочери, она сказала:

— Мой муж — не отец Даши. Я вышла поздно замуж. И быстро развелась.

Послезавтра она уезжает — Москва—Омск. А сегодня пришли сразу два письма из Новосибирска от Васильева. Интересно, как изменится настроение Люды.

**20.3.87.** Так и произошло. Но у Васильева в Новосибирске конфликт с театром, им некуда податься, негде жить. Хандрит, хотя уже иначе.

**8.6.87.** На дворе — литературная весна. Газеты остры и непривычно свободны. Пока люди растеряны, цензуры фактически нет, раздаются голоса протеста — это те, кто был у золотого мешка, всякие Михалковы, Бондаревы, их подпевалы.

Тревожно за перестройку, выдержал бы этот мальчик<sup>201</sup> — большой ему поклон от всех. Неужели может быть иначе, чем было?

**12.7.87.** Днем Гривнин<sup>202</sup> рассказал про Сталина. У него на даче были белки. Кто-то не закрыл дверцу в вольере и белки убежали. Утром Сталин вошел в вольер, чтобы их кормить. Падая от ужаса в обморок, служитель объявил о пропаже. Сталин сказал: «Вэрнуть!» — и ушел. Весь день страна ловила белок, утром они были в вольере.

<sup>200</sup> Васильев Г. Л. (1946–2014) — актер и режиссер. Работал в БДТ, Театре комедии им. Акимова, новосибирском театре «Старый дом» (в этом театре поставил пьесу Л. Разумовской «Под одной крышей»).

<sup>201</sup> Речь о М. С. Горбачеве, который был на несколько десятилетий младше своих предшественников на посту Генерального секретаря ЦК КПСС.

<sup>202</sup> Гривнин В. С. (1923–2014) — литературовед, переводчик, доктор филологических наук. Переводил К. Абэ, Р. Акутагаву, Я. Кавабату, К. Оэ.

**14.3.88.** Сергей Козлов<sup>203</sup> — детский писатель, жаловался, что его цветок — а он пишет сказки — в нынешней ситуации легко затопчут. Раньше, говорил он, была стена, цветок рос рядом, за стену нельзя, а цветку прекрасно. И вдруг — стена рухнула и все бросились по его цветку.

Это хорошо! Очень!

**5.4.88.** Смотрел пьесу Толстого Льва и вдруг остро почувствовал, как мне в эту секунду не хватает возможности позвонить Бурсову и спросить у него: «А Толстой, видимо, мучался, что не может сделать то, что мог Достоевский?» Впрочем, пьеса все же хороша и нервна. Смотрю с интересом. 2 серии. Поставил Михаил Козаков, играет А. Петренко. Любопытно!

**10.3.89.** Из выступления Наума Коржавина<sup>204</sup> в Союзе.

- Любовь к Сталину — это сублимация страха.
- Свобода слова — это свобода и глупого слова.
- Взяли Зимний, а теперь уже некому его отдавать.

**15.3.89.** Поддатый сын Самеда Вургун<sup>205</sup> — Вагиф<sup>206</sup> — затащил нас с Ботвинником к себе. Вагиф — музыкант — и жуткий алкаш. Рассказывал, как он сыграл Флиеру<sup>207</sup> «Аппассионату». Тот сказал:

- Вагиф, ты открыл новую эру в музыке.
- Какую эру? — огорченно спросил Вагиф.
- Черкесскую, — ответил Флиер.
- ...Светлов<sup>208</sup> на пляже пил пиво с Самедом.

Спрашивают:

- Самед, с чем ты пьешь пиво?
- Не с чем, а с кем, — сказал Светлов. — Он пьет пиво с копченым евреем.

**26.3.89.** Гуляю с Кановичем — он и Гриша, а чаще, Григорий Семенович, еврейский классик... Замечательная фраза раввина, которую тот ему сказал в Торонто, в Канаде:

— Григорий, помните, революцию делает Троцкий, а расплачивается за нее Бронштейн.

И еще:

Бабушка спрашивает своего сына, дядю Кановича.

- Шмуля, что за песню ты поешь?
- Это не песня, мама, это гимн.
- А что такое гимн?
- Это такая боевая песня.

<sup>203</sup> Козлов С. Г. (1939–2010) — писатель, поэт, сценарист, автор стихов для мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню» (1974), рассказа и сценария мультфильма «Ежик в тумане» (1975).

<sup>204</sup> Коржавин Н. М. (1925–2018) — поэт, литературовед, мемуарист. В 1947 году был арестован, в 1956-м реабилитирован, до эмиграции издал одну книгу — «Годы» (1963). С 1973 года — в эмиграции в США.

<sup>205</sup> Вургун С. (1906–1956) — поэт, драматург, общественный деятель, перевел на азербайджанский язык роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

<sup>206</sup> Самед оглу В. (1939–2015) — поэт, сценарист, драматург. Младший сын С. Вургун. Окончил музыкальную школу, а затем Бакинскую консерваторию.

<sup>207</sup> Флиер Я. В. (1912–1977) — пианист, педагог. Профессор Московской консерватории. Народный артист СССР.

<sup>208</sup> Светлов М. А. (1903–1964) — поэт, драматург.

Бабушка после паузы.

- Какой же в ней смысл?
- Вот хотя бы: «Кто был ничем, тот станет всем».
- Знаешь, что я тебе скажу, Шмуля, кто был никем, тот никем и останется.

**31.3.89.** Продолжаю бродить с Кановичем, который рассказывает иногда свои еврейские байки. Если у Искандера<sup>209</sup> — Сандро, то у Кановича — Шмуля, его дядя — портной, который стал чекистом, а затем снова портным. В 1936 году, в буржуазной Латвии, он решил ехать в Испанию.

— Мама, — сказал Шмуля, — я решил ехать в Испанию.

— Почему, Шмуля, ты решил ехать в Испанию? Все едут в Америку, кто хочет разбогатеть.

— Мама, я не хочу разбогатеть.

— Тогда зачем тебе ехать, если ты можешь не разбогатеть и здесь? Я понимаю, можно ехать, если ты после этого будешь лучше шить брюки.

...Когда Шмуля решил учиться на портного, то его учитель портной Мотл ему сказал:

— Первое, что нужно научиться, это ставить утюг.

— Подумаешь, — сказал Шмуля, — кладешь угля, раздуваешь и гладишь.

— Знай, Шмуля, что наша беда заключается в том, что мы всегда перекаляем утюг, когда гладим чужие брюки.

...Когда Шмуля-революционер решил жениться на христианке, за ним пришла полиция. Мама была счастлива:

— Что ты так медленно одеваешься, тебя ждут люди, Шмулечка!

...— Какое впечатление, Шмуля, на тебя произвел Ленин?

— У него был коротковатый пиджак.

**29.7.89.** Гуляю с Морисом Давыдовичем Симашко<sup>210</sup> — очень умен, исторически образован и неожиданен.

Из его шуток: «Охранка авторских прав», «Шарафкина контора» (писатели, пишущие за Шар. Рашидова<sup>211</sup>).

Любопытные факты: отец жены Кунаева<sup>212</sup> был колчаковский подполковник, судивший Сейфуллина<sup>213</sup>. У того в романе есть страницы об этом человеке. В последние годы царствования Кун. вышла книга Сейфуллина, где этих страниц не стало<sup>214</sup>.

Секретарь райкома, где родился подполковник, соорудил ему бюст. Вскоре он был переведен в Алма-Ату министром и награжден Героем.

<sup>209</sup> Искандер Ф. А. (1929–2016) — прозаик, поэт. Основное произведение — роман-эпопея «Сандро из Чегема».

<sup>210</sup> Симашко М. Д. (1924–2000) — писатель, автор исторических романов о Средней Азии. С 1999 года — в Тель-Авиве.

<sup>211</sup> Рашидов Ш. Р. (1917–1983) — партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана в 1959–1983 годах. Писатель, в 1979–1980 годах в Москве вышло его собрание сочинений в пяти томах. Прозу Рашидова критик В. Д. Оскоцкий назвал «бригадно сработанной по методу хлопковых приписок».

<sup>212</sup> Кунаев Д. А. (1912–1993) — партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана в 1960–1962 и 1964–1986 годах.

<sup>213</sup> Сейфуллин С. (1894–1939) — поэт и прозаик, государственный деятель. Председатель Совета Народных Комиссаров Казахстана с 1922-го по 1925 год. Научная и педагогическая работа, на которую он переходит, не уберегла его от ареста. Расстрелян в 1939 году.

<sup>214</sup> Имеется в виду книга: Сейфуллин С. В вагонах смерти атамана Анненкова (1927).

Кунаев — из крупных скототорговцев, жена татарка, сам полутатарин. Рашидов Ша-  
раф тоже из очень влиятельного татарского рода.

Из рассказа бакинского писателя, который сопровождал Брежнева как корреспон-  
дент ТАСС.

Охранник:

— Куда?

— Я из ТАСС. Я должен быть рядом. Вдруг Л. И. даст интервью.

— Ты что не видишь — какое от него интервью!?

**15.7.89.** Помню, как Дворецкий ругал «Калину красную» Шукшина. «Это след-  
ствие! Я должен понять, кто его довел до такой жизни!». И я купился, стал повторять  
эту глупость, а кончилось триумфом, полным моим посрамлением.

**30.7.89.** Сегодняшний разговор с Чаком<sup>215</sup> на пляже. Он — недавний воротила,  
член ЦК, лауреат стал. премии — ищет людей пообщаться, поговорить, благодарен  
за компанию.

Иногда из него вырываются перлы вроде того, что Сталин был сложная фигура,  
и не все было худо. От этого тошнит. И все же он любопытен.

Оказывается, он — внук крупного торговца, отец — врач. Однажды в 30 году его  
вызвали в райком узнать, что отец сделал плохого Сов. власти, если сын пишет, что  
отец — враг. «Ч» в слове «врач» было написано нечетко и могло читаться как «враг».  
Мать бывала на балах у губернатора, вела благотворительный киоск, знала много  
языков. К ним приходил городской на кухню, чтобы получить рюмку и огурец по слу-  
чаю праздника.

Оказывается, эти впечатления детства он переносит на нынешний духовный  
плебс, Беловых и Распутиных<sup>216</sup>. Говорит, что в доме не было еврейства, дед некреще-  
ный кантонист, но весь дух культуры был русским. И все же, когда хвалили его «Ли-  
тературку» (26 лет правил ею), он вздыхал и говорил, что его линия — умеренность,  
что ему не нравятся направления «Огонька» и «Моск. новостей», что он говорил  
журналистам, жаждущим крови: «Идите в „Огонек“, там вас поймут».

С пляжа он уходил, бросив лозунг:

— Если они (Белов и др.) против евреев и коммунистов, то я за евреев и коммунистов.

**8.3.90.** Сегодня общался с Кановичем. Чувствую очень доброе отношение к себе.  
Прочитал его статью: «Еврейская ромашка», гадание: ехать-не ехать. Так ехать ли? Он  
говорит: молодежи — ехать. И чем раньше, тем лучше.

И все же много противоречий в этом. Он верит, что еще нужно перетерпеть пол-  
года, год — это много. Он сказал: «Мы всегда мчимся впереди чужого оркестра». Да,  
это так! И в революцию, и в контрреволюцию.

Конечно, мы быстрее одумываемся, быстрее осознаем произошедшее, но это ли наше  
достоинство, если все уже произошло.

Удивительное время и обстоятельства. В Горбачева верим оба, как и весь мир.

Сегодня Беккер (госсекретарь США) сказал, что трудности у Горбачева большие, чем  
они ожидали. И, уж наверняка, чем видится нам.... Каждое движение, как он сказал Евту-  
ху, как через колючую проволоку. Правда, жить интересно, но бывает и страшно.

<sup>215</sup> А. Б. Чаковским (см. ссылку 22).

<sup>216</sup> В это время В. И. Белов и В. Г. Распутин становятся символом «патриотического направления» в рос-  
сийской прозе.

И что особенно тревожно — это нарастающий национализм и, боюсь, жажда крови.

**15.03.90.** Каждый день события — утром не знаешь, что даст вечер. И все же я один из немногих, кто не стремится уезжать, — хочу, очень хочу дожидаться здесь нормальной цивилизованной жизни...

По берегу хожу с Кановичем — он, пожалуй, здесь переживает время, пытается не проиграть партию, будучи депутатом. Влез не в свое дело — теперь расхлебывает, я уже не в первый раз слышу: «Нельзя бежать впереди чужого оркестра». Побежал, а дыхания не хватает.

**16.3.90.** Канович сегодня, обсуждая Литву, сказал:

— Маленький народ должен иметь долю страха.

Литовцы забыли, что перед ними — гигант. Задавит, сомнет в объятьях — и конец.

Канович говорит: «Концепция одна — ехать». Он считает, что именно это и есть концепция Горбачева, его политическая акция — разрешить конфликт.

**16.3.90.** Говорили о популярности. Кановичу рассказывал Паустовский, как в Одессу приехал артист Крючков<sup>217</sup>, очень популярный в те годы.

Он вышел из поезда и тут же увидел, как к нему стремительно движется еврейка.

— Извините, — сказала она, — что я лезу в вашу личную жизнь, но вы не товарищ Фильштейн?

Много говорил о Литве, о том, чем все кончится. Сказал:

— Ребенка нельзя зачать одному в постели.

Да, они решили, что можно и одному. Грядет трагедия...

Шутка:

— Хая — это Клара, а Хаим — Кларнет.

Канович:

— Моисей сорок лет выводил народ из пустыни, а нам ведь еще двадцать лет до пустыни.

Из беседы Кановича со своим учителем в шахматы:

— Гришя, запомни два правила. Первое — сразу выводил коней в люди, второе — не играй долго сам с собой...

Из рассказов Шмули:

У Шмули был друг, крещеный еврей. Он пошел вместе с ним купаться голым:

— Давид, — сказал Шмуля, — или сними крест, или одень штаны.

**30.4.90.** Я пятый день в Москве в «России». Первый съезд «Апреля» — съезд «совестливых писателей». Конечно, скукота, но и какие-то яркие прорывы, особенно — Коротич<sup>218</sup> и Травкин<sup>219</sup>.

<sup>217</sup> Крючков Н. А. (1911–1994) — актер театра и кино. Народный артист СССР. Сыграл более 120 ролей в кино.

<sup>218</sup> Коротич В. А. (род. 1936) — поэт, сценарист. Главный редактор журнала «Огонек» в 1986–1991 годах. В 1991–1998 годах — профессор Бостонского университета. В настоящее время руководит киевским изданием на русском языке «Бульвар Гордона», но прописан в Москве.

<sup>219</sup> Травкин Н. И. (род. 1946) — политический и государственный деятель. Депутат Государственной Думы нескольких созывов. Состоял одним из пяти сопредседателей межрегиональной депутатской группы (вместе с Б. Н. Ельциным).

Что касается «совести», то некто из выступающих сказал: «Давайте прибавим: „ум и честь нашей эпохи“». Как ни крути, а каждая партия повторяет предыдущую.

Коротич — ярок, точен, быстр. Привезли с «межрегионалки», сказал — ничего не движется, военно-промышленный комплекс невозможно осадить. «Такой журнал, в котором я работаю, может быть эффективен только в стране с неэффективным правительством, так как мы занимаемся тем, чем должно заниматься правительство...»

**8.8.90.** Семен Кирсанов<sup>220</sup>, у которого болел живот (он умер от рака) придумал палиндром, жалуясь Левитанскому:

— Какать?! А как?!

Левитанский мгновенно ответил:

— Мастер срет сам!

**18.8.90.** Г. Кипнис<sup>221</sup> — «Лит. газета» — рассказывает:

А. Сахаров приехал к Виктору Некрасову<sup>222</sup>:

— Нужно поговорить.

У того на столе мелки и грифельная доска. Он берет доску и пишет:

— Телефон Плюща<sup>223</sup> (это известный диссидент).

...Некрасов пишет: «Антисемитизм как индикатор на радиацию. Засветился „красный“ при прикосновении — беги без оглядки, яд, облучение, смерть»<sup>224</sup>.

**3.7.92.** Из баек Лиходеева<sup>225</sup>.

В Переделкино приехал восторженный молодой человек. Были Лакшин<sup>226</sup>, Твардовский, приехал и «вещал» Сартр<sup>227</sup>.

Молодой человек внимательно и восторженно слушал. Сартр не прерывался. И вдруг молодой человек обернулся к Лакшину и с недоумением сказал:

— А, знаете, Владимир Яковлевич, Сартр-то — дурак!

...Корней Чуковский на своей даче собирал детей на костер (выступали поэты, приезжал Утесов). Плата за вход (для детей) десять шишек (Вальцева<sup>228</sup>).

<sup>220</sup> Кирсанов С. И. (1906–1972) — поэт, один из последних футуристов, ученик В. В. Маяковского, исповедовал, по его выражению, «Хлебникова и словотворчество».

<sup>221</sup> Кипнис Г. И. (1923–1995) — журналист, писатель, переводчик, с 1956 года — собственный корреспондент, а затем заведующий корреспондентским пунктом «Литературной газеты» в Украине.

<sup>222</sup> Некрасов В. П. (1911–1987) — писатель. Автор повести «В окопах Сталинграда» (1947), положившей начало «лейтенантской прозе». С 1974 года — в эмиграции в Париже.

<sup>223</sup> Плющ Л. И. (1938–2015) — математик, участник правозащитного движения в СССР. В 1973 году по определению суда был направлен на принудительное лечение в психиатрической больнице. В результате активной поддержки (в том числе А. Д. Сахарова) в 1975 году был освобожден и вместе с семьей выехал из СССР во Францию.

<sup>224</sup> Источник цитаты не установлен. Возможно, эти слова были сказаны Г. И. Кипнису, с которым Некрасов был в дружеских отношениях.

<sup>225</sup> Лиходеев Л. И. (1921–1994) — прозаик, поэт, драматург. До поступления в Литературный институт жил в Сталино (Донецк), учился в одном классе с поэтом Ю. Д. Левитанским. Начиная с 1969 года писал роман-эпопею «Семейный календарь, или Жизнь без конца и без начала», в которой на примере четырех поколений одной семьи показал историю XX века.

<sup>226</sup> Лакшин В. Я. (1933–1993) — критик, литературовед, прозаик. В 60-е годы — первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ближайший соратник А. Т. Твардовского.

<sup>227</sup> Сартр Ж.-П. (1905–1980) — философ, прозаик, драматург. Лауреат Нобелевской премии 1964 года, от которой отказался.

<sup>228</sup> Вальцева А. В. (1915–2008) — писатель, вдова художника П. А. Валюса.

...Борис Рунин<sup>229</sup>, новый муж Арины Васильевны Ласкиной (вдовы Бориса)<sup>230</sup> у Меттера<sup>231</sup> общался еще в 40-е годы с Дьяконовым<sup>232</sup>, востоковедом (этот умнейший человек и на меня произвел впечатление огромное). Дьяконов в 40-е (!) обещал мучительный и долгий распад СССР. «Это будет длиться столетие — так распалась империя Ал. Македонского».

**11.7. 92.** Из окружения — Анна Александровна Саакянц<sup>233</sup>, моя соседка — очень милый, нежный человек с добрыми еврейскими глазами. Кроме нее, за столом Мих. Мих. Рошин<sup>234</sup>, замечательный драматург, но совершенная развалина — после инсульта.

Рошин рассказал, как его семилетний сын, прожив месяц в Париже, оказался в Шереметьево и там таможенник что-то спросил у матери. Мальчик воскликнул:

— Какое счастье, что вы умеете говорить по-русски.

...Из рассказов Гозенпуда Абрама Акимовича...<sup>235</sup>

Паустовский в Переделкино подвел Гозенпуда к даче Ермилова<sup>236</sup>, там было написано: «Злая собака» — а сверху — «и беспринципная».

Гозенпуда обижало, что во время «борьбы с космополитизмом» писали «гозенпуды» с маленькой буквы — и во множественном числе.

Г. цитирует Марка Твена: «Все, что я написал, укладывается в одну страницу — это азбука».

...Вчера встретил Катю Маркову<sup>237</sup> с дочкой. Она — дочь Георгия Маркова — партлитворотилы.

Оказывается, она ушла в религию, как и ее сын.

Таковы метаморфозы.

Из переделкинских баек.

Очередь в дамскую парикмахерскую. Врывается дама. Подходит к первой в очереди:

— Вы меня не пропустите?! Мне просто необходимо...

<sup>229</sup> Рунин Б. М. (1912–1994) — критик, чья жизнь (помимо прочих причин) была осложнена тем, что его родная сестра была замужем за сыном Л. Д. Троцкого С. Седовым.

<sup>230</sup> Ласкин Б. С. (1914–1983) — прозаик, драматург, киносценарист, двоюродный брат моего дедушки.

<sup>231</sup> Меттер И. М. (1909–1996) — писатель, сценарист. Автор многих книг повестей и рассказов, которые можно отнести к «чеховской школе». В конце жизни неожиданно получил мировую известность: его роман «Пятый угол» был переведен на семь языков и удостоен итальянской премии «Гринца-не Кавур» (1992). Помимо участия в деле Бродского, следует отметить его поведение во время программного собрания писателей, на котором разбирались «дело» Зошенко, — он (вместе с драматургом А. М. Володиным) аплодировал выступлению писателя.

<sup>232</sup> Дьяконов И. М. (1914–1999) — историк-востоковед, лингвист, специалист по шумерскому языку. Перевел «Эпос о Гильгамеше» (1961).

<sup>233</sup> Саакянц А. А. (1932–2002) — литературовед, биограф М. И. Цветаевой, редактор первого собрания сочинений Цветаевой в семи томах. По просьбе А. И. Солженицына занималась поисками газетных материалов для его «Красного колеса».

<sup>234</sup> Рошин М. М. (1933–2010) — прозаик, драматург, сценарист. Автор пьес «Радуга зимой», «Валентин и Валентина», «Старый новый год», романа о И. А. Бунине «Князь».

<sup>235</sup> Гозенпуд А. А. (1908–2004) — литературовед и музыковед. Доктор искусствоведения. Автор семитомной истории русского оперного театра. Жил в Киеве, Москве и Ленинграде—Петербурге.

<sup>236</sup> Ермилов В. В. (1904–1965) — литературовед. Редактор журнала «Молодая гвардия» в 1926–1929 годах, главный редактор журнала «Красная новь» в 1932–1938 годах, «Литературной газеты» в 1946–1950 годах. Автор монографий о Чехове, Достоевском, Гоголе, которые надолго определили официальную позицию по отношению к этим авторам.

<sup>237</sup> Маркова Е. Г. (род. 1946) — актриса, сценарист, писатель. Работала в театре «Современник», среди ее работ в кино — одна из главных ролей в фильме «Дела сердечные» А. Ибрагимова по сценарию В. Кунина и отца (1973). Дочь писателя Г. М. Маркова и жена артиста Г. Г. Тараторкина.

— А что случилось? — спрашивает удивленная и задерживаемая.  
 — Понимаете, мне позвонили, что у меня внезапно умер муж. Сейчас все придут соболезновать, а я не причесана.

...Адамович<sup>238</sup> сказал о Вите Райхеле<sup>239</sup>:

— Он же депутат Верховного Совета.

Сказал с уважением.

А ведь это действительно удивительная история!

...Познакомился с Лиснянской Инной Львовной<sup>240</sup>. У нее был приступ мерцательной<sup>241</sup>, позвали врача. Никого, кроме меня, не нашлось. Наутро, когда пришел снова, полчаса поговорили о литературе.

У нее вышла книга: «Музыка „Поэмы без героя“ Анны Ахматовой»<sup>242</sup>. Тираж растворился. Она говорит с иронией: «Кто знает „Поэму без героя“, тому не нужна Ахматова в заголовке, а кто не знает, — тому не нужно ни то, ни другое».

Идея: считается, что А. А. музыку поэмы позаимствовала у М. Кузмина. Но И. Л. считает, что тут больше от Цветаевой. На этом строится большой сюжет.

И. Л. — 64 года, она полужеврейка, полуармянка. Отец — еврей, но был записан русским. Она записалась еврейкой...

Семен Израилевич Липкин<sup>243</sup>, ее муж, в другом коттедже. Очень милый старик (лет 80), медлительный, после двух операций, — опухоль кишечника и аденома.

Был при смерти... Но И. Л. сказала — оперируйте, он выдержит. А врач сказал — один шанс из ста. Выдержал. Оклемался. Работает.

**12.9.92.** Читаю письма Н. Я. Мандельштам к Адриану Владимировичу Македонову<sup>244</sup> — старик замечательный и мне жалко, что я, гуляя с ним в Дубултах, не записывал многие разговоры.

Он — воинствующий борец с черносотенством. На съезде РСФСР он влез на сцену — маленький, в беретике, и ждал, когда какой-то дурак закончит свою галиматью. Потом

<sup>238</sup> Адамович А. М. (1927–1994) — писатель, сценарист, литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Партизаны» (1960–1963), «Хатынская повесть» (1971), документальной повести «Блокадная книга» (вместе с Д. А. Граниным) (1977–1981).

<sup>239</sup> Райхель В. А. (Радомысльский) (род. 1953) — по первой специальности — актер, в 1974 году окончил Театральный институт (руководитель курса И. П. Владимиров). С 1981 года рукоположен в сан дьякона в Свято-Духовском соборе Минска. С 1990-го по 1995 год — депутат Верховного Совета Республики Беларусь. С 2011 года — духовник братии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Петербурге. В 2012 году возведен в сан архимандрита. Знакомство с Райхелем-Радомысльским и его приемными родителями началось в 60–70-х годах, когда мы оказались соседями по дому на Большой Охте.

<sup>240</sup> Лиснянская И. Л. (1928–2014) — поэт, переводчик. Лауреат премии А. Солженицына («за прозрачную глубину стихотворного русского слова и многолетне явленную в нем поэзию сострадания», 1999), премии «Поэт» (2009).

<sup>241</sup> Мерцательная аритмия — нарушение нормального ритма сердца.

<sup>242</sup> Музыка «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. — М., 1991.

<sup>243</sup> Липкин С. И. (1911–2003) — поэт, прозаик, переводчик. Многие десятилетия был известен как переводчик с восточных языков (аккадский эпос «Поэма о Гильгамеше», калмыцкий эпос «Джангар»), время для его оригинальных произведений пришло только в 90-е годы.

<sup>244</sup> Македонов А. В. (1909–1994) — критик, историк литературы. В 1937 году арестован, восемь с половиной лет провел в Воркуте. После освобождения работал геологом, сдав экзамены на техника-геолога, а затем инженера-геолога. В 1954 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата геолого-минералогических наук. В 1965 году, вернувшись в Ленинград, защитил докторскую диссертацию по геологии. Параллельно написал книги «Очерки советской поэзии» (1960), книги о Заболотном (1968), Твардовском (1981).

заговорил с потрясающей силой о позоре антисемитизма, о Мандельштаме, который первый защитил русского крестьянина.

В письмах («Всемирное слово», 92, № 2) Н. Я. пишет ему, что жена Вишневского (ее родственница)<sup>245</sup>, когда уводили Мандельштама, спросила: «Почему Осип написал эти стихи? Он ведь получил квартиру. Разве царь давал писателям квартиры?».

Удивительно. Вот оно, рабское «совковое» сознание — ты — мне, я — тебе. И за все — благодарность. Сейчас здесь Иосиф Винокуров<sup>246</sup>. Он дает таксистам сотню, — 40 центов на его деньги, — а они готовы целовать за это руки.

**13.10.92.** Вдруг обнаружилось, что совершенно исчезли анекдоты. Были во все времена — Ильич, Брежнев, Хрущев, Горбачев, а теперь — ноль. Правда, вот Топоров<sup>247</sup> рассказал:

— Элегантный человек, интеллигент спрашивает любезно у продавца: «Простите, почем сыр?» — «Четыреста рублей» — «Будьте добры, взвесьте мне один грамм» — «Вы сумасшедший!» — «Если бы я был сумасшедший, — говорит интеллигент, — я бы попросил вас порезать».

**11.4.94.** В доме Семен Липкин и Асар Эппель<sup>248</sup>. С Семеном Израилевичем чуть поговорили о его выступлении по «Свободе» — он читает свою книгу, а Асар был рад встрече — выпустил книгу рассказов, обещал подарить. Много пишет и переводит, был очень рад сашкиной оценке (высокой) великого, расстрелянного немцами еврея, писателя уровня Кафки, книгу которого я случайно не привез сюда<sup>249</sup>.

**9.8.96.** Новый мэръ<sup>250</sup> сказал в Мариинском театре:

— На этой сцене танцевала знаменитая Петипа<sup>251</sup>.

Пришли, чтобы дать телеграмму, — 75 лет филармонии.

— Нам сейчас не до балалаек.

**30.12.96.** Пять лет, как умер Марк Пайкин<sup>252</sup>. Перед смертью он написал повесть, писал стихи, книги по онкологии. Лена<sup>253</sup> отдала повесть в «Юность» и там она лежала года два-три.

<sup>245</sup> Вишневская-Вишневецкая С. К. (1899—1962) — художница, сценарист. В 1916—1920 годах училась в Киевской художественной мастерской у А. А. Экстер. Первым браком была замужем за Е. Я. Хазиным, родным братом Н. Я. Мандельштам (следовательно, родство с этим семейством было некровным), третьим — за драматургом В. В. Вишневским.

<sup>246</sup> Винокуров И. Ш. (1928—2005) — журналист, вице-президент Американской ассоциации евреев из бывшего СССР, издатель и главный редактор газеты «Мир» (Филадельфия). Товарищ отца по ленинградской газете «Смена», с которой оба сотрудничали.

<sup>247</sup> Топоров В. Л. (1946—2013) — критик, переводчик.

<sup>248</sup> Эппель А. И. (1935—2012) — писатель, поэт, переводчик.

<sup>249</sup> Речь о книге: Шульц Бруно. Коричневые лавки. Санатория под Коепсидрой / Перевод А. Эппеля. — М., 1993.

<sup>250</sup> В. А. Яковлев, сменивший мэра Петербурга А. А. Собчака, стал именоваться губернатором.

<sup>251</sup> Дочь М. И. Петипа Мария (1857—1930) действительно танцевала на сцене Мариинского театра, но ее известность несравнима со славой отца.

<sup>252</sup> Пайкин М. Д. (1931—1991) — врач-терапевт, кандидат медицинских наук, автор книг по медицине и книги художественной прозы «Нет праведного ни одного» (СПб., 2002). Повесть «Станция Ерцево» впервые напечатана в журнале «Юность» (1996, № 12). Однокурсник и друг отца.

<sup>253</sup> Валдина Е. А. (род. 1933) — врач-онколог, доктор медицинских наук, жена М. Д. Пайкина.

Позавчера она в библиотеке открыла журнал № 12 и... вдруг увидела повесть напечатанной.

Как хорошо!

**11.3.97.** При жизни Юрия Трифонова<sup>254</sup> все им увлекались. Приехал старый писатель Катаев, выступал в Союзе. На вопрос о Трифонове он ответил:

— Неплохой писатель.

Это всех потрясло. Я был при этом.

**3.10.98.** Был вечер Володи Бахтина<sup>255</sup> — 75 лет. Слонимский Сергей<sup>256</sup> рассказал анекдот: «Еврей идет к раввину: „Что делать, ребе? Мой сын принял христианство“». — «Нужно посоветоваться с Богом». Возвращается: «Бог сказал, что у него такие же проблемы».

Предисловие, подготовка текста, комментарии  
**Александра ЛАСКИНА**

---

<sup>254</sup> Трифонов Ю. В. (1925–1981) — писатель, мастер «городской прозы», автор цикла «московских повестей» «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной».

<sup>255</sup> Бахтин В. С. (1923–2001) — фольклорист, историк литературы, критик.

<sup>256</sup> Слонимский С. М. (род. 1932) — композитор, народный артист России.



---

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

---

Вера ХАРЧЕНКО

## К ФИЛОСОФИИ ПОВСЕДНЕВНОГО

Мы с рождения привыкаем к тому, что есть высокое в жизни и есть каждодневное, бытовое, — величины едва ли не альтернативные. Однако и в повседневном нашем бытии существуют высокие, великие смыслы, обнаружить которые помогают многочисленные выписки из книг, на первый взгляд бесконечно далекие от заявленной темы, но при повторном чтении заставляющие задуматься и вновь возвращаться к ним еще и еще. Поделюсь некоторыми своими находками, но при этом попробую разделить столь широкое понятие, каковым является «повседневность», на его составляющие, в каждом из которых полужирным шрифтом выделяется нами как раз то, что относится к философии жизни.

### Трудоспособность

«Пока ее сестры ленились и скучали, Золушка в трудах и заботах **становилась сильнее**. Можно не сомневаться, что, даже став принцессой, она не будет грубой и заносчивой. Отсюда и мудрый вывод: хочешь быть королем — будь добр и честен, как истинный король. А мы сегодня поступаем наоборот. ...Но поэт Уильям Блейк сказал: „Тот, чье лицо не излучает света, никогда не станет звездой“. Ведь чтобы стать звез-

---

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного национального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). В журнале «Знамя» в 2006 году опубликовала статью «Русский язык: бедность или богатство?». Живет в Белгороде.

дой, надо нести свет. Трудолюбие Золушки — подсказка: трудись и все получится! Но вот трудиться-то мы и не хотим. Это ведь сложно!»<sup>1</sup>

У трудоспособности есть не очень заметная, но важная особенность: оно **нацелено на настоящее**. «Именно в нем, в настоящем, весь секрет. Уделишь ему должное внимание — сможешь улучшить его. А улучшишь нынешнее свое положение — сделаешь благоприятным и грядущее. Не заботься о будущем, живи настоящим...»<sup>2</sup> Есть и более сильные слова для претворения себя в настоящем: «Пуля находит такого в первом же бою, а то и без боя — будто для того они, пули, и отливаются, чтоб находить и поражать чье-то живое прошлое. А он был Зверь и умел жить только настоящим моментом. Поэтому ему и везло»<sup>3</sup>.

Почему мы обозначили секретом, казалось бы, очевидное? Да потому, что именно сегодня, именно сейчас трудиться нам совершенно не хочется. Как сказано в стихе Веры Павловой: «*Да нет, все ничего. / Обычная усталость — / усталость от того, / что и не начиналось, / что может быть и не... / А ты уже устала / лежать лицом к стене / под камнем одеяла*»<sup>4</sup>.

Преодолевать такую усталость можно, если обратиться к вещам, но не формально обратиться, а с душой, с любовью. Трудолюбие связано с любовью к вещам, но слово «любовь» здесь не самое уместное, поскольку примелькавшееся. Лучше сказать **благоговение перед вещью**. Приведем цитату, принося извинения за то, что она большая, но весьма и весьма, подчеркнем, значимая для нашей темы.

Но лучше я начну с признания: дело в том, что я очень люблю вещи.

Вы спросите: ну и что? Вещи любят все. Возможно, я не спорю. Но весь фокус в том, что все любят их по-разному.

Многие предпочитают новые вещи. Например, один мой знакомый признался, что не встречал ничего сексуальнее, чем новенький телефон «Айфон», который нужно нежно поглаживать кончиком пальца, а не давить на кнопки со всей дури. Он даже признался, что видит в своем телефоне образ Греты Гарбо и Мэрилин Монро. Другие же предпочитают нарочито старые вещи, третьи — исключительно надежные и прочные, которые смогут служить им не одно десятилетие.

Но я люблю вещи за то, что они помогают организовать быт человека — важнейшую сферу человеческой деятельности, к которой многие испытывают пренебрежительное отношение. То есть говорят: «Быт заел» — и всем все понятно. Или вот еще: «Любовная лодка разбилась о быт». И можно дальше ничего уже не объяснять, как будто наш быт — это такая скала, вечная и несокрушимая, с которой ничего уже не сделаешь.

Да нет, все это не так. Быт — это ведь производное от слова «бытие», то есть это как бы вторая сторона медали под названием «жизнь», а жить, как вы понимаете, надо уметь. Неуклюжий, бездарный и примитивный быт делает всю вашу жизнь невыносимой, и поэтому нужно научиться извлекать из быта максимальное наслаждение и пользу. И для начала нужно научиться любить окружающие вас вещи, ну хотя бы за то, что они у вас есть»<sup>5</sup>.

Какие замечательные слова! Действительно, в слове «трудоспособность» мы ставим акцент на первом корне *труд-*, тогда как надо было бы больше внимания уделить способности любить, *люблю...*

<sup>1</sup> Кутерницкая Екатерина. Золушка и ее сказка // Нева, 2009, № 7. С. 188.

<sup>2</sup> Коэльо Пауло. Алхимик. Пер. с португ. — К.: София; М.: ИД «София», 2003. С. 145.

<sup>3</sup> Забужко Оксана. Музей заброшенных секретов // Новый мир, 2011, № 7. С. 30.

<sup>4</sup> Павлова Вера. Избранное. — М.: Э, 2018.

<sup>5</sup> Тихомиров Владимир. Азбука быта. — М.: Изд. дом «Огонек»; Терра — Книжный клуб, 2008. С. 2.

Подушки белели, как снег... Одеяла шелковые, стеганные... Трудилась с любовью, с неутомимым прилежанием, скромно награждая себя мыслью, что халат и одеяла будут облекать, греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича <...> Полноте работать, устанете! — унимал он ее. — Бог труды любит! — отвечала она, не отводя глаз и рук от работы (И. Гончаров. Обломов).

Возраст, старение, недомогание — все это легко устраняется, если мы ориентируемся на персонажей: на супругу Ильи Ильича Агафью из романа «Обломов» или, современный вариант, на бабу Лену из романа Дины Рубиной.

Дом держался на бесценной бабке. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушки. Тут же разводилась в ведре побелка, и баба Лена сама, подоткнув юбку, раскорячившись, взбиралась на табурет и скоренько белила потолок в прихожке. Бывало, именно в такой горячий момент в переулке раздавался тягучий, как зов муэдзина, рев керосинщика в жестяной рупор, а через минуту въезжала машина с углем, которым топили голландку, обогревающую и эту, и другую половины дома. Баба Лена успевала все: и за керосином сбегать, и скомандовать — куда уголь сгрузить, и поругаться с шофером, и перекинуться новостями с керосинщиком... Жизнь ее кипела и бурлила, как вываренное белье в баке<sup>6</sup>.

Экхарт Толле писал: «То, что вы делаете, вторично. То, как вы это делаете, первично»<sup>7</sup>.

Рассмотрим, казалось бы, самое простое занятие. **Почитать ребенку вслух** на ночь, перед сном. Занятие действительно легкое, но требующее, однако, терпения, причем аромат этого занятия остается надолго. «Слова завораживали меня. В самом раннем детстве, когда мама читала нам на ночь стихи Пушкина и Маршака, а папа — „Без семьи“ Гектора Мало, меня увлекал не столько даже сюжет, сколько музыка слов, мелодия выражений. Это был будто бы отдельный мир, в котором разные слова имели свое предназначение и свой вес»<sup>8</sup>. «Слово „литература“ не всегда пишется с большой буквы, но большая буква всегда подразумевается»<sup>9</sup>. Сейчас это особенно важно потому, что по мере взросления ребенка, совсем скоро книга будет неизбежно удаляться из его жизни.

Расскажем про один спор. Некоторые заявляют, что лучше читать глазами, то есть тихо, про себя. А Я. Ливергант не согласен: «Мне кажется, что чтение текста вслух помогает воспринять его положительно, чем он есть на самом деле...»<sup>10</sup> Получается, что, читая вслух, мы учим дитя доброте. И учимся сами. «Только писатель может заставить реальность повернуться значимой своей стороной», — считает Дина Рубина<sup>11</sup>.

Трудоспособность — это прежде всего **руки**. И сейчас надвигается существенная для общества потеря — потеря рук, их пластики, гибкости, богатства движений. Вчитаемся в высказывание одной современной писательницы: «А откуда берутся де-

<sup>6</sup> Рубина Дина. На солнечной стороне улицы: Роман. — М.: Эксмо, 2007 С. 45.

<sup>7</sup> Скотт Дженнифер. Уроки мадам Шик. 20 секретов стиля, которые я узнала, пока жила в Париже. Пер. с англ. — М.: Эксмо, 2014. С. 311.

<sup>8</sup> Подрабинек Александр. Диссиденты // Знамя, 2013, № 11. С. 106.

<sup>9</sup> Каралис Дмитрий. Принцип реванша. Из электронных дневников и рабочих тетрадей 2004—2005 гг. // Нева, 2008, № 12. С. 58.

<sup>10</sup> Иностранная литература, 2010, № 12. С. 213.

<sup>11</sup> Рубина Дина. Под знаком карнавала: Роман, эссе, интервью. — Екатеринбург: У-Фактория, 2001. С. 433.

ревянные руки?! А оттуда! Из детства, в котором ты уже не вышивала крестиком, не лепила из пластилина, не играла на пианино...»<sup>12</sup> Добавим к этому перечню, что компьютерные клавиши почти заменили перо. Каковы последствия, можно ли этому противостоять?

Портних там не было, и одной моей знакомой Елена Александровна — на руках! — взялась сшить зимнее пальто. И сшила! Невероятно изящное и в то же время теплое<sup>13</sup>.

Руки, пальцы... а пальцы — это наш мозг, движение пальцев — развитие мозга.

В любом случае **идеалы — это не дар, это труд**, как и все самое важное на свете. Если это семья, жена, дети, любовь, родители, родина — они требуют труда постоянно. Не разового вложения — вот, ребенка родил, и вот он у меня теперь есть, — а они требуют постоянного, ежедневного труда, ты с этими идеалами все время возишься: вытираешь ему нос, расчесываешь ему волосы, зарабатываешь ему на хлеб. Это и есть работа с идеалами<sup>14</sup>.

### Ухоженность

«Всего сто километров от Зеленогорска, а лес — ухоженный, телеграфные столбы стоят по вертикали, заборы не падают, мусора не видно. Нет ничейной земли — она вся финская, общая, родная для них. У нас тоже родная, но — ничья»<sup>15</sup>. Положим, это к будущему нашему, а что сейчас? Ухоженность быта распространяется буквально на всё. Например, на приготовление пищи.

Отца трудно было заставить врасплох. Могло не быть денег перед пенсией, но закусок хватало. Он творил огненные харчо из бараньих костей и прохладные лобио из фасоли и тертого грецкого ореха, тыквенные каши с пшенкой и шкварками. Из чечевицы готовил коричнево-золотистую похлебку с копченостями и огоньками моркови. А маринованная корюшка в мае с кольцами лука, перцем и морковкой! Или теплый, поджаренный кусок хлеба с холодными шляпками черных груздей на нем!<sup>16</sup>

Особые чувства вызывает приготовление к праздничному застолью.

Все делала неспешно, без суеты. Купили ладожских сигов, нашей золотой форели, семги и все сами засолили. Загодя приготовила утку в медовом соусе, зайчатину в красном вине и гранатовом соке, брусничкой приправленную, телятину двух родов — одну в вишневом с миндалем, другую в черничном соусе. Расстегаи с лососиной, капустой и антоновскими яблоками<sup>17</sup>.

Важно знать и некоторые, в чем-то смешные детали приготовления блюда, например: счет.

<sup>12</sup> Соломатина Татьяна. Роддом, или Неотложное состояние. Кадры 48–61. — М.: Изд-во АСТ, 2016. С. 204.

<sup>13</sup> Титова Клара. От судьбы не уйдешь. Из автобиографической прозы // Новый мир, 2008, № 1. С. 100.

<sup>14</sup> Прилепин Захар. «Идеалы — это не дар, это труд...» // Русский мир, 2018, № 4. С. 28–29.

<sup>15</sup> Каралис Дмитрий. Указ.соч. С. 86.

<sup>16</sup> Там же. С. 35–36.

<sup>17</sup> Михайлова Елена. Пожар: Повесть // Звезда, 2007, № 10. С. 126.

Моя мать всегда считала вслух, сколько раз она выбивает тесто о столешницу. Чтобы тесто получилось, нужно не меньше семидесяти ударов и шлепков. Ты бей, а ты, Нелли, будешь считать...» А потом он ел тот первый за двадцать лет яблочный штрудель и плакал...<sup>18</sup>

Такое творческое отношение к рядовому быту надолго врезается в сознание, качественно приготовленное блюдо хорошо помнится, и это срабатывает как награда.

Все же обед получился и разнообразный и тонкий. Сушеное мясо, крутые яйца, жареные мохоррас, воробьи и ильгуэрос — все это явилось изысканной трапезой, память о которой осталась надолго<sup>19</sup>.

Эта ухоженность распространяется, повторим и подчеркнем, **на любое действие**. «Мы так много хотим, а жизнь коротка и непредсказуема. Мой комбат требовал землянку всегда строить в три наката. „Не важно, сколько мы тут пробудем. Может, завтра уйдем, все равно — строить в три наката“. То есть жить надо надолго»<sup>20</sup>.

В русском языке нет даже точного слова: мы не говорим «творчество», а используем английское, очень бледное и рационализированное понятие «креативность». Так вот Андрей наполнен до краев творческой энергией, креативность — его основное качество. И потому все, что он делает, — готовит еду, ест, пьет, смотрит в окно, стирает рубашку, чинит велосипед, играет с ребенком — является творческим актом. Полная укорененность в данном мгновении уравнивает действия бытовые и профессиональные. Необходимость написать вот эту картину совершенно равна необходимости наскоро, к обеду вырезать еще одну деревянную ложку, потому что людей за столом в мастерской оказалось больше, чем ложек на столе<sup>21</sup>.

Когда речь заходит об ухоженности, мы направляем свое внимание на сегодняшний день, как и в отношении трудоспособности: сделать здесь и сейчас! Повторим и подчеркнем: а ведь это непросто — отрешиться от будущего, которое не такое, как мы себе представляем, и от прошлого, которого, как ни крути, не вернуть.

«...У человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту»<sup>22</sup>. Не верится, но ведь так! Почему роман Пауло Коэльо «Алхимик» и пользуется такой известностью.

Героиня рассказа А. Боссарт «Пенсионерка» обожала «тряпки, знала все секонд-хэнды Москвы, Питера, Поволжья и Парижа и слыла маяком стиля на всех тусовках. Руками могла смастерить все — от юбки до пальто, от колье (провода, морские стекляшки, ракушки, перышки, пуговички) до светильника, от тряпичной куклы до садовой скульптуры, от стула до антикварного буфета из найденных на помойке фрагментов. Умела разобрать и собрать двигатель, починить часы, унитаз, проводку. Построить дом. Ее дачу с витражами и самодельной мебелью — мореный сруб под зеленой черепицей в зарослях сирени, жасмина, жимолости и шиповника — снимали для всех дизайнерских журналов»<sup>23</sup>.

Как видим, ухоженность касается **самых обычных вещей**. «Так устроена жизнь — кто же еще проследит, чтобы манная каша была без комков, складки в промежности

<sup>18</sup> Шаманаева Ирина. Улица пирамидальных тополей: Цикл рассказов // Звезда, 2007, № 12. С. 19.

<sup>19</sup> Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан // Собрание сочинений в 12 т. Т. 8. — М.: ГИХЛ, 1957. С. 203.

<sup>20</sup> Гранин Даниил. Заговор // Звезда, 2012, № 1. С. 32.

<sup>21</sup> Улицкая Людмила. Священный мусор. <http://www.rulit.me/books/svyashchennyj-musor-sbornik-read-266757-1.html>

<sup>22</sup> Коэльо П. Указ. соч. С. 44.

<sup>23</sup> Боссарт А. Пенсионерка. Рассказ // Нева, 2007, № 3. С. 145.

младенца присыпаны атласным тальком, крахмальное белье помогало утюгу скользить без сцепления, а рыхлая земля не мешала дышать цветам. Швейная машинка монотонно стрекочет — под пальцами то шелк, то кожа, холодные спицы ряд за рядом достраивают спинку колючего свитера, тесто упруго возвращает усилие кулакам, и блестят вымытые стекла. Это счастье — лепить действительность, дарить жизнь несуществующим вещам, осознать явленное»<sup>24</sup>.

Ухоженность тонкими нитями связана с душой человека. «А когда Мераб рассказывал, что эти терракотовые шторы искал целый год и ничего другого не вешал — я поняла, что таков принцип — ничего случайного не заносить в дом, **не покупать наспех**»<sup>25</sup>. А ведь речь идет о философе, грузинском Сократе, Мерабе Мамардашвили.

## Время

Вчитаемся в незатейливый отрывок из дневника писателя:

22 января 2014 г. Девятый час вечера, регистрацию рейса на Гоа отложили на два часа. Я люблю время в аэропорту: уже не дома, но еще и не на месте — срединное личное время. Все мелочи быта ушли, ты сосредоточен на себе. Если из практического самоанализа, то есть о себе, то постоянно ощущаю себя в другом времени. Эпоха закончилась, человек исчезнувшего мира оказался в будущем. Я еще в этом будущем ориентируюсь, кое-что понимаю, но все равно я здесь чужой, приспособившийся. Это общее впечатление, слепок ощущений<sup>26</sup>.

А ведь хорошо сказано: **особое время**, а мы-то его чувствуем, эту особость, отдельность его? А вот из другой книги, но почти о том же:

На следующий день она улетела в Москву. Нора, как мало кто, любила длинные перелеты, когда оказываешься нигде, в отвлеченном пространстве и в шатком времени, когда кончаются разом все обязательства, обещания, все отложено, телефонные звонки, почта, просьбы, предложения и жалобы не доходят, а ты висишь, летишь, паришь между небом и землей, между землей и луной, между землей и солнцем, выпадаешь из привычной системы координат. Летишь...<sup>27</sup>

Повседневное не значит простое или примитивное. В понимании времени есть диалектические напутствия. «Сказал: не живи моментом, планируй. **Но в рамках плана всегда руководствуйся моментом**»<sup>28</sup>. Хороший совет! А вот из той же книги приведем узнаваемый жизненный парадокс: «Жизнь имеет две взаимоисключающие тенденции: **очень долго тянуться и слишком быстро проходить**. Нет, конечно же, еще не прошла. Время, так сказать, зрелых свершений. Но осталось-то меньше пройденного. Или столько же — если вы из рода потомственных долгожителей. Или — как карта ляжет»<sup>29</sup>.

Привычка к ускорению времени не должна становиться всеохватной.

<sup>24</sup> Василькова Ирина. Садовница: Повесть // Новый мир, 2007, № 7. С. 49.

<sup>25</sup> Рязанцева Наталья. Адреса и даты // Знамя, 2011, № 11. С. 50.

<sup>26</sup> Есин Сергей. Дневник 2014 года. [http://lit.lib.ru/e/esin\\_s\\_n/text\\_02113.shtml](http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_02113.shtml)

<sup>27</sup> Улицкая Людмила. Лестница Якова: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. С. 684.

<sup>28</sup> Соломатина Татьяна. Роддом, или Неотложное состояние. Кадры 48—61. — М.: Изд-во АСТ, 2016. С. 316.

<sup>29</sup> Там же. С. 85.

Нам всегда было интересно друг с другом, супружеской скуки мы не знали. При всяких новых впечатлениях, при радости, при страдании, при новых мыслях, при творческих попытках — первое желание: рассказать, написать тебе. Я так врос в это, что — смешно сказать — за долгие годы разлуки до сих пор не отвык от этого. И теперь еще нередко должен побороть первую мысль, первое желание — поделиться с тобой. Это не только важное содержание брака, это — его сущность, его драгоценность, его гордость<sup>30</sup>.

Время подчас требует некоторого **замедления**. Помогают замедлить его строки из песен, из дневников. Читаем: «13 декабря 1886 г. Дерево раскрывает свои ветви, оно все в крыльях — сверху донизу, — и сразу же мы видим это чудо, это дерево!» Более ста лет назад сказано, а мы и не замечали, что... «Окно на улице стоит любого театра (3 января 1908 г.)»<sup>31</sup>.

Находить время можно, оказывается, внутри времени. Старые люди это умели делать.

Марья — милая старая ворчунья, разговаривающая большей частью с неодушевленными предметами: с плитой, с самоваром, с лампой, с печкой, половой щеткой и т. д. Картинка из жизни. Происходит следующий монолог: Марья (нежно-ласково и сострадающим тоном): «Беденькая! Чего не горишь? О Господи! Фитиль-то, фитиль у тебя короткий! Что же делать-то? А? Милая ты моя! Ну, ничего, я схожу — куплю тебе новый фитиль, — и будешь ты гореть, — хорошо гореть!»<sup>32</sup>

Как говорил Ральф Уолдо Эмерсон: «Жизнь — это путешествие, а не пункт назначения!»<sup>33</sup> Так что иногда можно сбавить скорость?

## Пространство

Наше пространство — пространство воздаяния по заслугам. А тишина? Она-то как раз и требует соблюдения некоторого отторжения: не учета, не признания. Воздаяние асимметрично, и мы вынуждены помнить про эту асимметрию, не ожидая возвращения сделанного добра сегодня, сейчас, сию минуту.

Хотя категория пространства для изучения считается более легкой, нежели категория времени, тем не менее необходимо помнить и о том, что освоение пространства должно идти вторым этапом, должно проходить после его тщательного изучения, исследования. Мы же многие годы мыслили наоборот: освоение пространства трактовалось как гимн усилиям человека, залог человеческого права, тогда как изучение? Но оказывается, эти процессы нельзя, не следует менять местами.

В России есть уникальный заповедник Печоро-Ильчский, расположенный в окружении тайги. Эти древнейшие леса стали моделью изучения конструкции леса. Что же было выявлено? Во-первых, была выявлена необходимость разнообразия пород деревьев: не только кедр, сосна, елка зеленая, но также береза и тополь, черемуха и липа, клен и осина, ольха и орех... Во-вторых, было выявлено возрастное разнообразие, разнорост деревьев. Лес живет по своему графику: одни деревья умирают рано, другие гораздо позднее. «Новорожденное» деревце соседствует с великаном-старцем. Дерево в лесу должно прожить столько лет, сколько ему положено. Однако и мертвое,

<sup>30</sup> Улицкая Людмила. Указ. соч. С. 684.

<sup>31</sup> Ренар Жюль. Дневник. — М.: ГИХЛ, 1965. С. 189, 453.

<sup>32</sup> Улицкая Людмила. Указ. соч. С. 143.

<sup>33</sup> Скотт Дженнифер. Уроки мадам Шик. 20 секретов стиля, которые я узнала, пока жила в Париже. Пер. с англ. — М.: Эксмо, 2014. С. 294.

оно приносит пользу. Под ним образуется «логово» дождевых червей, кора перерабатывается и т. д. В итоге мы получаем... «северный чернозем».

Оказывается, лесу нужна наша помощь. На Валааме 60 % всех лесных насаждений — «спелые» или «перестойные» деревья, тоже проблема! Нужно корчевать, подсаживать молодняк. У нас в пространстве, таким образом, бытует не одно-единственное разнообразие, а, как минимум, два.

В свете сказанного в плане осмысления пространства еще кое-что можно учесть.

Во-первых, нужно учесть утрачивающееся требование **энциклопедизма знаний**. Привычное и однообразное пространство может заключать в себе и заключает массу интереснейших сведений, которые в век компьютеризации могут оказаться невостребованными. Выпишем несколько выразительных свидетельств из романа «Пятнадцатилетний капитан».

Однако потому, что море было таким пустынным, оно особенно привлекало к себе внимание. Однообразное на взгляд поверхностного наблюдателя, оно представляется настоящим морякам, людям, которые умеют видеть и угадывать, бесконечно разнообразным. Неуловимая его изменчивость восхищает людей, обладающих воображением и чувствующим поэзию океана... Нужно было быть Паганелем, ученым-энтузиастом, чтобы замечать нечто там, где ничего не было приметного, и любоваться мелочами такой дороги. Что же радовало его здесь?.. Паганель, оказавшийся среди цветов, тотчас же превратился в ботаника и начал называть все разновидности растений и, верный своему пристрастию все подкреплять цифрами, заявил, что австралийская флора состоит из четырех тысяч двухсот видов различных растений, принадлежащих к ста двадцати семействам<sup>34</sup>.

Скажем так: для энциклопедизма нужно многое знать, даже не просто знать, а живо помнить, делиться с этим.

Во-вторых, наше восприятие пространства подчиняется наметившемуся в обществе **процессу ювенилизации**. «Космический прорыв 1960-х годов воспитал самое образованное поколение в истории государства»<sup>35</sup>. Но этому поколению не повезло. Не повезло в том плане, что в обществе распространилась ювенилизация. Мы приближаемся к весьма сложной задаче. Известно, что на Кавказе культ старшинства сохранен, тогда как в нашем совокупном пространстве сейчас наблюдается ювенилизация общества. Ставка на молодых, на молодежь может быть расценена не только как стремление сберечь молодые кадры для своей страны, но и как «зачеркивание» тех, кому уже за 35. Белое — черное, черное — белое? Как смягчить это противопоставление, возрастную дискриминацию? Для начала надо хотя бы знать об этом. Наше пространство принадлежит всем, не только молодежи. Здесь масса проблем: не просто пригласить старого человека, но, пригласив, суметь расспросить его о том, что не очень-то отражено в книгах, что ведомо во всех подробностях именно ему.

В-третьих, имеет место не всегда заметное возникновение **новых пространств**. «Где же искать пространство, в котором мы можем биться с собой и злом в себе? / Это пространство — ре-миры: миры, переворачивающие нас, водоворотящие наши сущности, предъявляющие нам нас самих — в зеркалах рефлексий, в гримасах и пародиях релаксаций, в муках ремиссий, в религиозных восторгах, в медитативных релаксациях, в глубинах и безднах ретроспекций — мы, выпадая из действительности (гораздо чаще, чем нам самим кажется), впадаем в ре-миры и там, только там вступаем в поединок с собой, преодолеваем себя либо — безнадежно гаснем, погружаясь в мерзость охва-

<sup>34</sup> Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан // Собрание сочинений в 12 т. Т. 8. — М.: ГИХЛ, 1957. С. 133, 213, 315.

<sup>35</sup> Переслегин Сергей. В колыбели. Космос как возможность спасения // Нева, 2011, № 4. С. 143.

тившего и поработившего нас зла»<sup>36</sup>. В плане ре-пространств мы катастрофически отстали от других стран, но здесь есть куда двигаться и куда стремиться.

В-четвертых, планировать измененное, новое пространство в свое время было **методом врачевания**, когда ничем остальным доктор помочь уже не мог. «Видала ли ты, как себя ведет умный врач, когда его зовут к умирающему? Совсем не верят в его науку, а веруют только в его знахарство, научное знахарство. Публика особенно любит поэтому врачей с причудами. Умный врач дает массу мелких распоряжений. Кровать переставить, положить сюда головой, накрыть другим одеялом, вынести часы из комнаты и много иного. Окружающие озабочены делами. Мало-помалу доктор делает свое главное дело: поднимает упавшее настроение больного и окружающих и убеждается, что он совершенно бессилен»<sup>37</sup>.

В-пятых, себя можно **испытывать пространством** — только не компьютерным, а настоящим. «За два года, с декабря 1928 по октябрь 1931-го, Глеб Травин совершил переход на велосипеде вокруг Советского Союза, пройдя расстояние, равное двум экваторам»<sup>38</sup>. А замечательный педагог, исследователь пространств Анатолий Маркович Цирульников не случайно пишет. «Зачем я еду на Ледовитый? А я и сам не знаю. Тянуло что-то. Без этой необъяснимой тяги человека к неизведанному путешествие не обходится»<sup>39</sup>. Сейчас на такое способен еще и писатель Василий Голованов. Именно он ставит вопрос о пространстве как испытании. Современного человека пространством не удивишь: Интернет заведет куда угодно. Но ведь речь-то идет о настоящем путешествии и настоящем пространстве (оно дальше, огромное, опасное!). Преодоление его, общение с ним открывает в тебе нечто особенное.

Несведущему же скажу, что в ходьбе по тундре, несомненно, открывается одна из сторон бесконечности, ибо нет конца шагам, упорно отстригающим от пространства метр за метром — пространства больше, чем возможных шагов, чем сил у человека, и человек должен со смирением это понять, иначе пространство обманет его, заманит к себе и убьет<sup>40</sup>.

Какой вывод можно сделать из сказанного? Вспоминается афоризм из эстрадной песни Вольва Бирмана: «Лишь тот, кто меняется, верен себе». Мысль, однако, не совсем ясная. Понятнее, прозрачнее, проще сказал по этому поводу У. Черчилль: «Становиться лучшим — это меняться, а быть совершенным — это постоянно меняться»<sup>41</sup>. Забавно, не правда ли? Мы меняемся и тем самым меняем пространство для себя и окружающих, даруем им и себе новое пространство.

Иногда небольшое изменение пространства может служить толчком для создания гениальной вещи. Известный рассказ Бунина «Легкое дыхание» был задуман во время прогулки... по кладбищу. «История про гимназистку Олю Мещерскую, застреленную на вокзальном перроне казачьим офицером, была придумана во время прогулки по старому кладбищу острова Капри, когда на одном из надгробий писатель увидел портрет жизнерадостной девушки. Он вывел в рассказе тот женский тип, который всегда его интересовал — загадочный, манящий, подчиняющий мужчин и заставляющий

<sup>36</sup> Левинтов Александр. Современные ре-миры как отражение постиндустриального общества // Знание — сила, 2013, № 8. С. 126.

<sup>37</sup> Улицкая Людмила. Указ. соч. С. 409.

<sup>38</sup> Цирульников Анатолий. Поцелуй юкагирки // Дружба народов, 2017, № 9. С. 198.

<sup>39</sup> Там же, № 8. С. 208.

<sup>40</sup> Голованов Василий. Ствол, подпирающий небо // Время чаепития: Повести, рассказы. — М.: Вагриус, 2004. С. 205.

<sup>41</sup> Радио России. 2018, 8 апреля.

их совершать безрассудные поступки»<sup>42</sup>. О нет, речь не идет о приглашении вас прогуляться по кладбищу, но нелишне задуматься, какова основа данного рассказа и сколько рядом находящихся пространств, ждущих нашего внимания!

### Окружение

Это один из наиболее сложных параметров повседневности, в котором философия переключается с этикой, как бы тонет в этике. «Не сравнивай! **Живущий несравним**» (О. Мандельштам). В отношении оценки, может быть, и верно, однако мы сравниваем, постоянно сравниваем, иначе каким способом учиться, как менять свое же в себе?

Про Александра Меня. Дело было в том, что он любил тех ближних, которые ему достались, не выбирая лучших, а всех, кто в нем нуждался. Это был его народ — дикий, непросвещенный, нравственно недоразвитый, но другого народа у него не было. И этот самый народ приходил к нему утром, днем и ночью. К нему звонили, писали, просто стучали в дверь. А он был «при дверях»... Так говорила про него одна моя покойная подружка-старушка. А уж она-то знала, кто есть «дверь овцам»<sup>43</sup>.

«Когда Гельфанд с тобой разговаривает (Израиль Моисеевич Гельфанд — математик, известный ученый), то чувствуешь, что в данный момент ты для него самый интересный и важный человек во всем мире»<sup>44</sup>. В России такое требование существовало тоже: когда ты говоришь с кем-либо, представь, что рядом с тобой Христос. Как бы ты говорил с ним? А если это люди родные, близкие, хорошие знакомые?

Жизнь НК (Нина Константиновна Бруни, урожденная Бальмонт) отнюдь не была праздником: великие беды войны, революции не обошли ее. Не дожив до шестидесяти, умер ее муж, замечательный художник Лев Александрович Бруни, из семерых детей двоих похоронила в младенчестве, один погиб на фронте. И все-таки — праздником была ее жизнь. Праздником было ее раннее утро, когда вставала она раньше всего дома и, прочитав молитвенное правило, в драгоценной тишине пила свою чашку кофе... Праздничным был день работы — а работа была большая и разная: то переводы, то стирка, то стряпня... И вечер, когда за столом собирались дети, и друзья, и друзья детей, счастливые люди, кому жизнь подарила честь быть гостями на ее празднике<sup>45</sup>.

Все мужчины немного завидуют Одиссею, все женщины немного в него влюблены. Хотя есть и такие, кто влюблен сильно. Первая среди обожающих женщин — жена Пенелопа. Это ее он выбрал в жены, проявив свой хваленый ум и предвидение. Он толкся в толпе почитателей прекрасной Елены, когда она еще ходила в невестах, а женился на ее двоюродной сестре, которая вовсе не стояла в первом ряду невест на той ярмарке. И как он был прав! Достойное поведение — лучшее украшение женщины; это и до сих пор так. Он выбрал счастливый билет, женившись на Пенелопе<sup>46</sup>.

Ладно, пусть так, браки совершаются на небесах, но остальные-то чувства? Например, связь любви с уважением в семье.

<sup>42</sup> Смена, 2018, № 2. С. 15.

<sup>43</sup> Улицкая Людмила. Священный мусор. <http://www.rulit.me/books/svyashchennyj-musor-sbornik-read-266757-1.html>

<sup>44</sup> Глаголева Елена. Математика с человеческим лицом // Наука и жизнь, 2013, № 12. С. 40.

<sup>45</sup> Улицкая Людмила. Священный мусор. <http://www.rulit.me/books/svyashchennyj-musor-sbornik-read-266757-1.html>

<sup>46</sup> Улицкая Людмила. Указ. соч.

— Ах, милорд, как мы любили его! Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так сильно любить своего отца!

— Но нужно вырасти, чтобы научиться и уважать его, мой мальчик, — ответил Гленарван, расстроенный признаниями, вырвавшимися из этого юного сердца<sup>47</sup>.

Или связь обиды с ожиданием, потому что ожидание благодарности питает обиду, и это чувство оборачивается долгим, порой пожизненным упреком, хотя и невысказываемым.

### Достоинство

«Как ни странно — Пушкин это лучше чувствовал! Времена, когда женского образования просто не существовало. Поповский минимум плюс домоводство. И на этом минимуме — характер, Татьяна Ларина! Чувство собственного достоинства! Вот то, о чем Пушкин говорит. <...> Но где же то открытие, которое Пушкин сделал, — о чувстве собственного достоинства женщины! Если попробовать в этом разобраться, то один только Пушкин говорил о достоинстве человека: о мужском — Петр Андреевич Гринев, и о женском — Маша Миронова и Татьяна Ларина. Здесь — основа основ!»<sup>48</sup> Самая русская история — это «Капитанская дочка». Там все есть — и сума, и тюрьма... И любовь до некоторой степени. Политика у Пушкина значения не имеет. Там про человеческое достоинство. Редкая в России тема<sup>49</sup>.

Обратимся еще раз к детской литературе. Там идет речь **об уверенности в своих действиях** — черте характера, которая вырабатывается трудным путем испытаний и утрат.

Но сейчас не время было сдаваться, говорил себе Дик. И миссис Уэлдон видела, что он так же полон энергии, как и раньше. К тому же у смелого юноши появилась теперь уверенность в своих действиях, — ее насильно не внушишь, а сколько она прибавляет силы!.. Остальные участники похода находились не в лучшем состоянии. И только один Дик не поддавался усталости: он черпал энергию и стойкость в сознании своего долга<sup>50</sup>.

А вот пример из жизни. Князь Олег Константинович Романов умер от раны, немало не дожив до своего... двадцатидвухлетия. Он писал перед уходом на фронт: «Мы все пять братьев идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно, мне только радостно, что мы, Константиновичи, **все впятером идем на войну**»<sup>51</sup>. Добавим: на ту самую Первую мировую войну, значение которой лишь после столетия стало осмысливаться, правильно осознаваться. Но дело даже не в этом, а в самих словах «светлого князя», как называли его те, кто сколько-то его знал.

Достоинство, а как же ошибки, по афоризму: «Существуют только ошибки»? Отношение к собственным ошибкам требует большой мудрости. «А всего лишь играешь в заведующую. А когда играние — ошибки не то чтобы исключены. **В игре ошибки не фатальны**»<sup>52</sup>.

<sup>47</sup> Жюль Верн. Указ. соч. С. 147–148.

<sup>48</sup> Улицкая Людмила. Лестница Якова: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. С. 223.

<sup>49</sup> Там же. С. 489.

<sup>50</sup> Жюль Верн. Указ. соч. С. 276, 340.

<sup>51</sup> Смена, 2018, № 4. С. 16.

<sup>52</sup> Соломатина Татьяна. Роддом, или Неотложное состояние. Кадры 48–61. — М.: Изд-во АСТ, 2016. С. 18.

Принять свою жизнь как дар, ценить ее — не это ли составляет основу достоинства? «Не слушайте люди, чужих сказок. / Любите свою сказку. / Сказку своей жизни. / Жизнь каждого есть сказка, только один раз рассказанная в мире» (Василий Розанов). Не об этом ли говорится в известном стихотворении Анны Ахматовой? «Но я предупреждаю вас, / Что я живу в последний раз. / Ни ласточкой, ни кленом, / Ни тростником и ни звездой, / Ни родниковой водой, / Ни колокольным звоном — / Не буду я людей смущать / И сны чужие навещать / Неутоленным стоном».

Цитат можно привести значительно больше, главное не это, главное — читать и, читая, незаметно, неявно становиться немного философом.

---

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

---

Олег ГЛУШКИН

## «НЕВА» В МОЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СУДЬБЕ.

Начинал я писать прозу в Ленинграде, когда учился в Кораблестроительном институте. Было время первой хрущевской «оттепели». Время шумных дискуссий и начала самиздата. Занятия в литературных объединениях, при Лениздате у Геннадия Гора, в Кораблестроительном у Елены Вечтомовой), встречи с писателями и своими одногодками, признанными позднее известными творцами, были хорошей литературной школой. В 1960 году я по распределению был направлен в Калининград, где через два года были отдельным выпуском изданы мои рассказы, получившие одобрение на семинарах литераторов, которыми руководили Михаил Слонимский и Давид Дар. Мне было тогда двадцать пять лет. Я ушел в свой первый рейс в океан. У меня сохранялись иллюзии свободы, и я написал и сдал в Калининградское издательство повесть о доках, созданную на основе опыта моей работы в доках. Повесть была по тем временам слишком правдивой, из издательства была послана в высшие и надзорные инстанции. Было дано заключение: «автор поливает грязью рабочий класс, клеветает на наше общество». Пути к печатному станку в Калининграде были

---

Олег Глушкин родился в 1937 году в городе Великие Луки Псковской области. В 1960 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в Калининграде на заводе «Янтарь» докмейстером, в рыбной промышленности, на рыболовных траулерах в Атлантике. В 1985 году принят в Союз писателей. Руководил молодежным литературным объединением «Парус». Издал 24 книги прозы. В 1990 году избран председателем Калининградской писательской организации. В 1991 году основал журнал «Запад России». За вклад в развитие культуры и расширение контактов между российской и европейской культурой удостоен Диплома Канта (2000). Награжден золотой медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Удостоен премий «Вдохновение» и «Признание». Составил и осуществил издание сборника «Кровоточащая память холокоста», собрав и обработав воспоминания уцелевших узников гетто и лагерей смерти. Завершил эту работу созданием романа «Анна из Кёнигсберга». Живет в Калининграде.

на долгое время мне отрезаны. Я посылал свои тексты в различные центральные издательства и журналы и получал отказы. В 1969 году счастливое стечение обстоятельств позволило мне передать свои сочинения непосредственно главному редактору «Невы» Александру Федоровичу Попову. Он прислал мне теплое письмо, никогда ранее ни один издатель так по-доброму не отнесся ко мне. Хотя в его письме были существенные замечания, по которым я решил, что и здесь мне не пройти. Но были там и добрые пожелания относительно моей повести о доках и планах по работе с ней. Рукопись была передана в отдел прозы журнала, и текст попал к прекрасному человеку и редактору Самуилу Лурье.

У меня в то время были частые командировки в Ленинград, я был в комиссии по согласованию проекта нового рыболовного траулера. Это дало мне возможность ближе познакомиться с работой журнала. Здание в начале Невского, где был расположен журнал, притягивало меня, с широкими каменными лестницами, просторными кабинетами с широкими светлыми окнами и высокими потолками, оно казалось мне дворцом литературы, и я был счастлив, что этот дворец гостеприимно встречает меня. Я любил заходить в отдел поэзии, которым заведовал знаменитый поэт Всеволод Рождественский, жадно слушал его рассказы. Александр Федорович Попов принял меня радушно и даже предложил стать литературным обработчиком воспоминаний соратника Иоффе, известного ученого Наума Рейнова, обработчик из меня не получился, но я обрел старшего друга, стал слушателем многочасовых его интереснейших воспоминаний.

Осенью 1971 года я получил из журнала «Нева» верстку своей повести. Радость моя была омрачена изъятиями из текста дорогих для меня деталей и правдивых эпизодов заводской жизни. Я хотел отказаться, сидел в очереди на междугородные телефонные переговоры у нас на почте, где меня остановил от резких шагов мой друг — поэт Владимир Корниенко. «Тебе дается шанс, глупо отказываться», — сказал он.

Повесть вышла в № 11 за 1971 год. Была хорошо встречена критикой, признана лучшей повестью о рабочем классе из опубликованных в этом году в журнале «Нева». Одобрил и подробно разобрал повесть в статье, опубликованной в газете «Ленинградская правда» (23 ноября 1971 г.), Дмитрий Хренков, его мнение очень ценилось. Повесть была прочитана по Ленинградскому радио. Был доволен Александр Федорович, что не ошибся во мне. В последующие годы в журнале «Нева» были опубликованы моя морская повесть «Всего один рейс» и рассказ о рыбацком капитане. Знакомая меня с Даниилом Граниным, Александр Федорович заявил: «Вот талант из провинции, открытый мной, он умеет сочетать опыт своей работы с умением найти нужные слова». И что очень существенно: изменилось отношение ко мне в Калининграде, в Москве в серии «Первая книга в столице» была издана книга моей прозы. В нее вошел «Пятый док».

Так что журнал «Нева» стал моим ангелом-спасителем. Это были годы цензуры, и я вскоре понял, что писать правдиво о современности просто невозможно, и перешел на историческую прозу. Писал о морях-декабристах и часто ездил в ленинградские архивы. Всегда находил теплый прием в журнале «Нева», а в жаркие дни в его комнатах живительную прохладу. Как-то при встрече я говорил Лурье о том, какую большую роль сыграла в моей жизни публикация повести о доках, и благодарил его за редакторскую работу. Он сказал: «Если бы не редактировали, у тебя было бы имя». Я так не думаю, но понимаю, что писать надо так, чтобы любой твой текст, даже с изъятиями, сохранял твой стиль, твою трактовку образов. Журнал «Нева» принес мне не только опыт редактирования, он дал мне счастливую возможность общения с писателями. Он стал для меня литературной колыбелью. И я всегда помню, что литературный старт мне дал Александр Федорович Попов.

**«Комсомолия» Телингатера / Безыменского: Шедевр конструктивизма и запрещенный бестселлер. Репринтное издание. Комментарии и исследования. Сост. М. С. Карасик и А. А. Россомахин. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. — 128 с.: ил. — (Репринт книги 1928 года).**

В 1928 году к 10-летию комсомола художник Соломон Телингатер осуществил издание знаменитой поэмы Александра Безыменского, популярнейшего комсомольского поэта 20-х годов. Первая крупная работа художника, книга «Комсомолия», стала шедевром конструктивистской книги. Сложная структура поэмы, включавшая разные поэтические формы: акrostих, песню, частушку, речевку, рифмованный лозунг, давала возможность использовать весь арсенал новейших стилистических типографских приемов. Телингатер повторил в графике принцип поэтического микста, в котором написано само произведение. Он использовал рисунки-пиктограммы, фотографии, шрифты разных цветов и размеров, асимметричную верстку текста, при которой строчки то двигались по горизонтали, то разбегались по диагонали, то приобретали волнообразное движение. Изобразительная форма отвечала тем видам литературы, которые выдвигала современность. Оба, и Александр Безыменский (1898–1973), «сын революции, Октябrevич» по определению Л. Троцкого, и Соломон Телингатер (1903–1969), кто «начал свой путь как комсомолец, с комсомольским огнем и задором», работали над книгой по призыву сердца. «Из нас бы каждый сердце вынул / или с радостью хоть год корпел, / чтоб только быть достойным сыном / огромной мамы — РКП!». Они принадлежали к поколению, которому были присущи вера, искренность, максимализм. Для Телингатера возможность оформить большую поэму Безыменского к 10-летней годовщине комсомола была как подарок судьбы. В поэме Безыменский дал широкую эпическую картину жизни комсомола в дни Гражданской войны: подавление кулацких бунтов, продотряды, клуб и райком, товарищеская проработка, шефство, работа, борьба с безграмотностью, фронт. «Нынче Ваньки, / позавчера еще / избитые в доску, / палят горящие глаза и папироску. / — „Едем к победе!“ / Это бойцы. / Рядом отцы. / Не стирают объята, / а разбивают проклятья о каблуки / влетающих / в вагон». Подлинные детали повседневности: чудовишный и голодный быт, хаос, ожесточение Гражданской войны и тяга к знаниям, чтение Каутского, Бебеля и Энгельса. «Между страницами, / может, / убьют. / Что ж? / Не докончу — / кончит другой, / Голосом звонче, / тверже рукой». Тираж десяти изданий «Комсомолии» с 1924-го по 1934 год (в разных вариантах оформления) составил около четырехсот тысяч. Со второй половины 1930-х годов книга попала в список запрещенных и уничтожалась, как и тысячи других книг. Причина — предисловия Л. Троцкого к изданиям 1924 и 1927 годов. И хотя в 1928 году предисловия уже не будет, это не спасет книгу от черных списков и спецхрана. А в 1937 году в «Литературной газете» появилась статья, где указывалось на близость поэта к Троцкому в 1923 году. Поэта исключили из партии, но вскоре восстановили. К читателю «Комсомолия» вернулась только в 1948 году, но сам автор сократил текст почти на сорок процентов: уничтожил многие живые следы эпохи, упоминания Ленина или партийных органов в сниженном бытовом антураже, «крамольные» строки. «ЦеКа играет человеком. / Оно изменчиво всегда. / То вознесет его высоко, / То бросит в бездну без стыда». До 1987 года все издания поэмы, где упоминалось имя Троцкого, оставались под запретом. И все-

таки оба — и поэт, и художник — вписались в новую реальность, чутко прислушиваясь к «линии партии», остались востребованными на идеологическом фронте. В данном издании два тома. В первом — репринтное воспроизведение уникальной книги, во втором — статьи и комментарии, содержащие десятки иллюстраций, архивные материалы, воспоминания, профессиональный филологический и искусствоведческий анализ. Подробно освещены биографии создателей книги, их творческие судьбы и судьба самой книги, история отечественной книжной графики 20-х годов, приемы оформления и конструирования книги, используемые Телингатером в «Комсомолии», рассказывается о предшественниках конструктивизма и соратниках Телингатера, его единомышленниках и последователях. В приложениях — предисловия Л. Троцкого к произведениям А. Безыменского, статья С. Телингатера о полиграфическом искусстве в СССР. В исследовательских статьях подчеркивается, что работа Телингатера интереснее самого текста. И даже в выходных данных фамилия художника стоит перед фамилией поэта. Но интересен и текст: это не официальный и не верноподданнический лубок, а взволнованный голос романтика и энтузиаста, искренне верящего, что «рабочий сквозь горы бед / завтра знаменами мир измерит, / и / не будет Европ и Америк, / будет лишь коммунизм, свет. / Это — завтра... / нынче же — танки». Поэтический бестселлер 20-х годов, текст, который после 1929 года впервые публикуется в первоначальном виде, — это выразительнейший документ эпохи о полуграмотной молодежи, что «грядущее ковали / величьем / незаметных дней» и не догадывавшейся, во что это выльется. А эффектный неологизм Безыменского, «комсомолия», вошел в жизнь и породил подражания.

**Кир Шаманов. Дурные дети перестройки. СПб.: Питер Мейл, 2018. — 256 с.: ил.**

Ким Шаманов родился в 1975 году. Его детство и юность пришлось на шальные годы перестройки. Озорной мальчишка из не очень благополучной семьи не вписывался в общепринятые стандарты, уже дававшие сбои. Не сразу приняли в октябрят и пионеры, со скрипом приняв в пионеры в четвертом, в шестом классе из пионеров его «попросили». Свою роль сыграл и указ 1988 года о необязательности среднего образования, что позволял выгонять из школы до окончания восьмого класса на улицу, а не в подростковую колонию. Неудачным стал и опыт учебы в ПТУ, и работы на заводе, откуда отчислили за прогулы. Отмененная статья за тунеядство позволила безнаказанно предаваться ничегонеделанию: накурившись с друзьями наркотиков, сидеть целыми днями на скамейках, оттачивая свое остроумие на знакомых, глумиться на танцплощадке в парке Челюскинцев над стариками, во дворе психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова — над ее обитателями, в магазинах — над изделиями советской промышленности. А еще — пускаться с бесчисленными друзьями и подружками во всевозможные авантюры, главная цель которых — достать наркотик, употребить, испытать невиданные ощущения самому, увидеть, что происходит с другими. Путь в неизведанное был широко открыт: достать наркотик можно было и на крыше высотки, и на детской площадке, и на крыльце собственного дома. А еще — и мак на кладбище высадить. И жить сегодняшним днем, одной минутой, без планов на будущее. Жизнь, лишенная смыслов. Книга, сборник новелл о горьких судьбах наркоманов, основана на реальных событиях, на собственном опыте автора, переосмысляющего «романтику» проведенной в наркотическом угаре юности. Романтики как раз и не обнаруживается, а есть только страшное существование молодых людей между жизнью и смертью. Драки и разборки между «сотовав-

рищами» в наркотическом опьянении; кражи книг из семейной библиотеки, сережек у матери, фамильных ценностей, уличные грабежи — на наркотики нужны деньги. Впечатляющие картины полного морального и физического разложения: истощение, исколотые вены, в которые уже не попасть, гниющие зубы, грязные волосы, прыщички и струнья на коже. У каждого из друзей и подружек рассказчика — а повествование ведется от первого лица — свой собственный ад, вырваться из которого они не в состоянии. И закономерный конец: тюрьма, психушка, смерть от передозировки, суициды. В наркотических сетях гибнут не только дети из неблагополучных семей, но и изнеженные детки материально обеспеченных родителей. Автор задается вопросом: зачем люди подсаживаются на наркотики? «Особенно внутривенные. Ведь все знают, что это опасно, но как-то умудряются себя убедить в необходимости вколоть себе металлической иглой что-то неведомое внутрь, ожидая непонятно чего, а еще частенько заведомо считают — то, что с ними случится, круто». Общая мода? Желание быть, как все? Попробовать в жизни все? Испытать себя взрослыми искушениями? Случайность? Или влияла сама атмосфера погруженной в тотальный хаос страны, где наркотики стали закономерной частью перестроечного эксперимента? Искусствовед Д. Озерков в предисловии пишет: «Прозу Шаманова и воспроизводимые ею художественные контексты я воспринимаю как буквальные рассказы о страшном абсурдизме тех дней. Для меня это реальные истории, подвергшиеся естественному отбору и минимальной литературной обработке. ...Мне больно читать эту книгу, потому что она — про мое поколение, которое не уберегла моя страна. И когда мне смешно — это смех сквозь слезы. „Дурные дети Перестройки“ — это документ эпохи. А лишенный вымысла текст документа зачастую гораздо пронзительней любой художественной литературы». Надо отдать должное, К. Шаманов мастерски воссоздает бытовые реалии и атмосферу 80—90-х годов, он очень точен в привязке к местности (в основном действие — Петроградская сторона Ленинграда—Петербурга), ему не надо выдумывать сюжеты и диалоги — сама жизнь сотворила их. Свою книгу автор предлагает рассматривать как антипропаганду наркотиков. Истериками, насилием, угрозами, Уголовным кодексом разрушению моды на «кайф» и «цивилизацию потребления», считает он, не поможешь. И уверен, что после прочтения его книги у читателя возникнет стойкое отвращение к наркотикам. Ведь все «удовольствия» от «кайфа» кончаются разрушением человека, его гибелью. Это тем более убедительно, что Шаманов сам долго был наркозависимым, из-за чего потерял много друзей, эта книга — своеобразный их мартиролог. У книги есть ограничитель — восемнадцать лет. Причина — ненормативная лексика, злоупотребление же специфическим сленгом слишком навязчиво. А читать ее — как предостережение — следовало бы и тем, кому восемнадцати нет. Кроме того, в этой книге есть и история того, как самому автору удалось найти в себе силы и покончить, пусть и не сразу, с наркотиками. Книга дополнена авторскими иллюстрациями.

**Томока Сибасаки. Весенний сад. Роман. Пер. с япон. Е. Струговой.**  
СПб.: Симпозиум, 2017. — 176 с.

Неспешное действие разворачиваются в «тихой заводи» рядом с бешено пульсирующим Токио. Островок в бурном городе, район, где можно заблудиться и с навигатором. Здесь «жили и испытанные временем здания, и новостройки, и элитное жилье, и заметно обветшавшие дома соседствовали, смешивались. Здесь были особняки известных людей, но при поиске жилья рядом можно было обнаружить квартирники, где даже не было ванны. В каждый дом были вложены идеи и устремления его созда-

теля, но район не выглядел единым целым». Старые здания сносили, и строили новые, жилые и нежилые, между ними оставалось множество пустующих пространств. И сразу выделялись пустующие дома, даже ухоженные и выглядевшие так, словно жильцы куда-то вышли. Дом из нескольких квартир, где живут герои романа, тоже предназначен под снос, на его месте планируется построить большой многоквартирный дом. В нем осталось только трое жильцов. Одиноким разведенным мужчиной лет тридцати, бывший парикмахер, а ныне служащий в небольшой рекламной компании. Типичный представитель «офисного планктона», Торо ведет размеренную аккуратную жизнь, в которой ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет. По своему району он ходит разными маршрутами, пройдет с ним и читатель. Его соседки — пожилая ненавязчивая дама и художница Ниси, которая рисует комиксы для печатанных изданий и сайтов. Когда-то в юности ее очаровали снимки в фотоальбоме «Весенний сад», где были запечатлены двухэтажный голубой дом в окружении нескольких деревьев и его обитатели: выразительные детали декора фасада, комнаты, обставленные в японском стиле, садик, молодые, красивые мужчина и женщина. Когда-то именно эта счастливая пара, второстепенная актриса и продюсер рекламных роликов, и делали снимки. Теперь этот голубой дом Ниси может наблюдать из окна снимаемого жилища. Она одержима мечтой: попасть внутрь дома, сначала пустующего, а потом и вновь заселенного. Торо, который всегда старался избегать сиюминутных проблем, Торо, который «не то чтобы совсем был лишен любопытства, но считал: лучше, по возможности, жить без проблем, нежели напрягаться ради будущего счастья или событий, представляющих какой-то интерес», становится ее соучастником. Уже несколько лет у него не возникало желания кому-либо помогать, но он почувствовал, что просто обязан помочь Ниси. Полгода мир для них обоих вращается вокруг голубого дома: пустого и обитаемого, воображаемого и реального. Дом, построенный в европейском стиле, действительно красив: на воротах изящные металлические украшения — цветы, похожие на розы, витражные стекла с растительным орнаментом, с красными стрекозами, с узором из ирисов. Во внутреннее убранство внесло коррективы время. Ниси удалось проследить и судьбу когда-то счастливой пары. Вся книга проникнута поэтикой быта: мелкие события повседневной жизни, взаимные подарки соседей и сослуживцев — любое внимание требует благодарности, традиционные особенности общения, традиционные угощения, привозимые из разных уголков Японии, традиционные обычаи. В этой книге все зримо, осязаемо: дома, фотографии, одежда, запахи, звуки, вкусы. И тихое, несуетное течение времени, и значимость окружающего мира, среды обитания человека... У героев есть родные, близкие, сослуживцы, которые бывали и за границей — широкий мир открыт. Есть неизбежные житейские заботы, но важнее внешней суеты — чуткое внимание к своей среде обитания. Есть прошлое, в котором остались увлечения и бейсболом, и рок-музыкой. И проблемы, уходящие корнями в детство. Быть может, тяга героев к таинственному дому и вызвана тем, что детство их прошло в стандартных муниципальных квартирах многоквартирных домов, где всей семьей жить приходилось в одной комнате. И, как маленький Торо, мечтать, представляя себя на облаке, с которого можно увидеть мир внизу, и сохранить эту мечту во взрослом возрасте. Или, как маленькая Ниси, желать узнать, что чувствуешь, когда живешь в доме, где есть лестница и коридор, что за люди живут в таких домах, которые она видела только по телевизору или в комиксах. Многозначительные «мелочи», которые происходят в голубом доме и вокруг него, оказываются важны для героев. Дом, как якорек, помогающий человеку остаться уникальной личностью в стандартизированном мире. За книгу «Весенний сад» современная японская писательница Томока Сибасаки в 2014 году названа лауреатом Премии

имени Акутагавы — самой престижной литературной награды Японии. Читать эту книгу все равно что наблюдать цветение сакуры.

**Сергей Симаков. Закат Европы и новая Россия. СПб.: Алетей, 2018. — 92 с.**

Так есть или нет закат Европы, о котором ровно век назад объявил Шпенглер? Сергей Симаков утверждает, что мы, не замечая того, присутствуем на похоронах западной христианской цивилизации, возникшей примерно полторы тысячи тому назад и доминировавшей во всем мире последние пятьдесят лет. Еще недавно благополучной Европе подражать стремились все другие страны и народы. Но ситуация меняется: в ЕЭС набирают силу центробежные тенденции («брэксит», Каталония). Причины заката, считает автор, отнюдь не экономические. Еще в Библии можно найти примеры того, как разлагались, затухали и гибли под напором внешних и внутренних врагов древние царства с высоким валовым доходом на душу населения. По мнению автора, экономика занимает в жизни общества не самое главное место. И приводит прогнозы начала XX века о будущности России, подтверждающие приоритет духовного над материальным. Оптимистический Д. Менделеева, опирающегося на национально-экономические показатели, и пессимистический Иоанна Кронштадтского. Исходя из морального состояния общества, тот предрекал: если и дальше грехи будут так же множиться в российском государстве, то запустеет царствие сие. Причина кризисных явлений в ЕЭС, по мнению автора, в отказе от своих корней, христианских, культурных, национальных, что фактически зафиксировано и в европейской конституции. И ссылается на основателя социальной психологии Г. Лебона: «Истинная причина великих потрясений, которые предшествуют смене цивилизаций, например, падению Римской империи и возвышению арабов, — есть кардинальное обновление образа мыслей... Все сколько-нибудь значительные исторические события — видимые результаты невидимых сдвигов в человеческом мышлении» (1896 год). Автор показывает, какую роль в изменении европейского сознания сыграли размывание христианских ценностей в эпохи Возрождения и Просвещения, протестантизм и либерализм. В XIX веке смыслом западной цивилизации стало построение либерального индустриально-технократического общества на основе развития товарно-денежных отношений. И построили, создали потребительский рай: постиндустриальное либеральное, мультикультурное, многоконфессиональное общество, единственная цель и идеология которого — максимально комфортный образ жизни. Вопросы о взаимоотношении с Богом, о душе, о смысле жизни были вытеснены рассуждениями о взаимном уважении отдельных личностей и целых культур друг к другу. А по сути — человек стал экономическим животным. Как остроумно замечает автор: для этого «нового» человека главное — борьба с лишним весом. И еще: «относительно нашего времени уже с уверенностью можно сказать, что общество направляется лишь одним животом, так как вместо ног все уже используют авто». На смену христианству во второй половине XX века, считает автор, пришло либеральное неоязычество. Как у всякой религии, у него есть свои боги, своя «святая троица»: Бог-отец — Деньги, Бог-сын — Прогресс, Бог-дух святой — наука. И даже свои соборы — торговые центры и пассажи. О месте и функциях этих «богов» в современном мире, о том, как они утверждались в ходе двух мировых войн, сметая империи, государства, рассказано подробно. Деньги правят в спорте, в культуре, в науке. Для С. Симакова, ученого, доктора геолого-минералогических наук, неприемлема формула науки XXI века: сколько дадите — на столько и познаем окружающую действительность. Он видит пагубность оценок научного вклада по количеству публикаций и их цитирования, присуждения премий в области

науки не за фундаментальные научные открытия, а за технологические разработки. Выводы неутешительны. Понижение культурного и интеллектуального уровня неизбежно ведет к регрессу. Помехой для «богов» становятся уже и бывшие «союзники», демократии. И, быть может, главное: мир не терпит пустоты, особенно в духовной области. Реакцией на западный «прогресс», на отказ от Бога, на погоню за золотым тельцом, на надругательства над природой человека стало сопротивление ислама «общечеловеческим ценностям», в том числе и терроризм. Доказательством усиления ислама служит и приток разноплеменных пришельцев в западный мир, и множющийся переход коренных жителей Европы, христиан, в ислам. Европа все делает для собственной мусульманизации. А что Россия? Разделит ли она судьбу европейских стран, или у нее свой собственный путь развития? С. Симаков рассматривает вопросы соотношения историй России и Европы, предлагает свой взгляд на историко-цивилизационное развитие России, резко оценивает современную политическую жизнь России. С исчезновением патриархального крестьянства Россия, считает он, перестала быть страной между землей и Богом и после периода атеистического социализма стала частью мультикультурного и многоконфессионального мира. Человеку нового типа, возвращенному в СССР, в отличие от православного крестьянина XIX века, понятны и приемлемы прагматические ценности Запада; власть, опирающаяся на экономику в чистом виде; установки на потребление. Как итог: несмотря на сегодняшнюю пропаганду православия, ситуация в России весьма сходна с европейской. Европа мусульманизируется, Россия движется в Азию. В своем анализе автор опирается на Библию, на работы философов, политиков и историков, отечественных и зарубежных, прошлого и настоящего.

**Божидар Езерник. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников: Монография. Пер. со словен. Л. А. Кирилиной. — М.: Лингвистика, 2017. — 358 с.: ил.**

Вплоть до XVIII века в Западной Европе довольно мало знали о Балканском полуострове, большая часть которого принадлежала Османской империи, путешествия туда происходили от случая к случаю. Прочь от «нетерпимого, беспокойного, торопливого мира западной цивилизации» к «мечтательному Востоку» европейские путешественники активно устремились в XIX веке. Романтиков манила дикая, не тронутая цивилизацией природа, встречи со свободолюбивыми народами, желание убедиться в справедливости слухов о волосатых рыбах, о женщинах с грудями до пупка, о хвостатых мужчинах. Сам К. Линней в своей классификации зафиксировал последних как отдельный вид — хвостатый сатир. Первоначальные сведения путешественники черпали в книгах, авторы которых зачастую «улучшали» факты и также основывались на вымыслах. А на деле встречались путешественники с плохими дорогами, с примитивными ночлежками, с непонятными обычаями. Приезжим балканцы казались грязными и неотесанными, а местные жители обижались, что на них смотрят как на дикарей. Зато жители Западной Европы могли убедиться, что сами они прогрессивные и цивилизованные. Хотя многое, в чем обвиняли западные европейцы жителей Балкан, не так давно было нормой у них самих. До XVI века они также подтирали носы руками и ели руками, лишь в XIX веке гигиена стала важным критерием оценки степени цивилизации. Европейские путешественники с ужасом рассказывали, как черногорцы отрубают головы врагам и выставляют их на обозрение, забыв, что еще недавно головы казненных демонстрировали и в просвещенной Европе. В книге словенского антрополога Божидара Езерника анализируется комплекс культурных и политических

стереотипов, сформировавшийся у западных европейцев по отношению к балканским странам как к «дикой», воинственной и нецивилизованной части Европы. В основе ее воспоминания западных путешественников, в том числе русских, писавших о Балканах в XIX — начале XX века (библиография — более 880 наименований). Автор рассказывает, как шло знакомство западноевропейцев с уголком Европы, чья география казалась слишком запутанной, этнография слишком неясной, а политика чересчур непонятной, как создавался образ народов, образ «другого», какое влияние на это оказывали европейские концепции разных времен, преобладавшие в то время вкусы. Круг тем: национальные и религиозные обычаи, быт, культура потребления пищи, отношения народов между собой, отношения женщин и мужчин, воспитание детей, самооценки балканцев. Автор показывает, что лежит в основе предрассудков и как, с какими целями они могут использоваться. Например, легенда о женщинах с длинными грудями (обитающих не только на Балканах, но и в Африке) идет от западных представлений о женской красоте: грудь должна быть маленькой и высокой. Для сербов байки о хвостатых албанцах стали доказательством неспособности «диких», «первобытных» албанцев к самоуправлению. Какие-то из мифов исчезли, какие-то до сих пор пересказывают экскурсоводы. Самый распространенный — оскверненные лики святых с выскобленными глазами на фресках сербских церквей: то ли турками, то ли албанцами, то ли коммунистами, в зависимости от периода, когда давались объяснения. Но есть и другая версия: распространенное суеверие, что порошок, соскобленный с фресок, — лучшее лекарство. По той же логике страдали от рук самих верующих, иногда и от рук православных священников, не только глаза, но и фаланги пальцев и другие части тела святых. Это не значит, пишет Б. Езерник, что мусульмане не наносили вреда христианским объектам, но такие поступки противоречили исламскому духу толерантности. Более того: мусульмане из суеверия боялись даже рубить деревья около церквей. Он не раз указывает на несправедливость обвинений в адрес турок, также получивших клеймо «дикого» народа. И даже знаменитый мост в городе Мостар (Босния и Герцеговина), построенный в 1566 году по проекту Мимара Хайреддина, европейцы приписали древним римлянам. В 1993 году мост признали турецкой постройкой, но в ходе войны его взорвали, дабы навсегда вычеркнуть неудобную память о мусульманском прошлом Герцеговины. Финал книги — путешествие по городам Балкан, большим и маленьким. Автор с огорчением отмечает, что молодые балканские государства, обретя независимость, первым же делом постарались избавиться от турецкого наследия в облике своих городов, и, уничтожая мечети и минареты, меняя планировку, утратили свой восточный облик, и, «устремившись к западной цивилизации, потеряли колорит, но сохранили захудалость и грязь». Б. Езерник не занимает чью-либо сторону в извечных балканских конфликтах, никого не оскорбляет, с осторожностью подходит к оценке противоречивых событий. Забавные, драматические, подчас шокирующие истории не затмевают масштабных вопросов. С конца XVIII века путешествия на Балканы совершались с целью изучить определенный регион с политической, экономической или военной точки зрения. Создание расовых стереотипов и представлений о дикарстве имели ключевое значение для колонизаторского мировоззрения, обосновывая правомочность «цивиловать» дикие народы. На примере Македонии, «яблока раздора» для стран, в конце XIX века претендующих стать Великой Грецией, Великой Болгарией, Великой Сербией, Великой Албанией и Великой Румынией, автор наглядно показывает, как в соответствии с политическими убеждениями могла меняться национальность отдельных людей или целых групп. Балканы и ныне являются настоящей мозаикой вер, народов, языков. «Мне кажется, что Запад в целом никогда не был готов видеть Балканы такими, какими они являлись в действитель-

ности», — пишет Б. Езерник и дает возможность увидеть Балканы глазами европейцев, и Балканы реальные.

**Наталья Зайцева. Парики и мушки: XVII век (Серия «Из истории неуловимого»). СПб.: Творческая мастерская «Серебряные ряды», 2017. — 192 с.: ил.**

Казалось бы, такие пустяки: парики, пудра для волос, украшения для причесок. Старинные рецепты изготовления косметических средств, окрашивания волос. Язык мушек: их размещение на лице, формы, размеры, искусство приклеить мушку. Милые подробности: гигиенические процедуры XVII века, купание Людовика XIV в ванне, публичное утреннее одевание Анны Австрийской, Людовика XIV и его жены Марии-Терезы, праздничные одежды этого короля, один день из его жизни. Знакомые персоны (кто ж не читал Дюма?): Людовики XIII и XIV, Анна Австрийская, Лавальер, самый экстравагантный мужчина своего времени — герцог Букингем... И удивительные красавицы, каждая из которых была страницей истории, вдохновительницей строительства дворцов и парков Версаля и, конечно, моды: племянницы кардинала Мазарини, сестры Манчини, Лавальер, Монтеспан, Ментенон. Имя одной из недолгих любовниц Людовика XIV, Анжелы де Фонтанж, получила прическа: «фонтанж» разных модификаций делали все женщины, от фрейлин двора до горничных. Судьбы, туалеты, прически, парики. Не только любовницы, но и знатные модники и модницы, сумасброды и сумасбродки становились законодателями мод. Парик каждой эпохи — от Людовика XIII до Людовика XVI — имел массу вариантов цвета, длины, объема и формы. Мода стремительно менялась, как женская, так и мужская. Какие факторы, как, в связи с какими историческими реалиями влияли на причуды моды, и рассказывает Наталья Зайцева. Старинный парик иногда весил несколько килограмм, в нем было жарко голове, в летнее время из-за этого случались головокружения и обмороки, в парике нередко заводились паразиты... Но их носили. Великая эпоха париков началась в 1629 году, когда тридцатилетний Людовик XIII почти полностью лишился своей шевелюры. «Большой стиль» начал утверждаться с 1658 года, когда после болезни волосы начал терять Людовик XIV. А можно ли представить себе короля с плешью на голове или жалкими остатками волос? Парик придавал величие, уничтожал возраст, создавал незабываемый образ монарха. Внешнее великолепие являлось не только капризом, но и политической программой по усмирению спесивой знати. Новая форма придворной жизни: череда праздников, прогулок, балетов — использовалась монархом как рычаг управления непокорным дворянством, как средство предотвратить заговоры. При королевском дворе совершилась «тихая революция»: превращение рыцарского сословия в придворное, появление светского общества и, наконец, рождение новой культурной модели. Первыми влиянию французов подверглись англичане, затем голландцы, к середине XVII века мода на парики охватила все население Европы, за исключением крестьян. Французская нация начинает осознавать свою исключительность, в парижском свете складывается концепция превосходства французов над другими национальностями. В XVII—XVIII веках изготовление париков превратилось в быстро развивающееся и прибыльное производство. Париков требовалось много. Парик был символом социальной принадлежности, и каждое сословие имело свою моду. Н. Зайцева подробно рассказывает, какие парики носили придворные, политики, финансисты, юристы, военные, врачи. Битва между сторонниками париков и их противниками разгорелась в церкви. В конце концов и у священнослужителей утвердился парик с тонзурой. Во второй половине XVII века расцвела индустрия

моды: производство париков, ювелирных изделий для украшения причесок и хранения мушек. Налаживается выпуск модных журналов, гравюр и манекенов — наряженных по последней моде кукол. Именно в эпоху Людовика XIII появился первый женский парикмахер, до этого, согласно церковным правилам, мужские руки не имели права прикасаться к головам женщин. Возникают новые профессии, королевскими указами регулируются взаимоотношения между врачами, цирюльниками-хирургами, банщиками, мастерами по парикам, и — устанавливаются правила взимания налогов. Н. Зайцева создает галерею портретов мастеров, чье искусство делать прически покоряло дам, рассказывает о тонкостях профессий, воссоздает старинные технологии. Этот век хотел нравиться, пишет она и приводит выдержки из пособий того времени по правилам хорошего тона. XVII век породил Галантную эпоху, когда ценились умение общаться, вести приятные беседы, модно одеваться, опрятность. Именно Франции XVII века, полагает автор, обязана европейская цивилизация новым стилем отношений мужчины и женщины: не столько физиологическое наслаждение, но медленное развитие отношений, игра, кокетство, искусство обольщения. Но под влиянием растущей утонченности феминизации мужчин не происходило: мужская рука, утопающая в кружевах, по-прежнему крепко держала шпагу. Мужчины и женщины сохраняли свою половую принадлежность. Именно во Франции в XVII веке, констатирует автор, была создана новая эстетика, которая, перешагнув границы, охватила всю Европу. В начале XVIII века она дошла до далекой России, воцарилась в искусстве, философии, этикете почти на два века, ее отголоски слышны в наше время. Н. Зайцева уверена, что история прически и костюма так же важна для понимания эпохи, как история искусства или политическая история. В своей книге она по крупницам восстанавливает ежедневный быт аристократии эпохи Людовиков XIII и XIV: по редким французским изданиям, гравюрам и карикатурам XVII века. Множество иллюстраций, вставки из мемуаров и писем погружают читателя в атмосферу изящного и галантного XVII века. Многие материалы впервые вводятся в научный оборот.

Публикация подготовлена  
**Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

Редакция благодарит за предоставленные книги  
Книжную Лавку Писателей  
(Санкт-Петербург, Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,  
[www.lavkapisateley.spb.ru](http://www.lavkapisateley.spb.ru))

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ

В 1106 году игумен земли Русской Даниил, совершавший паломничество из Иерусалима в Назарет и далее — в Акру, записал в своем дневнике: «От села Исавова до Каны Галилейской полторы версты. Находится она на людном пути, здесь Христос превратил воду в вино. Тут мы встретились с большим отрядом (крестоносцев), идущим в Акру, пристали к нему с большой радостью и пошли с ним в Акру»<sup>1</sup>.

Селение Кана упоминается в Евангелии от Иоанна, по разным поводам, трижды (Ин. 2, 1; 4, 46; 21, 2) — и каждый раз сопровождается указанием «Галилейская», очевидно, для отличия от Каны Финикийской (в современном Ливане)<sup>2</sup>. Селение Кефр-Канна — евангельская Кана Галилейская, лежит в восьми километрах на пути из Назарета в Тивериаду. Здесь Христос Спаситель впервые проявил Свою чудотворную силу, претворив на брачном торжестве простую воду в вино.

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них... Было же тут шесть каменных водоносов... вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Ин. 2,1—3.6—11). По церковному преданию, женихом на свадьбе был один из 12 апостолов — Симон Кананит (прозвище указывает происхождение из Каны)<sup>3</sup>.

Одно из первых упоминаний о Кане Галилейской, дошедших до нашего времени, принадлежит Антонино из Плаценции (соврем. Пьяченца, Италия) (конец VI в.): «Прибыли мы в Канаан, где был Господь на браке, и возлежали на ложе, где я недостойный записал имена своих родителей. В этом месте есть базилика и в этой базилике источник, из которого были наполнены те шесть водоносов, в коих Господь претворил воду в вино; из этих водоносов там находятся два; один из них я наполнил вином и пол-

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 44.

<sup>2</sup> Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 323.

<sup>3</sup> Там же. С. 324.

ный поднял на плечо и принес к алтарю; в этом источнике мы, ради благословения, омылись»<sup>4</sup>.

Еще одно упоминание о Кане Галилейской относится к первой половине IX века. В «Повести Епифания о Иерусалиме» говорится: «От Фавора один день пути до великой Каны Галилейской, где был брак, на котором Христос сделал воду вином. На месте чуда стоит монастырь»<sup>5</sup>.

Англосаксонский паломник Зевульф пишет (1103 г.): «Приблизительно на шесть миль к северу от Назарета расположена на горе Кана Галилейская, где Господь во время брака превратил воду в вино; там ничего не осталось кроме монастыря, называемого Архитриклинием»<sup>6</sup>.

«Чудо в Кане» было отмечено христианами в ранней древности большим храмом, 40 метров на 20, с рядом колонн посередине, делившими здание на две равные половины. Правый придел почитался местом, где хранились каменные водоносы<sup>7</sup>. Греческий православный храм, ассоциируемый местным преданием с домом Симона Кананита, впервые упоминается в источниках в 1347 году<sup>8</sup>.

Отважные паломницы — девица Анна Алексеевна и вдова Прасковья Степановна — посетили Святую Землю в 1819 году; в их путевом дневнике читаем: «Пошли мы в Кану Галилейскую, где Господь наш Иисус Христос был на браке и воду в вино претворил. Тут теперь церковь христианская: иконостас каменный гладкий: царские врата есть, а затворов нет; святых икон — Спасителей образ и Божией Матери, за престолом животворящий крест, и тут чаша каменная, в которой Господь претворил воду в вино. Тут был дом Симона Зилота»<sup>9</sup>.

Вот что сообщал о Кане отечественный пешеходец Кир Бронников, побывавший здесь в 1821 году: «Кана весь (селение) небольшая, в ней церковь греко-арабская, а от оной не в дальнем расстоянии видны развалины каменного пустого дома, в котором, как утверждают, Христос, бывши на браке, претворил воду в вино. Поклонясь церкви и месту претворения воды в вино, я в Кане уделил часть российской ризницы, данной монахиней Елисаветой, которая от усердствующих в России благодетельных людей довольно оной собрала»<sup>10</sup>.

### Из записок архимандрита Порфирия (Успенского) (1844 г.)

Подле самой дороги к Кане, налево, есть источник. Он обделан был когда-то хорошими тесаными камнями. «Вот источник, из которого почерпали воду, претворенную Спасителем в вино», — сказал мне ехавший с нами иеромонах из Молдавии, — «а сейчас увидим и самое место чудодействия Христова!» Молча и веруя, озрел я источник и поднялся по склону в деревню. Православная церковь, построенная в пределах древней огромной разрушенной церкви мала, низка, убога и крайне не-

<sup>4</sup> Путник Антонина из Плаценции конца VI века // Православный Палестинский Сборник. Т. XIII. Вып. 3. СПб., 1895. С. 27.

<sup>5</sup> Повесть Епифания о Иерусалиме и сущих в нем мест // Православный Палестинский Сборник. Т. IV. Вып. 2. СПб., 1886. С. 30.

<sup>6</sup> Путешествие Зевульфа в Святую Землю (1102–1103 гг.) // Православный Палестинский Сборник. Т. I. Вып. 3. СПб., 1883. С. 287.

<sup>7</sup> Спутник паломника по святым местам. Париж, 1968. С. 26.

<sup>8</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 324.

<sup>9</sup> Путешествие в Иерусалим села Лежнева девицы Анны Алексеевны и вдовы Прасковьи Степановны в 1819 году. М., 1885. С. 25.

<sup>10</sup> Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Кирием Бронниковым. М., 1824. С. 157.

чиста. Четыре или шесть малых икон, коих лики почти изгладились от времени, стояли на полке, выделанной в каменном иконостасе или, лучше, в перегородке. В тесном алтаре крайне нечисто. Сор, воск, пролитое масло, пыль — все это металось в изумленные очи с престола, покрытого тряпицами. Душа моя плакала при виде такого убогого и грязного святилища. Рассудок мой сердился на старого попа, который успел принять от нас гроши на церковь, но не умеет содержать ее в опрятности. Он показал нам большой лист бумаги, на котором иерусалимским архимандритом Иоилем было написано по-гречески, что здесь находится истинная Кана Галилейская. Весь этот лист исписан был подписями имен путешественников европейских. Вероятно, каждый из них что-нибудь жертвовал в церковь: а она так скудна, убога! Что бы это значило? Верно, поп виноват; берет гроши в свой карман.

У левой стены церкви, почти в середине оной, стоит каменный водонос, будто один из тех водоносов, в коем вместо воды оказалось вино. Он будет вышиной с 1 аршин и  $\frac{3}{4}$ ; довольно толст, но углубление в нем мало и неправильно, с протоком для воды. Весь этот водонос безобразен. Мне кажется, что это была маслodelьня, а не водонос. По своей форме он не пригоден к очищению, по обряду иудейскому. Надобно полагать, что водоносы были большие кувшины, какие и теперь употребляются в здешнем околотке и в Назарете. Нынешнего водоноса, какой я видел, нельзя было носить ни на голове, ни на спине: так он велик, тяжел и неудобен. Узнав, что здешняя церковь освящена во имя великомученика Георгия, я вышел из оной с растерзанным сердцем. Оно болело оттого, что загрязнена была святьня великая. Кроме того, душу мою тяготило сомнение: мне мерещилось, что не здесь истинная Кана Галилейская, а за три часа пути отсюда на северо-запад, где в углу широкой долины ел-Боттауф есть другая Кана, которая на карте моей отмечена была: Кана-ел-Джелил, т. е. Кана Галилейская. Я до поры затаил в душе это мучительное сомнение и дал себе слово разрешить оное, каким бы то ни было образом.

Направо от церкви по куче камней, заросших густой травой, я добрел до развалин древнего храма, построенного на месте дома Нафанаилова, в котором был и брак. Есть куски каменной стены и одна белокаменная колонна торчит в земле. Вот единственные показатели древнего строения, заваленного мусором, заросшего быльем и обстроеного хижинами! «Боже мой! — подумал я, для чего попустил Ты агарянам разорить и уничтожить столько святьнь? Ужели не любезны Тебе места пребывания Сына Твоего Единородного! Но, Бог живет в нерукотворенных храмах!.. а! понимаю, почему Он попускает разорение храмов рукотворенных. А для веры и ведения и развалины драгоценны, так же, как и великолепные храмы, в которых непрерывно совершается богослужение». Так размышлял я, стоя на развалинах храма канского. Между тем собрались зеваки из деревни. Через переводчика я спросил их: «знают ли они другую Кану?» Они отвечали утвердительно и рукой показывали за горы. — «А которая из этих Кан называется Кана-ел-Джелил?» — спросил я. — «Здешняя, а та за горами зовется просто Кана», отвечали все единодушно. На дороге, недалеко от Каны, нам попался навстречу один старый араб-магометанин. Я предложил и ему тот же вопрос: и он отвечал так же, как и те<sup>11</sup>.

Русские паломники, посещавшие Кану в 1850-х годах, с сожалением свидетельствовали о бедности местного храма. Вот что пишет об этом игумен Антоний (Бочков) (1852 г.): «В Кане Галилейской бедная церковь без царских врат, с набранным из разных икон и эстампов иконостасом, просит помощи христиан. Спаситель здесь совершил первое свое чудо, по ходатайству милосердой своей Матери, которая не могла видеть оскудения на брачной трапезе. А мы не совестились видеть здесь крайнее убожество! Можно справедливо усомниться, достает ли здесь вина для божественной трапезы: так она убога. Один водонос воды еще остался из шести, развезенных в разные стороны,

<sup>11</sup> Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 1. СПб., 1894. С. 500—503.

и тот источник еще не иссяк, откуда бралась слугами вода на брачную вечерю. Церковь ограждена невысокой стеной»<sup>12</sup>.

Игумену Антонию вторит афонский инок Парфений (1855 г.): «Пришли в селение Кану Галилейскую. Вошли в дом, где был Господь Иисус Христос на браке, и воду в вино претворил: в том доме сделана церковь, и сохраняется един от тех сосудов; живет при ней священник православный. Церковь весьма бедна. Жители в селе все христиане, православного исповедания»<sup>13</sup>.

Отечественный палестиновед Б. П. Мансуров (1857 г.) также упоминает о бедности местного прихода: «Кана расположена весьма живописно и по плодovitости принадлежащей к ней почвы могла бы быть весьма богатой, однако она не благоденствует более других и населена столь же беспечными арабами, хотя почти исключительно христианами православного исповедания. Канская церковь, построенная, если верить преданиям, на месте, где Христос совершил чудо, и содержащая три будто бы древних сосуда, также бедна как и деревня, и заведывается дряхлым священником, едва говорящим и ходящим»<sup>14</sup>.

В отличие от прочих богомольцев, посещавших Кану единожды, отечественный паломник Виктор Каминский побывал в этом селении дважды: в 1851 и 1857 годах.

**1851 г.** «Мы приехали в Кану Галилейскую, — небольшое селение, которого дома утопают в зелени кактуса, а окрестности окаймлены высоким камышом. Мы подъехали прямо к единственной здесь церкви. Священник встретил нас благословением на паперти, прочел в церкви Евангелие о браке в Кане Галилейской и записал наши имена для молебна. Церковь эта построена на месте того дома, в котором Спаситель присутствовал со Своей Святой Матерью на браке, и сотворил первое чудо, претворив воду в вино. Обстоятельства этого события изображены на стенах церкви, а на полу стоит несколько глиняных сосудов, для напоминания о тех, в которых вода обратилась в вино»<sup>15</sup>.

**1857 г.** «Я поехал к Назарету, и довольно скоро, через засеянные поля, мимо частных деревень, в виду Фавора, достиг Каны Галилейской, и пошел прямо к знакомой церкви, у входа которой сидел священник и учил пятерых мальчиков. Все они вежливо встали и дали пришельцу дорогу. Я вошел в храм Божий и помолился на месте, где был Господь на браке, и где сотворил первое чудо, по ходатайству своей Святой Матери. В храме прежняя простота, напоминавшая евангельскую; при храме тот же священник, и с прежней готовностью помолиться о страннике»<sup>16</sup>.

В 1859 году тогдашний начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Леонид (Кавелин) проезжал Кану ночью, на пути к Тивериадскому озеру, и его записи о местном храме весьма краткие: «Дорога была довольно утомительна, особенно пока еще не рассвело; ночью проехали мы через Кану Галилейскую; остановились у ее бедной церкви, вошли и поклонились св. иконам; здесь у стены стоит несколько больших сосудов, подобных тем, которые были наполнены водой во время чудесного претворения ее в вино на брачной вечери, которую почтил Своим присутствием Господь наш Иисус Христос»<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, кн. 4, ч. II. С. 51.

<sup>13</sup> Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения. М., 1999. С. 48.

<sup>14</sup> Мансуров Б. П. Православные поклонники в Палестине. СПб., 1858. С. 62—63.

<sup>15</sup> Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 235—236.

<sup>16</sup> Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 573.

<sup>17</sup> Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 476.

Еще большей краткостью отличается упоминание о Кане Галилейской в паломническом дневнике иеромонаха Павла (Вертоградова) (1862 г.): «В Кане Галилейской вместо брачного дома устроена церковь, греко-арабская, на том месте, где Спаситель со Владычицей был на браке и претворил воду в вино. В память сего чуда поставлены в церкви каменные, вроде больших кувшинов, сосуды. Мы помолились в церкви с отпетием молебна»<sup>18</sup>.

В 1865 году в Кане побывал отечественный палестиновед Д. Д. Смышляев. «Греческие и латинские предания принимают ту деревушку, разбросанную в беспорядке на скате небольшого холма, за древнюю Кану, где Спаситель совершил первое чудо, претворив на брачном торжестве воду в вино (Ин. 2, 1–11), — пишет этот автор. — Перед въездом в Кефр-Кенну есть небольшой ручей: местные христиане утверждают, что из него была взята вода, превращенная Спасителем в вино, и даже в бедной греческой церкви, стоящей на верху холма, показывают одну из ваз, в которой совершилось помянутое чудо»<sup>19</sup>.

**«Указатель святынь в Святой Земле» (СПб., 1868):** «На северо-восток от Назарета, на три часа пути, лежит маленькое селение Кана. В этом селении, удержавшем свое имя от времен Спасителя, совершенно было первое чудо Иисусом Христом, и отсюда началось Его открытое служение роду человеческому <...> Никифор Каллист говорит, что на том самом месте, где Иисус Христос совершил первое чудо, была устроена великолепная церковь св. Еленой; при этом церковный историк присовокупляет, что празднование брака совершалось в доме Симона Кананитского. Но неизвестно, имеет ли какое-нибудь основание это предание Никифора Каллиста. Жителей в этом селении насчитывается ныне до 300 человек; они имеют церковь, в которой богослужение совершается арабами»<sup>20</sup>.

**Свящ. В. Певцов (1878 г.):** «На два часа пути от Назарета к востоку, или на расстоянии десяти верст, находится на скате холмов, среди приятной зелени, небольшое селение Кана. В этом селении Господь наш Иисус Христос совершил первое свое чудное дело <...> На месте дома, где освятил Христос брачное торжество, прежде была выстроена большая церковь; теперь она в развалинах. В теперешней бедной церкви на полу стоит несколько глиняных кувшинов, для напоминания о первом чуде Иисуса Христа в Кане. С любовью и благодарностью в сердце почувствует здесь богомolec милосердие Спасителя, Который и в горе, в несчастье помогал людям, и невинные, законные радости их благословлял»<sup>21</sup>.

С середины XV века к православному храму присоединились францисканцы. Рядом с церковью стояла мечеть. Двести с лишним лет католики ждали, пока она придет в упадок и запустение, чтобы приобрести это место. Ежегодно 6 января из Назарета в Кану приезжали монахи и на развалинах совершали службу. Купить землю им удалось лишь в 1879 году. Произведенные раскопки показали, что мечеть стояла на месте еврейской синагоги V–VI веков. Построенная в 1879 году францисканская церковь сохранила в крипте ее архитектурные остатки — в том числе мозаику с арамейской надписью: «Да будет благословен Иосиф, сын Танума, сына Буты, с его сыновьями за то, что сделали они сию мозаику». Новые раскопки (1969 г.) в северном дворе храма обнаружили другие мозаики и древние стены синагоги<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Павел (Вертоградов), иером. Путешествие по святым местам на Святой Земле, во Святую Афонскую гору и в Палестину в 1862 году, ч. 1. М., 1866. С. 88.

<sup>19</sup> Смышляев Д. Д. Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года. М., 2008. С. 224–225.

<sup>20</sup> Указатель святынь и достопримечательностей в Святой Земле. СПб., 1868. С. 106–108.

<sup>21</sup> Певцов В., свящ. О Святой Земле. Чтение 10. СПб., 1878. С. 20–21.

<sup>22</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 324.

В крипте, где уровень пола согласуется с евангельским, показывают образец водоноса, рядом и цистерна с водой. Но воду в то время брали из естественного источника, находящегося при входе в селение. На выходе из Каны католики построили еще небольшой храм в честь св. апостола Варфоломея (Нафанаила), которого почитают уроженцем Каны<sup>23</sup>.

В последующие годы православный приход в Кане по-прежнему бедствовал. В 1880 году в этом убедился отечественный палестиновед В. Н. Хитрово. «Вышли мы из Назарета и мимо источника Божией Матери, часа через полтора, дошли до деревни Кефр Кенна, которая стоит на месте прежней Каны Галилейской, где Спаситель претворил воду в вино, — пишет этот автор. — Здесь стоит, почти под землей, православная церковь, до того бедная, что я подобной не видал, скорее сарай, чем церковь. В ней показывали нам два каменных сосуда, подобных тем, над которыми совершил Иисус Христос первое Свое чудо»<sup>24</sup>.

### Из записок архимандрита Павла (Леднева) (1881 г.)

Кана Галилейская находится на пути от Тивериады к Назарету. От Назарета отстоит только верст семь. Я подумал: естественно, что Господа звали на брак в Кану Галилейскую, когда она так близко от Назарета, и потому весьма удобно было иметь в ней близкое знакомство и общее.

Мне о чуде, бывшем на браке в Кане Галилейской, еще при исходе моем из секты федосеевской, пришлось многое подумать; потому и видеть Кану Галилейскую было весьма желательно. Я принадлежал от юности к секте федосеевской, бракоотметательной, в которой утверждается, что ныне брак уже прекратился, что все должны проводить девственную жизнь, и христианство ныне должно существовать без брака, одним духовным рождением через крещение; о брачной тайне, о том, не должна ли она и ныне совершаться в мире, федосеевцы воспевают и думать. Что брак должен существовать в мире до времени его скончания, в том я убеждался словом Спасителя: *в воскресение ни женятся, ни посягают* (Мф. зач. 91); а в потребности брака для охранения от греха любодеяния не вмещающих девственной жизни меня убедили слова Спасителя, сказанные на замечание апостолов, что лучше не жениться: *не вси вмещают словесе сего*. Но прежде всего мне нужно было решить вопрос: мне, человеку, избравшему безбрачный путь жизни, нужно ли заниматься брачным вопросом, или нет, так как он лично меня не касается? Мне твердили и федосеевские наставники, что неженатому человеку не подобает и вопроса поднимать о том, нужен брак в мире, или не нужен? Эти мои недоумения вполне разрешены были поствещанием о браке в Кане Галилейской: *и бе мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус со ученики своими* (Иоан. зач. 6). Я размышлял: это вместилище Божества, Пресвятая Богородица, сосуд девства, чистоты и святости, не отреклась знаемых своих утешить своим присутствием у них на браке; а еще и большее, — сам Спаситель своим присутствием на браке в Кане Галилейской соизволил брак рода человеческого благословить.

Это евангельское событие решило мое недоумение и дало мне свободу рассуждать о существовании брака в Церкви Христовой, смотреть на него, как на божий дар роду человеческому. Когда я подходил к Кане, припомнил все это. Еще подумал я, как, должно быть, скромно и благопристойно тогда совершались брачные торжества, если на них могла присутствовать Пресвятая Дева и сам Господь! Итак, я приблизился к Кане Галилейской, как давно близкому душе моему <...>

Когда мы пришли в Кану, нас приняли с любовью. Взошли мы в церковь, пропели молебен Спасителю. На молебне прочитали Евангелие от Иоанна зач. 6: *брак*

<sup>23</sup> Спутник паломника по святым местам. Париж, 1968. С. 26—28.

<sup>24</sup> Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 139.

быть в Кане Галилейской. В церкви, в левом боку, на память тогда бывших каменных иудейских водоносов сделаны, подобно древним, два водоноса каменных. После молебна жители Каны Галилейской, арабы православные, подошли ко мне к благословению и просили нас посетить детское их училище. Здесь нам пропели несколько стихов по-арабски. В числе их было пропето и многолетие патриарху, с поминанием в оном и Каны Галилейской. Выходя из училища, мы увидели, что возле православной церкви католики созидают свою огромную церковь. Один араб повел нас в свой дом, посетить болящего его брата и благословить его. Потом священник Каны Галилейской, отец Соломон, из арабов, пригласил нас в дом свой и угощал нас по арабскому обычаю, посадив на коврах. В заключение угощения нам подали гранаты, а потом воду и белое полотенце умыть руки и уста. Из Каны Галилейской мы отправились в Назарет<sup>25</sup>.

В начале 1880-х годов в Кане пытался закрепиться архимандрит Антонин (Капустин). В 1881 году он берет на свое содержание местную православную школу, затем приобретает участок земли, рядом с католическим местом и близ православной церкви. Одолеть католиков, однако, не удалось. «Когда наш консульский агент в Хайфе Селим Хури купил этот участок на свое имя (по поручению о. Антонина), — разъяснял позже генеральный консул в Иерусалиме А. Г. Яковлев, — то католики, владевшие смежным участком, обождали законный срок, предъявили на участок свое „право соседа“, и, вследствие неявики Селима Хури в суд, получили заочное решение в свою пользу с обязательством уплатить г-ну Хури истраченные им 500 франков»<sup>26</sup>.

«Кана вся потонула в цветущих садах, — писал известный писатель-путешественник Е. Л. Марков, посетивший Святую Землю в 1885 году. — Это сплошная корзина кактусов, смоковниц, гранат». В книге Евгения Маркова содержатся интересные сведения как о православном, так и о католическом храмах Каны.

Мы посетили прежде всего католическую церковь. Она построена очень недавно немецкими пилигримами и, как все здешние католические постройки, прилично и богато убрана, но лишена всякой типичности, всякого исторического характера. Посредине в церкви колодезь; его выдают за тот самый, из которого доставали воду, обращенную Христом в вино во время брачного пира. Разумеется, и сам пир был здесь, по уверению католических патеров. Вода этого колодца, хотя в настоящее время и не обращается в вино, когда ее пьешь, но в полуденный зной показалась нам слаще всякого вина. Если новая католическая выдумка не имеет за собой никаких шансов вероятия, то трудно сомневаться, что местные православные арабы действительно сохранили под сводами своей полузаброшенной церкви постройку подлинной евангельской древности.

Эти толстые циклопические стены, эти мрачные нависшие своды, эта оригинальная круглая ниша в потолке над большой срединной лампадой и эти узкие оконбойницы — конечно, несомненный образчик ветхозаветного еврейского зодчества. В таком крошечном местечке, как Кана, где не было ни крепости, ни осады, ни великих битв, скромный дом какого-нибудь туземного обывателя мог безопасно сохраниться целые века и давать под своими несокрушимыми сводами убежище такой же нищенской христианской церкви, какую мы застали в нем теперь <...>

Когда заставляешь себя, однако, забыть всю эту распущенность и окидываешь взором исторических воспоминаний темную характерную внутренность, то она удивительно полно переносит вас в давно минувшие века. Два громадные каменные кувшина или, вернее, бочки для воды вырублены в самом сырце дикой скалы, об-

<sup>25</sup> Павел (Леднев), архим. Краткое описание путешествия во св. град Иерусалим и прочие святые места. М., 1884. С. 95—97.

<sup>26</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 324.

разующей заднюю стену церкви. Колоссальные сосуды эти почитаются местными арабами за подлинные сосуды евангельского рассказа, в которых совершилось чудесное претворение воды в вино. Хотя из Евангелия Иоанна видно, что сосуды брачного пира, над которыми совершил свое чудо Христос, были переносные, однако это обстоятельство не может служить опровержением многовекового местного предания, что и эти высеченные в скале неподвижные сосуды служили вместилищем воды у хозяина евангельского пиршества, который был, по преданию, апостол Симон Кананит: именно из них могла быть почерпнута та вода, которая подавалась вместо вина пиравшим на свадьбе Симона. В Евангелии сказано об этом так: «Было же тут *шесть каменных водоносов*, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две и по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И наполнили их до верха. И говорит им: *теперь почерпните* и несите к распорядителю пира. И понесли»... Паломники средних веков видели в этой церкви еще несколько таких же амфор.

Старый толстый священник, курносый и черномазый, встрепанный, как цыган, в затасканной черной рясе и низенькой камилавке обычного греческого покроя, показывал и объяснял нам замечательности этой древней святыни. Это был малограмотный арабский туземец, не знавший ни слова ни на каком языке, кроме своего арабского, и вряд ли даже проходивший какую-нибудь школу. Он любезно пригласил нас к себе на чашку кофе <...>

Священник живет тут же около своей старой и низенькой церкви, ничем не отличенной снаружи от других домов. Тут же напротив и школа, где православных арабских детишек особый учитель-араб учит чтению, письму и Закону Божию. Учитель — еще молодой и сравнительно образованный юноша. Он с большим любопытством и участием провожал нас при осмотре и вместе с нами же отправился к священнику. Дом священника — простая, только более обширная арабская хата, слепленная из глины. В ее единственной комнате полутьма и прохлада. Пол крепко убитый глиной, покрыт циновками, а кругом задней и боковой стен подушки и матрацы. В глубокой боковой нише сложены один на один пуховики для постелей. Оригинальные, глиняные шкафчики самодельной работы, похожие на первобытные улья, разделены на клетки для помещения кувшинчиков, кофейников и всякой подобной посуды <...> Пока хозяйка кипятила кофе, хозяин занимал нас рассказами через посредство нашего драгомана Якуба.

— В приходе здешнем осталось теперь всего 300 православных, — сообщил с горестью священник. — Прежде было много больше, но католики отнимают ежегодно. Недавно еще совратили в свою веру 70 человек православных. С ними ничего не поделаешь, все им помогают. Денег у них много, раздают бедным деньги, заступаются за них в судах, снабжают приданым бедных невест. А у православных ничего нет, сам он едва существует. Патриарх и митрополит хорошо это знают, да помочь не могут. Патриарх недавно приезжал, заходил в церковь, обедал у священника. С ним и митрополит Назаретский был. Богомольцы сюда заходят редко и то почти все бедные. Ни от кого ничего! — со вздохом закончил этот, жалости достойный, пастырь.

Напившись кофе, мы простились с бедным священником, подарив ему на память о московских гостях несколько французских серебряников, которыми он остался, кажется, очень доволен<sup>27</sup>.

Новый православный храм на месте старого, «убогого», был построен в 1880-е годы на средства Императорского православного палестинского общества. 9 сентября 1889 года основатель и секретарь общества В. Н. Хитрово писал из Петербурга к А. Г. Кезме в Назарет: «Прошу Вас немедленно послать кого-нибудь в Кефр Кенна (Кану Галилейскую) и узнать там, получен ли во вновь строящейся там церкви иконостас и об-

<sup>27</sup> Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 406—410.

раза для него и поставлены ли на место. Если доставлены, но не поставлены на место, нужно немедленно принять меры»<sup>28</sup>.

Возведение православного храма в Кане, как и в ряде других селений, встречало препятствия со стороны Иерусалимской патриархии, о чем сообщал отечественный палестиновед Ф. Палеолог: «Печальное положение в Св. Земле православных храмов, содержимых здесь греками в такой же нищете, как и в Константинопольской Патриархии, побудило Палестинское Общество немедленно приступить к работам по сооружению новых храмов в тех православных селениях, где их не было, и к реставрации в тех, где находились в упадке и в разорении. По смете Общества, на приведение в исполнение этого святого дела требовалась сумма в 400 тысяч рублей, которую оно охотно готово было пожертвовать на благо процветания Православия в Св. Земле. Но на первых же порах своей деятельности в этом направлении оно натолкнулось на такие препятствия со стороны греков, о которых я не решаюсь и поведать православному русскому люду. Одним словом, Патриархия, в силу своей канонической власти, воспротивилась сооружению русскими Божиих храмов, а те храмы, которые были сооружены вопреки желанию Патриархии, оставались долго не освященными. Только благодаря чрезмерным усилиям Общества и даже вмешательству наших Высочайших особ, Обществу удалось пока соорудить новые храмы в Кане Галилейской, где Господь превратил воду в вино, в селе Меджеле, где храм освящен во имя Сергия Радонежского, а также в селе Яфе, находящемся по дороге между Назаретом и Меджелем; кроме того, Обществу удалось оказать значительные пособия на постройку церквей в Раме и в Хуссоне (в Заиорданье)»<sup>29</sup>.

Но несмотря на чинимые препятствия, 20 октября 1889 года В. Н. Хитрово по поручению председателя ИППО великого князя Сергея Александровича присутствовал на освящении храма во имя св. Георгия Победоносца. При этом, вспоминал Хитрово, митрополит Назаретский Нифонт получил от патриарха Иерусалимского Никодима «страшный нагоняй» — «за освящение церкви, за оказанные мне почести, за русское пение и т. п.»<sup>30</sup>. «В Кане Галилейской деньги на перестройку церкви посланы были прямо местному священнику, — писал М. Соловьев (нач. 1890-х гг.). — Патриарх отнял их, и в 1888 году церковь вчерне была отстроена. Великий Князь Сергей Александрович соизволил принять на себя все внутреннее устройство церкви, и только благодаря этому в 1889 году она была освящена»<sup>31</sup>.

Тем не менее русское присутствие в Кане усиливалось благодаря Православному палестинскому обществу, о чем пишет В. Н. Хитрово: «Здесь имеется прекрасная православная церковь, выстроенная при посредстве императорского Православного Палестинского Общества. В ней сохраняются два больших каменных сосуда, подобных тем, в которых было совершено чудо. Как в Кане, так и в соседнем с ней по пути в Назарет селении ер-Рене, имеются две православные школы, основанные Палестинским Обществом»<sup>32</sup>. ИППО имело здесь две школы для православных, мужскую и женскую.

Напоминанием об участии Православного палестинского общества в строительстве храма и иконостаса служили до начала нынешнего столетия образы преп. Сергия Радонежского и праведной Елизаветы — небесных покровителей Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны — на южных и северных вратах алтаря. Теперь

<sup>28</sup> Цит. по: Лисовой Николай. Указ. соч. С. 324.

<sup>29</sup> Палеолог Ф. Русские люди в Обетованной Земле. СПб., 1895. С. 247–248.

<sup>30</sup> Цит. по: Лисовой Николай. Указ. соч. С. 324–325.

<sup>31</sup> Соловьев М. Святая Земля и Императорское Православное Палестинское Общество. СПб., 1895. С. 100–101.

<sup>32</sup> Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 208.

иконы перенесены в притвор, а в иконостасе заменены греческими: духовенство Иерусалимской церкви старается нивелировать следы русского присутствия в Палестине<sup>33</sup>.

В первой половине 1890-х годов русские богомольцы все чаще посещали православный храм в Кане; их паломнические записки содержат интересные сведения о жизни местной общины.

**Прот. Павел Бобров (начало 1890-х гг.):** «Кафф Кенна или Кана, где, по преданию, Иисус Христос во время свадьбы претворил воду в вино. Здесь французская школа для детей обоих полов и греческая школа для мальчиков. Видели развалины древней синагоги, построенной на месте, где происходила свадьба в Кане Галилейской. Рядом, в небольшой греческой церкви, хранятся глиняные кувшины (якобы еще тех времен), в которых вода была претворена в вино. Здесь, при выходе, мы были вмиг окружены шумной толпой грязных, в лохмотьях арабчат с требованием приобрести у них миниатюрные из обожженной глины амфоры, долженствующие, по их мнению, дать представление о тех, в которых вода была претворена в вино»<sup>34</sup>.

**Протоиерей Владимир Гуляев (начало 1890-х гг.):** «В Назарете наняли мы ослят и для себя, и для каваса, по два рубля за штуку, и около 12 часов дня отправились в Кану Галилейскую, чтобы оттуда ехать в Тивериаду. В Кану прибыли мы через два часа после выезда. Были в храме. Храм небольшой, новенький, чистенький, что весьма редко встречается в храмах греческих. У южной и северной двери храма, в нарочито сделанных для того углублениях, хранится по сосуду из бывших будто бы при Христе Спасителе во время совершения им чуда на браке в Кане Галилейской. Сосуды эти, каменные, громадные кувшины, с очень толстыми (вершка 2) стенками. Ни один и них не сохранился в целости: один представляет собой только половину сосуда, у другого же только начинается суженье к горлу. Над сосудами на стенах висят св. иконы, изображающие брак в Кане. Для богослужения в храме Каны и для совершения треб находятся священник и монах, так что клир Каны составляет полуприход, полумонастырь.

Иерей пригласил нас к себе в дом. В доме в одной комнате с хозяином были и турки: они, объяснил нам хозяин, исполняют обязанности сторожей при храме и в доме. Хозяин угощал нас по-арабски: сидели мы на полу вокруг большого, невысокого, круглого столика, не выше подножной скамейки. Подан был белый хлеб вроде лепешки, или больших блинов, мы ели его, обмакивая в какой-то кисловатый красноватого цвета соус, который потом заменен был свежим сотовым медом»<sup>35</sup>.

**Петр Аристов (начало 1890-х гг.):** «Прибыв в Кану, мы остановились на том месте, где стоял дом, в котором Христос совершил во время брака чудо. На месте этого дома стоит теперь маленькая, хорошенькая церковь, во имя Сергия Радонежского. Храм этот сооружен на средства Великого Князя Сергия Александровича. Во дворе мы оставили ослят и жожака, а сами пошли искать священника, который бы дал ключи от церкви. Поднявшись по горе, мы вошли в ветхую каменную лачужку греческого священника. Мы назвали себя, и он приветливо пригласил нас освежиться с дороги. Мы были очень рады, когда он угостил нас лимонадом собственного изготовления. Затем он дал нам монаха, который и повел показывать церковь. Чистенькая маленькая церковь, вероятно, недавно отстроенная, поражает изяществом отделки и старинными образами»<sup>36</sup>.

**Архимандрит Мефодий (1892 г.):** «Мы приехали в селение Кану Галилейскую, где Господь с Пречистой Богоматерью и учениками Его были на браке. Подъезжая

<sup>33</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 325.

<sup>34</sup> Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других местах Востока. Москва, 1894. С. 102.

<sup>35</sup> Гуляев Владимир, прот. В Иерусалим и на Афон. СПб., 1892. С. 57.

<sup>36</sup> Аристов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 168.

к арабской православной церкви, мы узнаем, что в ней совершается брак: заняло нас такое событие, как будто нарочито напоминавшее о браке, на котором присутствовали Спаситель с Богоматерью и учениками<sup>37</sup>. Мы отправились в храм и были очевидцами совершавшегося брачного обряда над арабской четой, а в заключение немало были и испуганы внезапным холостым выстрелом из ружья в самой церкви. Оказывается, что этим выстрелом выражалось начало торжества брака; за ним следовало поздравление молодых, при котором жениха поднимали вверх, а невесту, покрытую платком, отвели в сторону.

Храм в Кане очень чистенький, в русском стиле. Здесь, как во всяком посещаемом нами храме, мы отслужили молебен, осмотрели два каменных сосуда наподобие якобы тех сосудов, в которых чудесно была претворена вода в вино; один из этих сосудов служит купелью при таинстве крещения, а другой — для освящения воды»<sup>38</sup>.

**Епископ Сухумский Арсений (Изотов) (1894 г.):** «При входе в селение прежде всего замечается мечеть в развалинах, которая указывает место жилища Нафанаила, который приведен был к Господу апостолом Филиппом (Иоан. 1, 43—50). Недалеко отселе в левой стороне видны развалины, между которыми можно заметить колонну белого мрамора, остаток церкви, построенной св. царицей Еленой на месте дома Симона Кананита, впоследствии сделавшегося апостолом, где Господь по просьбе Своей Пресвятой Матери на браке претворил воду в вино. Здесь же в Кане умолял Господа сотник, живший в Капернауме, исцелить его сына, бывшего при смерти (Иоан. 4, 46—54)<sup>39</sup>. Нынешнее селение Кефр-Кана имеет не больше 600 жителей; половина православных, а другая половина мусульман. Селение расположено на склоне холма при источнике, который всю окрестность делает весьма плодородной; здесь видны кактусы, фиговые, масличные, гранатовые и другие плодовые деревья, которые растут прекрасно. Поклонники заходят в Кану и прямо из Назарета, оставляя гору Фавор, которую в таком случае посещают уже после на обратном пути из Тивериады»<sup>40</sup>.

**Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский (1900 г.):** «Где-то впереди слышался лай собак, а вскоре заблестели огоньки в домах какого-то селения. Оказалось, что это Кафр-Кен, евангельская Кана Галилейская, прославленная первым чудом Господа, претворившего здесь, на брачном пиру, воду в вино. Мы въехали в это селение и увидели толпу народа, собравшуюся на неосвещенных улицах, чтобы посмотреть на русского архиерея, о приезде которого здесь уже были осведомлены митрополитом Фотием, приславшим монаха для приглашения нашего преосвященного служить завтра обедню в назаретской церкви. Наши экипажи остановились в узеньком переулочке, мы сошли на землю и, окруженные толпой любопытных арабов, пошли к церкви, откуда неся колокольный звон в честь прибытия преосвященного.

После обычной встречи, священнослужителями — местными и присланными из Назарета — был отслужен молебен, на котором преосвященным было прочитано по-славянски Евангелие о чуде в Кане Галилейской. Несмотря на простоту обстановки, это богослужение, за которым присутствовало очень много народа (христиан-арабов), произвело на нас сильное впечатление. По его окончании мы осмотрели храм и любовались прекрасными иконами в иконостасе (кстати говоря, написанными в Москве).

<sup>37</sup> Православные жители Галилеи любят со всех концов приезжать сюда венчаться (Спутник паломника по святым местам. Париж, 1968. С. 27).

<sup>38</sup> Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 60.

<sup>39</sup> В Кане же Спасителем было совершено и другое чудо, когда из Капернаума пришел искать Его царедворец Иродов, прося исцелить больного сына. «Иди», сказал Господь, «сын твой здоров» (Иоан. 4, 46—54).

<sup>40</sup> Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святыя места Палестины. СПб., 1896. С. 242—243.

Затем нам показали за клиросами два громадных каменных сосуда, в которых, по преданию, была претворена Спасителем вода в вино. Но, кажется, вполне достаточно было бы сказать, что они сооружены по подобию тех сосудов: для верующего сердца и этого было бы вполне достаточно. Ныне один из этих сосудов служит купелью при таинстве Крещения, а другой — для освящения воды. Храм — небольшой, но как снаружи, так и изнутри выглядит очень красиво и благообразно. Он сооружен на русские пожертвования, и во главе щедрых жертвователей стоит, как говорят, Августейший Председатель Палестинского Общества Великий Князь Сергей Александрович»<sup>41</sup>.

В начале XX столетия русское присутствие в Кане усиливалось; местная православная школа имела большое значение в противодействии католическому прозелитизму. «Через час по выходе из Назарета паломники заходят в Кану Галилейскую, где Господь совершил первое чудо, претворив на брак воду в вино, — писал отечественный палестиновед В. Д. Юшманов. — Здесь построена при посредстве Палестинского общества, на пожертвования русских людей, православная церковь; в ней сохраняются два каменных сосуда, наподобие тех, в которых чудесно была претворена вода в вино; один из этих сосудов служит купелью при таинстве крещения, а другой для освящения воды. В Кане Палестинское общество содержит школу для детей православных жителей»<sup>42</sup>.

В 1900-х годах Кану посещали целые караваны русских богомольцев, о чем пишет И. П. Ювачев: «Мы нагнали караван в Кане Галилейской, где имеется в настоящее время православная церковь. Народ занял весь огражденный двор при церкви и тотчас зашумел жестяными чайниками. Я пробрался между кострами в церковь. Толпы паломников прикладывались к образам и ставили свечки. В память чудесного превращения воды в вино здесь поставлены древние каменные массивные урны, вышиной немного меньше аршина. Предание относит их ко временам Спасителя»<sup>43</sup>.

В 1904 году в селении Каны Галилейской был приобретен сад, по которому проходил источник, единственный в Кане Галилейской, и считался священным, так как здесь было совершено первое чудо Спасителя. Этот сад служил прекрасным местом для отдохновения поклонников, идущих в Назарет<sup>44</sup>. Это был сад в «Кэфр-Кана» (Кана Галилейская) у источника общей площадью приблизительно 1 *денюм* и 800 *драх*<sup>45</sup>.

Среди отечественных пешеходцев встречались не только грамотные, но и вкусившие азы богословия. Тот же автор приводит «интересный разговор „бедуина“ с одним странником из толпы народа».

«Первое чудо, — ораторствовал странник, — которое сотворил Христос, это превращение воды в вино, а последнее Его чудо — превращение вина в кровь на последней вечери в Сионе. В этом последовательном перехождении воды в вино, а вина в кровь, указывается на состав и развитие человеческого естества. Сперва — плотяное, потом — душевное и наконец — духовное. До Христа люди жили по плоти, а с Его пришествием стали жить по духу. Моисей тоже первое чудо пред всем египетским народом дал в таком же роде: он превратил воды в кровь. А нельзя ли, — прервал его „бедуин“, — так понимать это чудо? Кончилось вино — кончилось пророческое писание Ветхого Завета. Приходит Христос и дает новое вино — учение Нового Завета. И новое оказа-

<sup>41</sup> Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. М.; СПб., 2014. С. 399–400.

<sup>42</sup> Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 36.

<sup>43</sup> Ювачев И. П. Паломничество в Палестину к Гробу Господню. СПб., 1904. С. 142.

<sup>44</sup> Записка архимандрита Леонида (Сенцова). 20 марта 1914 г. // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, ч. 1. 2012. С. 308.

<sup>45</sup> Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, ч. 2. 2012. С. 61.

лось лучше старого. Ведь Сам Христос называл свое учение новым вином, когда говорил, что молодо вино не вливают в мехи ветхие»<sup>46</sup>.

**А. А. Дмитриевский (1906 г.):** «В Кефр-Кенн, или в Канне, на средства Императорского Православного Палестинского Общества устроены церковь и школа. Храм этот пользовался нередко милостыней от щедрот в Бозе почившего Великого Князя Сергея Александровича, первого Председателя Палестинского Общества. Здесь в этом храме показывают каменные сосуды наподобие тех, в которых Спаситель претворил воду в вино. В недавнее еще сравнительно время эти самые сосуды выдавались нашим простодушным паломникам за подлинные сосуды, которые якобы употреблены были Спасителем на браке в Кане Галилейской для чуда, имевшего место в этой деревне. Местные священники не только поддерживали эту легенду, но, заслышав о проходе каравана через их деревню, наполняли к его приходу эти каменные водоносы вином и поили им всех паломников, собирая при этом обильные пожертвования на церковное блюдо... Только по усиленным настояниям Императорского Православного Палестинского Общества удалось прекратить этот соблазнительный обычай кефр-кеннского духовенства и ограничить пребывание здесь наших паломников лишь посещением храма и созерцанием водоносов»<sup>47</sup>.

Русские паломники посещали Кану вплоть до 1-й мировой войны. Многие из них почерпали сведения об этом селении еще на пути к Святой Земле. Ведь о Кане Галилейской сообщалось в дореволюционном путеводителе.

Селение «Кефр-Кенна» расположено в расстоянии часа пути от Назарета. По преданию, это и есть та Кана Галилейская, в которой на брачном пиршестве Господь Иисус Христос совершил первое чудо, превратив воду в вино. Православный храм построен здесь на том месте, где происходило торжество и где совершенно было само чудо. В храме сохранились два очень древние глиняные сосуда, из коих один служит купелью для крещения; они принадлежат, несомненно, эпохе очень древней, может быть, даже временам Спасителя; предание считает их теми сосудами, в коих совершилось самое чудо. Разбросанные у храма развалины свидетельствуют, что здесь некогда было богатое здание великолепного христианского храма. Вероятно, это были храмы, построенные равноапостольной царицей Еленой и знаменитым строителем христианских святынь в Палестине императором Юстинианом. Но жестокая судьба не пощадила этих, как и многих других христианских сокровищ на Востоке и даже не оставила следов их<sup>48</sup>.

В 1911 году Кану посетила группа русских паломников во главе с протоиереем Александром Глаголевым. «Мы подъехали к небольшому селению Кафр-Кенна. Это известная евангельская Кана Галилейская, — пишет о. Александр. — Сошедши с экипажей, мы прошли в здешнюю церковь, где служили молебен с чтением Евангелия от Иоанна (2, 1—11). Церковь выстроена при содействии нашего Палестинского Общества. Заведует ею игумен-грек, священники же арабы. В трапезной части храма по обеим сторонам стоят два больших каменных сосуда, напоминающие евангельские подносы, в которых была претворена вода в вино и служащие теперь один для крещения детей, другой — для водоосвящения. При церкви существует и русская школа, как и в селении Рени, находящемся на полпути между Назаретом и Каной»<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Там же. С. 142.

<sup>47</sup> Дмитриевский А. А. Праздники Святой Земли. М.; СПб., 2013. С. 121—122.

<sup>48</sup> Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 210.

<sup>49</sup> Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 32.

Весной 1914 года в Кане побывала небольшая группа русских старообрядческих епископов. Сопровождавшему их мирянину С. И. Быстрову принадлежит описание «до-военной» Каны: ведь осенью того же года началась Первая мировая война.

Путь от Назарета до Тиверады, за немногими исключениями, можно отнести к самым удобным. Ровная шоссе́нная дорога, отсутствие более или менее высоких гор, рытвин и оврагов — позволяют делать быстрое передвижение, и лошади почти все время бегут ходко и весело. Мимо нас мелькают засеянные поля, масличные сады, деревушки, встречные арабы, бедуины, туристы и путешественники. Часа через два достигаем местечка Кефр-Кенна, в котором предание узнает ту самую Кану Галилейскую, где некогда Христос Спаситель на брачном пиршестве чудесно претворил воду в вино. Село выглядит обычно серо, неприветливо. По улицам снуют толпы арабских детишек, которые назойливо просят «бакшиш», «паричка» и долго гонятся вслед. Большинство из них христиане, и многие ученики русских школ; они, видя в нас русских путешественников, старались показать свое искусство знания русского языка: читали молитвы, пели стихиры, тропари. Бегло осмотрев находящиеся здесь два храма: католический и греческий, мы встретили здесь кое-что заслуживающее внимания. В том и другом есть немало древностей и особенно интересны в греческом храме два каменных водоноса, в которых предание видит именно те самые водоносы, в которых произошло чудесное превращение воды в вино, и совершен таким образом, «начаток знамений, яже сотвори Иисус». Водоносы стоят в первой части храма, в углах противоположных стен; над ними висят новые «российского» письма художественные иконы: над одним — «Преображение Господне», а над другим — «Чудо в Кане Галилейской». Игумен маленького греческого скитка, находящегося здесь, иеромонах Аркадиос, сообщил нам, что в одном из водоносов они крестят младенцев, в другом же, в дни больших праздников, освящают воду<sup>50</sup>.

**Александр, епископ Рязанский и Егорьевский (старообрядческий) (1914 г.):**

«В 9 с половиной часов въехали в Кану Галилейскую. Встретили дети-арабы русского училища, с пением молитв. Один с иконкой на груди более всех распевал по-русски: „Христос Воскресе“, „Отче наш“, „Богородице“ и др. Нас называли — „брат“ и предлагали свои работы: образчики водоносов, плуга, вышивки. Одеты прилично, в особенности девочки, вроде наших крестьянок или мещанок. Зашли в католическую церковь, куда привел нас старший ученик русской школы. Учитель католический показывал нам редкости в храме: древние остатки из раскопок, — здесь была древняя церковь; колонны, мозаический пол, капители, подобие водоносов (шесть), в коих Христос претворил воду в вино; они похожи на современные, носимые женщинами на плечах и головах, но более пузатые. Помещены в стеклянном ящике. Везде чисто и в порядке; объяснения давал очень толково.

Потом прошли в греческую церковь, куда привел нас мальчик, взяв меня за руку, называя „брат“, а себя „кавасом“. Оказалось, что это сын греческого священника. Церковь греческая очень бедная; показывал нам архимандрит Аркадий, бывшей в одном подряснике. Но, узнав из наших карточек, что мы епископы, сбегал в квартиру, надел рясу, поцеловал наши руки. В церкви у столбов, ближе к стенам и клиросам, находятся два каменных водоноса, якобы из тех шести, в коих претворил Иисус Христос воду в вино. Мы усомнились, чтобы такие большие и тяжелые могли быть «водоносами» — их непосильно нести и двум человекам. Но архимандрит Аркадий уверял, что именно о таких говорится и в Евангелии и прочитал в нем: „бяху же ту водоносы каменны шесть, лежаще по очищению иудейску, вмещающа по двема или трием мерам“ (Иоанна, зачало 6). Какие это меры — неизвестно, говорил о. Аркадий, но они были

<sup>50</sup> Быстров С. И. По Востоку (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 199–201.

каменные, а не глиняные, как показывают католики. „Водоносы“ эти, по объяснению о. Аркадия, употребляются у них: один для крещения детей, другой для водоосвящения. Угостившись у о. Аркадия по обычаю, с добавлением по малой рюмочке вина (здесь в церкви в маленьких запечатанных флакончиках продают паломникам вино, в воспоминание первого претворения воды в вино), мы выехали из Каны, провожаемые детьми»<sup>51</sup>.

Летом 1914 года Святую Землю посетила группа (около 50 человек) студентов из Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академий во главе со своими наставниками. Вспоминает преподаватель Киевской духовной академии Д. В. Горохов.

В Кане Галилейской мы, прежде всего, зашли в арабскую православную церковь, построенную, как полагают, на месте дома, где Спасителем было совершено первое чудо (Иоан. 2, 1–11). Церковь воздвигнута при содействии Императорского Православного Палестинского Общества, почему и имеет в иконостасе две главные иконы — во имя преп. Сергия Радонежского и св. прав. Елисаветы. Здесь же, в стенной нише ее, сохраняются два больших каменных сосуда, напоминающих евангельские водоносы. Наш духовник совершил краткое молебствие с чтением Евангелия о браке в Кане Галилейской и о чуде на этом браке, а мы все участвовали в пении.

Несколько выше, с правой стороны от православной церкви, находится францисканский костел, сооруженный на месте древнего храма. Особый ход богато украшенного костела с массой икон и разнообразных священных изображений ведет в нижнее его помещение, где также сохраняются древние каменные сосуды, в особой небольшой комнате показывается цистерна, а в другой, весьма обширной и богато украшенной, помещается целый музей с найденными при раскопках вещами. Как в Кане, так и в соседнем с нею на пути в Назарет селении ер-Рене, имеются две православные школы, основанные Палестинским Обществом. Питомцы этих школ, мальчики и девочки, все время гурьбой ходили за нами, причем, в доказательство того, что они не мусульмане и обучаются именно в наших православных школах, — одни из них носили иконы, другие крестились, третьи пели молитвы: «Спаси, Господи», «Богородице Дево» и т. п.<sup>52</sup>

В ходе Первой мировой войны турецкие военные власти нанесли большой урон владениям Русской духовной миссии в Галилее. Особенно в Кане Галилейской пострадал сад, окруженный каменной оградой, близ источника. Убытки состояли (во франках):

в разрушении ограды, камни которой	
были взяты на проведение шоссейной дороги	1240
в порубке деревьев	9720
в разрушении водосточного канала	250
в лишении дохода с сада	2160
Итого	13 370 <sup>53</sup>

После начала Первой мировой войны и последовавших в России социальных потрясений Кану посещали лишь редкие паломники русского зарубежья. Одним из них

<sup>51</sup> Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия в Палестину. М., 1916. С. 83.

<sup>52</sup> Горохов Д. В. В Святой Земле. (Из впечатлений паломника). Киев, 1916. С. 8–9.

<sup>53</sup> Стоимость убытков, нанесенной военной турецкой властью владениями РДМ в Галилее во время войны // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, ч. 2. 2012. С. 33.

был А. П. Ладинский, побывавший на Святой Земле в 1936 году. В отличие от своих предшественников, этот автор описывает Кану в лирических тонах, что дополняет записки его дореволюционных собратьев по перу. «Ничто так не умиляет, как Кана Галилейская, — пишет он. — Арабское селение лежит на изумительной дороге из Тивериады в Назарет, все в гранатовых садах, окруженное со всех сторон холмами. Да, та самая Кана.

— На третий день был брак в Кане Галилейской...

В греческой часовне показывают сосуды, в которых вода претворилась в вино. По некоторым случайным обстоятельствам взглянуть на них не пришлось. Тем лучше. Пусть они останутся навсегда глиняными кувшинами с детских картинок, сосудами, которым ровно две тысячи лет. Но спасибо, что удалось посмотреть на гранатовые сады, на эти плоды на непривычных деревьях, а не в лавке парижского фруктови́ка. Именно среди таких гранатовых яблонь, от которых как-то особенно чувствуется сила солнца, и должна была происходить веселая деревенская свадьба, на которой слишком усердно пили гости, и поэтому не хватило вина. Кого выдавали замуж? Какую-нибудь бедную галилейскую девушку, может быть, родственницу Христа. Едва ли пригласил бы на свадьбу семью назаретского плотника местный богатей, владелец виноградников, верблюдов и ячменных полей»<sup>54</sup>.

В 1955 году Кану Галилейскую неоднократно посещал тогдашний начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Пимен (Хмелевский). Вот несколько отрывков из его дневника.

*5 июля 1955 г.* В Кане мы остановились у нашего участка земли, сданного арабам в аренду (он весь окружен высокими кипарисами). На месте оказались лишь отец и мать арендатора с несколькими внуками. Участок очень мал. Вместо забора он обнесен стеной из кактусов, через которые не пройдет ни человек, ни зверь. Старики слишком дряхлые, но приветливые. В их глазах светилась искренняя доброта и какая-то незаслуженная забитость. Участок наш расположен возле самого шоссе, рядом с колодезем-источником, у которого обычно собирается толпа людей с водоносами (иногда — на голове). Совсем как в Библии!<sup>55</sup>

*19 октября 1955 г.* В 16 часов въехали в Кану Галилейскую. Хотелось успеть побывать сегодня и в Назарете, а потому задерживаться здесь не стали. В Кане я сфотографировал источник, из которого местные жители берут воду, унося ее в больших бочках-бидонах на голове. Маленькие дети подошли к нашим машинам с криком: «Дай бакшиш!» Мне захотелось их сфотографировать, но они, увидев фотоаппарат, бросились бежать; забыв о бакшише. Никакой цивилизации!<sup>56</sup>

*20 октября 1955 г.* Прибыли в Кану Галилейскую. Прошли в арабский храм. Нас встретил настоятель — архимандрит Дионисий. В храме почти все иконы русские. Стоят 2 из 6 водоносов, в которых произошло первое чудо. Здесь отслужили молебен, сфотографировались, выпили кофе в покоях отца Дионисия и тронулись в дальнейшую дорогу<sup>57</sup>.

В начале 1990-х годов возобновилось паломничество из России к Святой Земле. Вместе с русскими богомольцами, прибывшими в Кану Галилейскую, войдем под своды православной церкви. Главной святыней храма являются два каменных водоноса, один

<sup>54</sup> Ладинский А. П. Путешествие в Палестину // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 249.

<sup>55</sup> Пимен (Хмелевский), архиеп. Дневники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме 1955—1957 гг. Саратов, 2008. С. 101. Этот участок площадью 6433 кв. м был продан за бесценок по требованию советских властей в ходе так называемой «апельсиновой сделки» (1964 г.).

<sup>56</sup> Там же. С. 146.

<sup>57</sup> Там же. С. 148.

сильно поврежденный, другой совсем целый, стоящие слева и справа от алтаря. На отдельном аналое — икона апостола Симона Кананита. После Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа, когда апостолы разошлись на проповедь, ему досталась по жребию Абхазия. Там (неподалеку от Сухуми), на месте мученической кончины апостола, издревле существовал Симоно-Кананитский монастырь, возобновленный в 1870-х годах русскими иноками с Афона<sup>58</sup>.

В 1994 году в Кане побывала очередная группа русских паломников, в составе которой был игумен Никон (Смирнов). «Наш путь лежит в Кану Галилейскую, где «положил Иисус начало чудесам» Своим (Ин. 2, 11), — пишет о. Никон. — Вот храм на месте претворения воды в вино. Архимандрит Иеремия читает Евангелие от Иоанна о событии в Кане. Поем песнопения. После выхода из храма местная матушка щедро разлила всем нам настоящего церковного виноградного вина, которое на вкус оказалось приятнейшим»<sup>59</sup>. Вино Каны Галилейской считается лучшим в Святой Земле. Православные паломники по традиции всегда покупают его в лавке непосредственно при церкви. На этикетках так и написано по-гречески: «Святая обитель в Кане. Благословенное вино, в память свершившегося здесь чуда»<sup>60</sup>.

### КАНА<sup>61</sup>

Был в Кане брак. Веселый смех  
За полной чашей раздавался,  
Но опустел последний мех,  
И в середине пир прервался...  
Жених смущен. Друзья молчат.  
Кривит насмешка чьи-то губы.  
Намеки зло уже звучат,  
Обидны, мелочны и грубы.  
И драхмы нет купить вина! —  
Пир брачный должен стать позором!  
Внятнее злая тишина  
Под насмехающимся взором...  
Пришла на пир и Мать Христа,  
Был зван и Он с учениками.  
Он начинал свой путь креста,  
Любви целящей родниками...  
И горем Мать болит друзей.  
«Смотри, вина им не достало!»  
И «Что нам в том» — слова стезей,  
Где саддукеев скрыто жало.  
Уже Сын знает близость мук,  
И поцелуй, что даст Иуда,  
И язвы пригвожденных рук,  
Но благость сердца хочет чуда.  
И слуг зовет украдкой Мать.  
«Все сделайте по слову Сына!» —

<sup>58</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 326.

<sup>59</sup> Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 38—39.

<sup>60</sup> Лисовой Николай. Указ. соч. С. 326.

<sup>61</sup> Щукин Николай. Свет не вечерний. Брюссель, 1963. С. 6—7.

Одной дано Ей понимать  
Его душой белее крина.  
И слуги чистою водой  
Налили вазы очищенья,  
Скорбя домашнею бедой.  
Печаль не в силах скрыть смущенья.  
«И почерпнув теперь из них,  
Несите чаши! — слышат слово. —  
Распорядитель и жених  
Да знают мир и радость снова!»  
И понесли... И жениха  
Друг с укоризной наставляет:  
«Вина хорошего меха  
Никто к концу не оставляет!  
В начале пира пьют его,  
Ценя живительную влагу.  
И радость сердца твоего  
Друзьям внятна, как тайна магу!»  
Лишь слуги знали, что водой  
Они наполнили сосуды...  
Века неслися чередой,  
Но Каны помнят пересуды.

### **БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ<sup>62</sup>**

Брак в Кане Галилейской...  
И там Христос. Как Гость!  
Да, дивный Гость.  
Какой семье еврейской  
Его увидеть довелось?  
Чей Он союз благословлял,  
Творя вино и хлебы преломляя?  
Какой жених и девушка какая...  
Кому Он кольца в руки дал?

---

<sup>62</sup> Новгород-Северский Иван. Благовестие. Париж, б/г. С. 10.

# Contents

## Prose and Poetry

- Alexander Gabriel.** Poems • 3  
**Maria Skryagina.** Butyrka. *Story* • 7  
**Alexey Komarov.** A Girl Who Did Not Like Red Semisweet. The Loneliness of the Old Man in Cowboy Boots. *Short Stories* • 62  
**Dmitry Bliznyuk.** Poems • 73  
**Dmitry Lagutin.** Knitting Needle. Uncle Sever. Fools. *Short Stories* • 77  
**Nadezhda Delaland.** Something. Mirror. Vision. Glass House. *Short Stories* • 96  
**Yevgeny Vitchenko.** From the cycle „Sign of Three Dots“. Poems • 119  
**Elena Levanova.** A Stranger in My House. *Short Story* • 123

## The Universe of Childhood

- Anastasia Mironova.** Mama!!! *Short Story* • 130

## Criticism and Essays

- Mark Amusin.** Double Vision of Andrey Platonov • 151

## From the Archive

- Semyon Laskin.** „...It Seemed Interesting, Even Very Interesting...“ *Writers, Musicians, People of Cinema and Theater in Diaries 1961–1998* • 162

## Petersburg Bookman

- Art of Reading.** Vera Kharchenko. To the Philosophy of Everyday Life. **Territory of Memory.** Oleg Glushkin. „Neva“ in My Literary Life. **Book Island.** Elena Zinovieva's publication • 215

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Cana of Galilee • 237

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

*Проект «Наследники и первопроходцы»  
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 11.09.2018. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ №  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ»  
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86  
Телефон: (812) 207-58-43